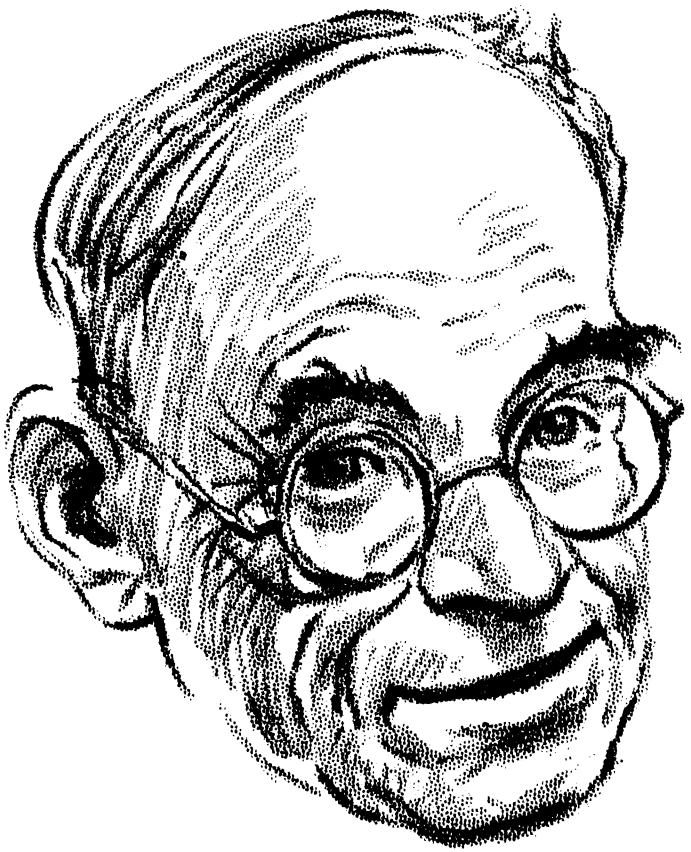


ОстАп ВиШня



U.C.
53.

Остап Вишня

ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ 1

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1967

Издание выходит под редакцией
И. Собчука.

Вступительная статья
Ф. Макивчука.

Иллюстрации художника
И. Семенова.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ОСТАПА ВИШНИ

Поздней осенью 1889 года на хуторе Чечва, Зиньковского уезда, Полтавской губернии, в имении помещика фон Ротта родился мальчик Павел Губенко, которому суждено было в будущем стать звездой первой величины в украинской советской литературе, любимым и высокопопулярным народным писателем Украины.

Хотя мальчик родился в помещичьем имении, но не принадлежал он ни к дворянскому, ни к помещичьему роду, и первый его крик прозвучал не в раззолоченных палатах, а в бедной селянской хате, где жил его отец Михайло Губенко, бывший солдат царской армии, а затем — служащий помещика фон Ротта.

В этой хате, кроме Павлуши, родилось еще шестнадцать «губенков» и «губенчих», и уже только поэтому отцу и матери приходилось часто раздумывать над вековечным и нелегким семейным вопросом: как устроить ребят в школу, как свести концы с концами, чтобы дать им образование и «вывести в люди». Для нынешнего юного поколения такой вопрос может показаться странным. Что значит: «как устроить в школу», «как дать образование»? Исполнится тебе семь лет, и тебя поведут в школу. Как же может быть иначе? Это закон! А после школы техникумы, профтехучилища, институты, университеты. Только успевай да учись по совести. Но в те времена, когда начинал свою школьную науку будущий народный писатель Павел Губенко, и школ тех было словно кот наплакал и детворы оставалось вне школы намного больше, нежели училось в школах. Считалось великой удачей, большим счастьем, если детям крестьян или рабочих удавалось получить хотя бы начальное образование. Это счастье выпало и на долю маленького Павлуши.

В рассказе «Моя автобиография», написанном в двадцатых годах, писатель вспоминает:

«Отдали меня в школу рано. Не было, наверное, мне и шести лет. Окончил школу. Пришел домой, а отец и говорит:

— Мало ты учился. Надо еще куда-нибудь отдать. Повезу в Зиньков, поучись еще там, посмотрим, что из тебя выйдет.

Повез отец меня в Зиньков, хоть и трудно ему было тогда, потому что нас уже было шестеро или семеро, а зарабатывал он не шибко. Однако повез и отдал в Зиньковскую городскую двухлетнюю школу.

Зиньковскую школу я закончил в году 1903 со свидетельством, что имею право быть почтово-телеграфным чиновником какого-то очень высокого (чуть ли не четырнадцатого) разряда.

Но куда мне в те чиновники, если «мне тринадцать минуло».

Приехал домой.

— Рано ты,— говорит отец,— закончил науку. Куда же тебя, если ты еще такой маленький? Придется еще поучиться, а у меня и без тебя уже двенадцать.

И повезла меня мать в самый Киев, в военно-фельдшерскую школу, поскольку отец, как бывший солдат, имел право отдавать детей в ту школу на «казенный кошт».

В 1907 году Павел Губенко успешно окончил военно-фельдшерскую школу и начал работать фельдшером в Киеве. По согласному свидетельству его сверстников, преподавателей школы, известных медиков того времени, молодой Губенко имел все данные для того, чтобы сделать блестящую медицинскую карьеру. У него были золотые руки и светлый ум. Однако жизнь внесла свои решительные коррективы. Получилась почти такая же метаморфоза, как с Антоном Павловичем Чеховым. Фельдшер Павел Губенко прославился не в медицине, а в литературе, правда, уже под новым, придуманным именем Остапа Вишни.

Очевидно, это было неизбежное и закономерное явление. Остап Вишня — Павел Губенко был создан самой природой для юмора, для смеха — этих драгоценных черт человеческого характера, он жил для того, чтобы смеяться.

Уже в ранние годы Павел Губенко отличался чрезвычайно веселым нравом и огромной любовью к чтению. Его родная сестра, заслуженная учительница УССР Екатерина Михайловна Доценко, пишет в своих воспоминаниях:

«Очень рано научившись читать, Павлуша никогда не расставался с книгой. С книгой его можно было увидеть на крыльце, на чердаке, всюду. С книгой под мышкой я часто видела его среди мальчишек-товарищей, с которыми он и в лес бегал, и на речку, и в поля.

Очень любил Павлуша природу и все живое в ней: зверюшек, птиц. Любил поля и леса. Особенно любил голубей, и они его тоже любили. Сидит, бывало, на крылечке и читает, а на его плече усядется любимый голубь. С голубем на плече его можно было увидеть среди хлопцев на хутор-

ском майдане. Достаточно было Павлуше свистнуть, голубь прилетал к нему и усаживался на плечо. Мать часто говорила: «Вырастет из Павлуши добрый человек, раз его птицы так любят».

Среди множества прочитанных книг Павел Губенко, пожалуй, больше всего любил Гоголя. «Вот так, с детства и до старости с Н. В. Гоголем»,— писал в последние годы жизни Остап Вишня. При огромном пристрастии Остапа Вишни вообще к литературе и искусству творчество Н. В. Гоголя было наиболее близко ему. Он безгранично любил чудесные творения своего великого земляка, никогда не расставался с Гоголем и пронес эту светлую любовь сквозь всю свою сложную писательскую жизнь.

— Если бы не Николай Васильевич, — говорил мне когда-то Вишня, — возможно, я бы так и лекарил всю жизнь. Думается, Гоголь вывел меня на литературную дорогу.

Остап Вишня пришел в литературу сложившимся, зрелым человеком. Он взялся за перо по-настоящему, профессионально, лишь на четвертом десятке лет, но то, что успел он сделать за свой не очень долгий век, мог совершить только человек, наделенный щедрым литературным талантом и большим чувством юмора.

Вишня начал активно печататься в 1922 году. Это были первые годы революции, первые годы становления нашего Советского государства. В своих острых, метких и всегда оперативных фельетонах Остап Вишня поднимает важнейшие вопросы общественной и политической жизни молодой Республики Советов, направляя острие убийственного смеха против обанкротившихся организаторов и вдохновителей антисоветских походов и блоков, против петлюровских и белогвардейских недобитков, кулачества, реакционного духовенства, против всех тех, кто мечтал о реставрации капиталистических порядков в нашей стране.

Литератор-газетчик, Вишня превосходно видел, какое светлое будущее открыла Советская власть перед страной, где люди стали хозяевами собственной судьбы, строителями первого в мире социалистического общества. Он хорошо понимал, что, кроме явных, видимых врагов, вооруженных пушками, броневиками, винтовками и бомбами, существует еще один опасный враг, который пагубно влияет на людей, тормозит темпы строительства новой жизни, — это пережитки, доставшиеся нам в наследство от старого, прогнившего мира.

Борьбе с этим злом Остап Вишня отдает весь свой талант, весь огромный заряд своей творческой энергии. Он убийственно высмеивает мещанство, косность, отсталость, чванство; он выводит на чистую воду бюрократов, шкурников и карьеристов, сумевших просочиться в аппарат советских и общественных организаций; клеймит головотяпов и бездельников, очковтирателей и приспособленцев.

Писательский талант Остапа Вишни расцвел стремительно и бурно, как расцветает сад после затянувшегося холод-

ного предвесенья. Сегодня ты видишь только набухшие почки на прозябших ветках, а через недельку-другую уже не можешь оторвать глаз от щедрого весеннего цветения.

Однако без упорного труда талант не дает богатых плодов. Без повседневного труда талант зачастую вянет, а иногда и гибнет. Работоспособность Остапа Вишни была потрясающей. В этом ему могли позавидовать наиболее работоспособные и плодовитые коллеги по перу. По собственному выражению Вишни, он работал, как «черный вол», не зная покоя и отдыха, зато полной мерой черпая в этой работе великую радость творчества. Его фельетоны, юморески, очерки, колючие заметки удивительно быстро завоевали любовь и симпатии читателей.

Газеты и журналы того времени буквально осаждают писателя срочными заказами, и, говоря прямо, в те годы ни газета, ни журнал не могли рассчитывать на большой тираж, на массового читателя, если в них не печатался Остап Вишня. Свидетельством этого была газета «Вісті» [1], которая благодаря талантливым фельетонам писателя стала наиболее популярной и наиболее распространенной газетой Украины в двадцатые годы. То же самое можно сказать и о других периодических изданиях, где печатался Остап Вишня.

Популярность Вишни, слава Вишни распространялись со скоростью лесного пожара. Он стал любимым писателем многомиллионных читательских масс в селе и в городе. Его книги раскупались нарасхват, его слово проложило себе дорогу в самые глухие и далекие села и хутора Украины. О нем из уст в уста передаются легенды и всякие невероятные истории, в которых он является то ближайшим помощником председателя ВУЦИК Григория Ивановича Петровского, то бывшим магнатом, который с горя принялся писать всякие «чудасии», то красным атаманом, которому подчинялся даже сам Котовский, то просто мастером на все руки.

Уже в конце двадцатых годов Остап Вишня был автором 23 книг фельетонов, юморесок и очерков, которые выдержали множество переизданий. Общий тираж этих книг достигал шестизначного числа. По тем временам это была цифра почти фантастическая.

Вишню переводят на русский и иностранные языки.

Чем же объясняется такая огромная популярность, такая живучесть его творчества, такая всенародная любовь к его юмору?

Во-первых, могучим и редкостным талантом писателя. Во-вторых, тончайшим знанием народной жизни. Вишня знал эту жизнь не по книгам или пересказам. Нет, он сам был живой и удивительно чуткой частицей народной жиз-

---

[1] «Вісті» («Известия») — орган Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета (ВУЦИК), впоследствии орган Верховного Совета УССР.

ни, он сам вышел из ее глубин, и эта жизнь всегда бурлила в его ярких произведениях. В-третьих, на мой взгляд, это объясняется еще тем, что писатель-газетчик не разбазаривал, не растрачивал своего таланта даже в невероятно трудных условиях своего времени, что он сумел поднять жанр украинского фельетона до высокого политического накала, до уровня художественной литературы больших обобщений.

Юморист и сатирик, Вишня сплошь и рядом должен был отзываться на животрепещущие вопросы жизни, зачастую крепко привязанные ко времени и конкретным событиям. Поэтому в литературном наследии писателя есть множество малоразмерных, острых произведений, отражающих реальную обстановку тех лет, становления Советской власти, нэпа, новых человеческих отношений и пр. Большинство этих миниатюр выдержало испытание временем и осталось актуальным для нынешнего читателя. Разрабатывая глубокие и насущные проблемы современности, Вишня превратил сатиру и смех в острое оружие наступающего социализма.

Бывает так, что слава и популярность, необычайный успех усыпляют, кружат голову, и талант творца постепенно начинает усыхать, теряет остроту, силу, а вместе с тем и читательскую любовь и самих читателей.

С Остапом Вишней этого не случилось. Он неустанно совершенствует, оттачивает мастерство, ищет новые приемы, творческие средства, становится еще взыскательнее к слову, к языку своих произведений. Писатель ездит по республике, внимательно всматривается в жизнь людей, изучает их дела и свершения, встречается с читателями, самозабвенно работает.

* * *

Говорят, что слава и беда шагают рядом. Не знаю, насколько это верно с философской точки зрения, но если говорить о Вишне, то я могу утверждать, что на долю Павла Михайловича выпала большая слава и большая беда.

Сама беда еще была где-то за горизонтом, но ее зловещее дыхание писатель уже ощущал. В начале тридцатых годов в прессе начали появляться разносные демагогические статьи, которыми полностью перечеркивалась вся литературная деятельность писателя, ставилась под сомнение его политическая и гражданская порядочность.

Авторы этих голословных пасквилей пытались доказать, что всенародная популярность Остапа Вишни несет в себе не благо, а зло, потому, видите ли, что эта популярность есть результат безвкусицы и низкого интеллектуального уровня миллионных читательских масс. В злобной клевете на писателя звучали утверждения, что во время социалистической реконструкции и перестройки страны смеяться вообще грех-

но. Что народу, сумевшему подняться на высшую социальную ступень, нужна только «серьезная» литература, а не юмор и не улыбка.

Злопыхателям и демагогам Вишня отвечал:

«Да! Улыбка! И даже обязательно! Не мыслю иначе всей перестройки нашей «медлительной» жизни на новую, бодрую и смелую, без доброго юмора, без радости! О чем плакать? Новую жизнь строить со слезами? Да пошли вы к черту со своими слезами. Мне улыбается новая жизнь, и я ей улыбаюсь. Отсюда и «усмешки»!»

Но улыбаться Вишне становилось все труднее и труднее.

В конце 1933 года Остап Вишня был арестован.

* * *

Поздней осенью 1943 года Остап Вишня возвратился из заключения. С трудом верилось, что вновь воскреснет травмированный талант, что литератор-юморист не угас в Вишне и он сможет писать так, как писал когда-то. Сумел ли он сберечь свой талант и его золотую сердцевину — юмор? Не разъеден ли он скепсисом и обидой?

Собственно, такие сомнения были закономерны. Даже гениальнейший скрипач может за это время «выйти в тираж» потому, что его гибкие пальцы, лишенные повседневной тренировки, огрубеют и уже не смогут извлекать из недр инструмента те чарующие мелодии, которые так мастерски и виртуозно извлекали раньше.

Но все сомнения начисто развеялись 26 февраля 1944 года. В этот день газета «Радянська Україна» напечатала блестящую юмореску Вишни «Зенитка».

Это было второе рождение писателя. Это был огромный праздник для его читателей.

Выстрел знаменитой «Зенитки» оповестил Украину, что в жизни писателя Вишни, после десятилетнего вынужденного молчания, начался новый творческий взлет, такой же искрящийся, динамичный и плодотворный, каким был первый.

Писатель с изумляющей жадностью кинулся в любимое дело, в творческий поиск. Он весь в работе, весь в беззаветном служении народу, партии.

В своей творческой деятельности Остап Вишня продолжает и развивает лучшие традиции русской и украинской сатирической классики, традиции Салтыкова-Щедрина и Котляревского, Гоголя и Шевченко, Чехова и Ивана Франко, традиции народного юмора. Любовь к человеку-созидателю, человеку — творцу всех материальных и духовных сокровищ мира, уничтожающая ненависть к паразитам и дармоедам, прикарманивающим созданные трудом и потом человечества блага,— вот святая святых этих бессмертных традиций.

«Чтобы сатира была действительною сатирою,— говорил Салтыков-Щедрин,— и достигала своей цели, надобно, во-первых, чтоб она давала почувствовать читателю тот идеал, из которого отправляется творец ее, и, во-вторых, чтоб она вполне ясно сознавала тот предмет, против которого направлено ее жало».

Руководящим идеалом всего творчества Остапа Вишни являются интересы народа, интересы нашего социалистического строя. Писатель направляет острие своей сатиры, убийственную силу своего смеха против пережитков прошлого в сознании людей, против врагов зарубежных и врагов доморощенных.

В глубоком понимании идеала, в мастерстве и умении дать читателю почувствовать этот идеал, в страстном стремлении бороться за торжество этого идеала и заключена огромная жизнеутверждающая сила лучших произведений советской сатиры, в том числе фельетонов, очерков и юморесок Остапа Вишни.

Перо Вишни всегда заострено, всегда в действии. Писатель смело критикует недостатки в деятельности наших учреждений и организаций, хлестко высмеивает лодырей, дармоедов, халтурщиков, беспощадно бичует бюрократов, рвачей, хапуг и тунеядцев, людей без совести и чести. Словно в пору своей литературной молодости, Вишня не знает покоя и кабинетной тишины. Он постоянно выступает в журналах и газетах. Он сатирик оперативного плана в лучшем смысле этого слова. Сатирик действия!

— «Кожний Івась мае свій лас» — «каждому свое»,— не раз говорил Вишня.— А я, говоря вам по секрету, до сих пор считаю себя в общем и целом газетчиком. И даже когда зубной врач угощает тебя треклятущей бормашиной — и тогда, за щеку держась, думаешь про то, чтобы на бумаге вышло остро, вышло весело...

Каждый, кто заинтересуется творческой лабораторией писателя, легко убедится в том, что лишь активное сотрудничество в газетах и журналах, живой и постоянный контакт с жизнью, широкая и постоянная переписка с рабселькорами и читателями помогли Остапу Вишне ярче и глубже раскрыть свой большой талант, создать огромную серию фельетонов, очерков и юморесок, которые приобрели популярность не только на Украине, но и далеко за ее пределами.

Многие произведения писателя приняты на вооружение тысячами кружков художественной самодеятельности, их читают на олимпиадах, концертах и собраниях, передают по телевидению и радио. Такие фельетоны, как «Дылда», «По ревизии», «Зоре моя, вечірняя...», «Кочевники» и многие, многие другие, долго будут боевым оружием в нашей борьбе с дармоедами, лицемерами, бездельниками, спекулянтами, со всяческими нарушителями норм социалистического общежития.

Почему, к примеру, фельетон «Дылда» вызвал такой широкий отклик среди трудящихся современного села? Пото-

му, что это — острое проблемное произведение, потому что писатель затрагивает в нем один из важнейших вопросов нашей жизни — вопрос отношения человека к труду. Советские люди показали себя неутомимыми тружениками, вкладывающими в работу творческие силы и умение. Труд стал для них тем радостным и вдохновенным творчеством, без которого их жизнь потеряла бы всякий смысл, стала бы пустоцветом. Да, как говорится, в семье не без урода. В работящем советском коллективе есть еще и ловкачи, люди без совести и чести, преследующие единственную цель в жизни — поменьше сделать для общего блага, побольше урвать для себя от общего куска. Именно такими изображены главные персонажи фельетона — Тимош Иванович Дылда и его достойная женушка — Салимония Филипповна.

Дылды прекрасно понимают, что в советском коллективе лодырям и спекулянтам ходу нет. Они знают, что их могут вытащить за уши на общий суд и спросить: «А почему это вы, неуважаемые Тимош Иванович и Салимония Филипповна, живете паразитами?» Поэтому они изворачиваются, хитрят, прикидываются безнадежно хворыми. Как только нужно идти на работу, так у Тимоша Ивановича обязательно «хватает» поясницу, а его супруге в тот же момент немилосердно «подпирает» под грудь.

«Отпускает» супругов Дылд лишь тогда, когда нужно ехать на базар спекулировать.

Дылды — чужого поля ягоды! Труд для них — обременительное и крайне неприятное дело, поэтому в душе читателя они не могут вызвать иных эмоций, кроме возмущения и презрения. Высокое мастерство автора становится оружием, помогает клеймить и обличать приспособленцев и обманщиков.

* * *

Этот листок машинописи до сих пор висит около письменного стола в рабочем кабинете Остапа Вишни. Приколотый к стене обыкновенной канцелярской кнопкой, пожелтевший от времени, он стал уже музейным экспонатом. Но был он живым манифестом, боевой программой бессмертного творчества великого юмориста Украины, его, так сказать, «святцами». И было это, кажется, совсем недавно.

Впервые я увидел этот листок летом 1955 года. Забежал утречком на квартиру к Остапу Вишне, чтобы договориться о воскресной поездке на рыбалку — собирались мы тогда на Жуков хутор, карпов удить,— а Павел Михайлович уже сидит в легкой пижаме у письменного стола, работает. Судя по высоченной пирамиде, кажется, еще теплых окурков «Казбека» в массивной пепельнице, рабочий день начался у него очень рано и очень интенсивно.

Закурили вдвоем, уточнили час отъезда на озеро, и я уже собрался было идти в редакцию, но вдруг попал на глаза мне этот листок машинописи на стене у письмен-

ного стола. Раньше я его никогда не видел. Подхожу ближе, читаю:

МОИ «ДРУЗЬЯ», БУДЬ ОНИ ТРИЖДЫ ПРОКЛЯТЫ!

Бюрократы	*Замаскированные паразиты*
Вельможи	*Откровенные мерзавцы*
Перестраховщики	*Сутяги и склочники*
Очковтиратели	*Халтурщики*
Хапуги	*Пошляки*
Зажимщики критики	*Хамы*
Подхалимы	*Рвачи*
Взяточники	*Хапжи*
Спекулянты	*Браконьеры*
Круглосуточные болтуны	*Грубияны*
Дремучие дурни	*Задаваки*
Зазнайки	*Алиментщики-летуны*

и прочие сукины сыны и прохвосты.

О ЧЕМ Я, НЕСЧАСТНЫЙ, ДОЛЖЕН ДУМАТЬ И ПИСАТЬ:

О хулиганстве, грубости и невоспитанности.
О перевоспитании лоботрясов и шалопаев.
О легкомыслии в любви, браке и в семье.
О широких натурах за государственный счет.
О начетчиках и талмудистах в науке.
О консерваторах в сельском хозяйстве и промышленности.
Об истребителях природы.
О всяческом, одним словом, деряме!

Господи, боже мой! Помоги мне!

Павел Михайлович лукаво поглядел на меня из-под очков и усмехнулся:

— Память с годами слабеет, а долг остается долгом. Вот и написал на всякий случай. Пусть висит и пусть напоминает, кто я такой и что должен делать.

Всего-навсего единственный листочек машинописи, всего-навсего одна деталь, но какая она значимая. Какая красноречивая! За этой деталью вся жизнь, отданная литературе, ее острейшему и труднейшему жанру — юмористике. В этой детали, словно в капле росы, весь Вишня, его характер, его мужество и честь, его сила, горение его большой души и большого таланта!

Остап Вишня всегда беспощаден и непримирим, когда пишет о нарушителях наших законов, порядков и этики. Писатель жестоко высмеивает и сурово осуждает все чуждое нам, все обветшалое и вредоносное, ибо так велит ему его

литературная совесть, ибо он глубоко уважает и любит людей, скромных, честных тружеников. О них он написал за свою жизнь множество прекрасных произведений. С какой завидной сердечностью и теплотой воспевает писатель их труд, их характеры, их ратные и трудовые подвиги!

С какой мудростью и талантом раскрывает он в этих произведениях все богатство, бесконечное разнообразие тончайших оттенков юмора — этого драгоценного и неотъемлемого качества своего народа. Читаешь талантливую «Зенитку», высокопоэтические усмешки «Дедушки наши и бабушки наши», «Дед Матвей», читаешь мастерский очерк «Запорожцы» — и невольно хочется пожать руку героям этих произведений и от всей души сказать им: живите, люди добрые, долго, долго, здравствуйте вечно, украшайте жизнью своей и делами своими великими нашу Родину и весь честный род человеческий!

Остап Вишня — писатель широкого диапазона, писатель многогранный. В его богатом литературном наследстве мы встретим острополитические памфлеты, комедийные пьесы, боевые фельетоны, лирические «охотничьи усмешки», рассказы для детей и о детях, веселые юморески и мудрые, точно нацеленные очерки.

Произведения Остапа Вишни, в которых главными героями выступают положительные персонажи — строители индустриальных гигантов Запорожья, шахтеры, героические защитники Ленинграда, отстоявшие в смертных боях свой город — колыбель Великого Октября, люди воинского и трудового подвига,— радуют сердце читателя проникновенным лиризмом, поэтической искренностью слова, душевной красотой человека. Эти произведения озарены чувством высокого патриотизма, в них много светлого юмора. Но смех здесь играет совершенно иную роль, нежели в произведениях обличающего плана. В произведениях, изобличающих зло, смех Вишни выступает в роли кнута, которым автор со всего размаха хлещет по носителям всяческой нечисти. А в произведениях лирических юмор вызывает не злую или горькую, а веселую, радостную улыбку. Писатель пользуется здесь средствами юмора для того, чтобы сильнее подчеркнуть глубокий оптимизм нашей жизни, радость творческого труда нашего народа.

Остап Вишня — юморист самобытный, оригинальный и неповторимый. Он блестящий мастер диалога и комической ситуации. Его юмор глубоко национальный. Язык его произведений колоритный, поэтичный и острый. Писатель всегда помнит, что главное его оружие — это живое, одухотворенное слово. Веселую юмореску, фельетон, острую сатиру невозможно написать холодным, спокойным, пусть даже вполне литературным языком. Писатель постоянно заботился, чтобы это оружие не покрылось ржавчиной. Он неутомимо шлифовал и совершенствовал свой язык.

У Вишни был какой-то удивительный языковой слух, исключительно точное чувство слова. Я всегда восхищался, наблюдая, как он читал и правил рукописи. Сидим, бывало, за длинным столом и вычитываем юморески, фельетоны и заметки, подготовленные к публикации в очередном номере журнала «Перець». Вот юмореску, кстати, веселую и удачную, подписали уже многие члены редколлегии. Очередь дошла до Павла Михайловича. Он читает и улыбается, и вдруг на одном абзаце остановился, нахмурился, потянул руку за карандашом и принялся править.

— Так по-украински не говорят и не пишут,— говорит он будто сам себе.

Любовь Вишни к родному слову никогда не старела и не угасала. Не старел и талант Вишни. До последних своих дней он был непоседливый, энергичный, деятельный. Литературный труд был для него такой же органической потребностью, как воздух, как вода и хлеб. Встречи с читателями, поездки по стране приносили Вишне много радости, творческого подъема и подлинную взволнованность. Каждую поездку в колхозы, школы, на заводы и шахты, а эти поездки часто бывали длительными и нелегкими для его возраста, он всегда воспринимал как добрый повод еще и еще раз побывать среди людей.

Вспоминается мне наше совместное, почти месячное путешествие по западным областям Украины летом 1953 года. Здоровье Павла Михайловича уже было серьезно подорвано, но он с радостью согласился на эту поездку. Ежедневно два, а то и три выступления перед читателями, встречи со студентами, с учителями и школьниками, а лето было жаркое и душное. Даже писатели значительно моложе Остапа Вишни порой так изматывались за день, что засыпали, не ужиная, а Павел Михайлович не подавал вида, что он устал, что ему трудно. Даже поздними вечерами в его комнате не пахло покоем и отдыхом. К нему постоянно приходили местные литераторы, артисты, просто любители его творчества, но больше всего времени он отдавал людям, которые приходили с теми или иными жалобами, приходили за помощью или советом. Эти люди искренне верили: Вишня напишет, Вишня протелеграфирует, Вишня позвонит по телефону, и все будет решено правильно, все станет на место.

Однажды зашел я в номер Павла Михайловича в Дрогобыче, кажется, уже в двенадцатом часу ночи, а он сидит у стола, внимательно просматривает какие-то бумаги. Я спрашиваю:

— Почему до сих пор не спите? Чем так зачитались?

— Не спится, братцы, не спится. «Делов» этих, как говорится, «делов»! Вот только что был у меня один дедок из Подгорья. Отрезали у старика часть огорода, а он считает, что незаконно отрезали. Всюду уже писал, жаловался, а теперь вот принес мне свои бумаги. Говорит: «Если уж вы не

поможете, значит, никто больше не пособит моей беде». Вот изучаю его «делы». Кажется, и впрямь обидели старика зря. Придется завтра сходить к председателю облисполкома.

И так ежедневно, и так всегда. Общественная деятельность, разбор всяческих жалоб и заявлений, да и связанные с ними хлопоты отбирали у писателя добрую треть времени, хотя эта нелегкая работа вовсе не входила в его обязанности. Но жить иначе Вишня не мог. Такова уж была его натура, такое было у него сердце. Помочь человеку, поддержать его в беде Вишня считал своим первейшим долгом.

Во время этой поездки нашей писательской бригаде приходилось не раз выступать в пионерских лагерях. Выезжая на встречу с пионерами, Павел Михайлович ужасно волновался. Таким взволнованным я видел его, пожалуй, только в Черновцах, когда студенты университета засыпали его цветами и на руках пронесли с площади, куда мы подъехали на машинах, на сцену актового зала университета, где Вишне устроили такую овацию, что, казалось, обрушится потолок.

Подъезжая к пионерскому лагерю, я не вытерпел:

— Чего вы так волнуетесь, Павел Михайлович?

— Вот так всегда. Как только выступать мне перед детьми, душа в пятки. Очень люблю детей, а написал для них мало. И в эту поездку, как на грех, не взял ни одного рассказа из «детского репертуара».

— Ничего,— попытался я успокоить.— Выступите со «взрослым репертуаром». Дети любят и понимают юмор.

— И любят и понимать понимают, но могут ведь и спросить: «А почему это вы, дядько Остап, так мало про нас пишете? Мы же смена! Мы будущее нашей страны!» Что я им отвечу? Скажу, что для детей нужно писать неизмеримо лучше, чем для взрослых? А у меня уже пороха не хватает для такого ответственного письма... Пионеры — народ строгий, они обо всем спросят.

Должен сказать, что Остап Вишня при всей его нежной любви к юношеству, при всем его литературном мастерстве всегда с какой-то опаской и боязнью брался за детские произведения. Думается мне, что объясняется это лишь его высокой литературной требовательностью к самому себе, его глубокой убежденностью, что писать для детей намного сложнее и труднее, нежели для взрослых.

Мне пришлось быть свидетелем, как принимает «строгий пионерский народ» «взрослые» произведения Вишни. Пионеры от всей души хохотали, когда Вишня читал юмореску «Если бы встала моя бабуся». Звонкий хохот не затихал над лагерем, когда читались «Зенитка» и «Дикий кабан, или вепрь». Если же вспомнить букеты ярких цветов, подаренных писателю пионерами, если вспомнить, что каждый лагерь обязательно принимал Остапа Вишню в почетные пионеры и детские ручонки повязы-

вали ему алый галстук на шею, то мне не придется повторять известную истину, что большому таланту «все возрасты покорны».

Из подобных поездок Вишня возвращался переполненный впечатлениями, новыми творческими замыслами, а зачастую с готовыми юморесками, так как «писал» он их сначала в уме, в памяти, а лишь затем «записывал» на бумаге за письменным столом.

* * *

Остап Вишня — выдающийся мастер политической сатиры. Можно без преувеличения сказать, что всю свою жизнь в украинской литературе он ведет беспощадный бой с империалистическими поджигателями войны, с колонизаторами и угнетателями, с украинскими буржуазными националистами. Вишня стреляет по ним «картечью» и «жаканами», ведет с ними рукопашный бой «доисторическим инструментом»— шахтерским обушком, громит залпами «Зенитки». Борьбу с поджигателями войны и их лакеями писатель считает своим патриотическим долгом. И это вполне естественно. Ведь советская литература и ее острейший жанр — сатира и юмор — это литература мира, литература труда, счастья и нерушимой дружбы народов. На знамени нашей литературы начертаны простые, понятные и близкие сердцу всех добрых людей земли слова: «За мир во всем мире! За счастье всего трудового человечества!»

В политических памфлетах и фельетонах Остап Вишня вывел целую галерею выродков, одичавших и обезумевших от неутолимой жажды накопления денег, стремящихся уничтожить в огне чудовищной войны миллионы людей во имя новых миллиардов сверхприбылей в бездонных сейфах Уолл-стрита и Сити. Сатирик беспощадно развенчивает антинародную сущность буржуазной демократии, растленную мораль капиталистического мира, срывает маску миролюбия с империалистических агрессоров и показывает читателю их настоящее омерзительное лицо. К примеру, в памфлете «А народ войны не хочет» читаем:

«А как хочется воевать всем этим мистерам!

До боли, до рези в животе!

Уолл-стрит хочет, чтобы весь белый свет, весь земной шар в несгораемом шкафу хранился!

Щелкнет мистер золотым ключом:

— Весь шар земной мой! Мой!»

Языком сарказма и насмешки писатель говорит о холуях «золотого мешка», о выползнях из «самостийной дырки»— украинских националистах. Он показывает их в неподдельном виде — подлыми, алчными и коварными предателями своей родины.

Уже ранние сатирические произведения Вишни, нацеленные своим острием против украинских националистов, отличаются острым обличительством и большим мастерст-

вом. Умело используя такие жанровые средства, как гротеск и гипербола, Остап Вишня блестяще, убедительно показывает продажность и обреченность буржуазно-националистических отщепенцев.

Политические памфлеты и фельетоны Остапа Вишни отличаются высоким сатирическим пафосом, метким словом, оригинальностью и гражданственностью. В грани малой формы писатель умеет уложить огромное содержание, глубокую мысль, большую силу сатирического накала. Каждая его фраза, каждое слово бьют точно «в яблочко» избранной мишени.

* * *

За семь дней до смерти Павел Михайлович возвратился в Киев с Херсонщины, где он был более месяца в творческой командировке. Были у него новые планы, новые замыслы, но не довелось нам увидеть их воплощенными. 28 сентября 1956 года неумолимая смерть безвременно оборвала жизнь крупнейшего сатирика нашего времени, чудесного человека, гражданина и друга.

Ушел от нас этот большой писатель, а я никак не могу свыкнуться с мыслью, что его нет среди живых. Может быть, это потому, что у нас, в редакции «Перця», висит портрет Павла Михайловича и ежедневно я встречаюсь с ним, будто с живым. Взгляну в его живые, мудрые, немножко грустные глаза, и кажется, вот сейчас распахнутся двери, и войдет, опираясь на резной гуцульский топорец, наш неповторимый Павел Михайлович — Остап Вишня. Войдет, поздоровается шутливо, как здоровался всегда:

— Привет, робятушки! Как жизнь молодая? Цветет?

— Цветет, Павел Михайлович, цветет.

— Ну и чудесно. Хай цветет!

Потом присядет у стола, протрет платочком стекла очков, достанет из кармана коробку неизменного «Казбека», закурит и, вспоминая что-то свое, внезапно спросит:

— Вы, Федор Юрьевич, живого варвара давно видели?

— Правду говоря, давненько.

— А я сегодня видел. Вышел утречком из дому и пошел себе по бульвару Шевченко. Около гостиницы «Украина» какая-то старушка голубей кормит. Посыплет на асфальт пшеницы, а они около нее, как цыплята, копошатся. А тут, откуда ни возьмись, такси. Гонит, бесова душа, как на пожар. Видит же — голуби на дороге, а гонит. Ну и задавил, варвар, двух таких белоснежных красавцев, что у меня сердце зашлось. Успел записать номер машины. Вот сейчас позвоню, дознаюсь, кто вел машину, и обязательно напишу, обязательно в «Перці» проперчу. И как только земля носит таких бессердечных?!

Бессердечность, скверну, безответственность Остап Вишня не переносил! Не переносил потому, что сам был челове-

ком чуткого сердца и благородной души. Выше всего он любил добро и родную природу. Помнится, как-то в начале лета читатели «Перця» прислали Вишне письмо, в котором жаловались на своего земляка-браконьера, бессовестно нарушавшего сроки охоты. Прочитав письмо, Вишня вскипел от гнева. Здесь же в редакции он быстро набросал свой широко известный фельетон «Утята плачут», в котором так отстегал нарушителя закона, что тот наверняка запомнил до новых веников.

Остап Вишня был чутким и удивительно скромным человеком. Он никогда не упивался своей литературной славой и огромной популярностью, всегда оставался земным, простым и доступным. За 10 лет его работы в «Перці» не было случая, чтобы он кого-то не принял или кому-то сказал: «Сегодня я занят. Придите после». Он зачастую откладывал даже неотложные дела, если к нему кто-то обращался, приезжал или приходил.

Нужно сказать, что посетителей в редакции всегда было много и каждому хотелось попасть обязательно к «самому Остапу Вишне».

То заявится к нему жалобщик из Сумщины и просит, чтобы его горести и печали выслушал «только» Вишня, то приедет молодой литератор из Львова и просит Вишню прочесть и оценить его первые пробы в сатирическом жанре. Всю свою писательскую жизнь Вишня поддерживал теснейшую связь с творческой молодежью, был для нее вдумчивым учителем и наставником, не щадил сил и времени для всемерной помощи молодым, охотно делился собственным огромным опытом.

«Не задерживайте таланты. Пусть растут!— говорил Вишня.— Не забывайте, что молодые литераторы — наша смена, будущие мастера нашей великой культуры!»

Могучий талант Остапа Вишни, необычайная популярность его произведений оказали большое влияние на творческий рост целой плеяды украинских сатириков и юмористов.

«Мы все пошли от Вишневого корня»,— однажды сказал талантливый юморист Юрий Вухналь, и это сказано без преувеличения. От «Вишневого корня» шли украинские юмористы еще в двадцатых годах, из этого же корня выросли и нынешние.

Частенько бывало и так. Заходит человек и спрашивает:

— Могу ли я видеть Остапа Вишню?

— Можете!— отвечает Вишня.

— А где же он?

— Вот он, перед вами!

— Значит, это вы Остап Вишня?

— Значит, я и есть Остап Вишня!

— Простите, пожалуйста, но вот остановился я проездом в Киеве, и захотелось мне на вас посмотреть. Дай, думаю, зайду в редакцию, взгляну, какой же он есть, этот наш Остап Вишня, который так здорово и смешно пишет.

— Ну, смотрите на доброе здоровье, если вам это приятно,— усмехнется Павел Михайлович и уж не отпустит гостя, пока не расспросит, кто он и откуда, где живет и работает, что хорошего слышно в его краях.

С посетителями он умел разговаривать непринужденно, искренне, по-отечески, и в его обществе каждый чувствовал себя непринужденно и просто. Остап Вишня был влюблен в веселых, находчивых, острых на язык людей. Он мог часами слушать их рассказы, смеяться до слез. Казалось, мало кто умеет так смеяться, как смеялся Остап Вишня.

* * *

Остап Вишня был и навсегда останется в советской украинской литературе звездой первой величины. И слово его, чарующее, веселое, и смех его, то язвительный и едкий, то поэтический и ласковый, будет жить вечно потому, что сам писатель был живой улыбкой своего великого и бессмертного народа.

Федор Макивчук

Вот оно-село!

СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ,
ЮМОРЕСКИ И ФЕЛЬЕТОНЫ
1919—1927

Моя автобиография

У меня нет никакого сомнения в том, что я родился, хотя и во время моего появления на свет белый и позже — лет, пожалуй, десять подряд — мать говорила, что меня вытащили из колодца, когда поили корову Оришку.

Произошло это событие первого ноября (старого стиля) 1889 года в местечке Грунь, Зиньковского уезда, на Полтавщине.

Собственно, событие это произошло не в самом местечке, а на хуторе Чечве, около Груни, в имении помещиков фон Ротт, где мой отец работал у господ.

Условия для моего развития были подходящие. С одной стороны, колыбель на веревочках, с другой — материнская грудь. Немного пососешь, немного поспишь — и растешь себе помаленьку.

Так оно, значит, и пошло: ешь — растешь, а потом растешь — ешь.

Родители мои были, как и все родители.

Отец отца был в Лебедине сапожником. Отец матери был в Груни хлеборобом.

Более глубокой генеалогии мне проследить не довелось. Отец вообще не очень любил рассказывать о своих родичах, а когда, бывало, спросишь у бабушки (отцовой матери) о дедушке или о прадедушке, она всегда отвечала:

— Такой стервец был, как и ты вот! Покоя от него не было.

О материнской родне также знаю немного. Только то и помню, что отец частенько говорил матери:

— Не удалась ты, голубушка, в свою мать. Царство небесное покойнице: и любила выпить и умела выпить.

А вообще родители были ничего себе люди. Подходящие. За двадцать четыре года совместной их жизни послал им господь, как тогда говорили, всего только семнадцать детей, потому что они умели молиться милосердному.

Стал, значит, я расти.

— Будет писать,— сказал как-то отец, когда я, сидя на полу, размазывал рукой лужу.

Оправдалось, как видите, отцовское пророчество.

Но от правды не уйдешь: много еще времени прошло, пока отцовское предсказание воплотилось в жизнь.

Писатель не так живет и не так растет, как обыкновенный человек.

Что обыкновенный человек? Живет, проживет, умрет.

А писатель — нет. О писателе подай, обязательно подай: что повлияло на его мировоззрение, что его окружало, что организовало его, когда он лежал у матери на руках и чмокал губами, не думая совсем о том, что когда-нибудь придется писать автобиографию.

А вот теперь сиди и думай, что на тебя повлияло, отчего ты стал писателем, какая нелегкая понесла тебя в литературу, когда ты стал задумываться над тем, «куда дырка девается, когда бублик поедается».

Потому что писателями так, спроста, не становятся.

И вот когда припоминаешь свою жизнь, то приходишь к выводу, что писателю в его жизни действительно сопутствуют явления необычайные, явления оригинальные, и, если бы этих явлений не было, не был бы человек писателем, а был бы порядочным инженером, врачом или просто толковым кооператором.

Навалятся эти явления — и пошел человек писать.

Главную роль в формировании будущего писателя играет природа — картофель, конопля, бурьяны.

Если у мальчика или у девочки имеется склонность к задумчивости, а вокруг растет картофель, или бурьян, или конопля,— амба! Так уже и знайте, что из ребенка вырастет писатель.

И это вполне понятно. Когда ребенок задумается и сядет на голом месте, разве ему дадут как следует подумать?

Сразу же мать пугнет:

— И куда это он сел, сукин сын!

И вдохновение с перепугу развеялось.

Тут картофель — в самый раз.

Так было и со мной. За хатой недалеко — картофель, на грядке — конопля. Сядешь себе: ветер веет, солнце греет, картофель навевает мысли.

И все думаешь, думаешь, думаешь... Пока мать не крикнет:

— Поди-ка, Малашка, погляди, не заснул ли там, часом, Павло? Да осторожненько, не напугай, чтобы рубашку не замарал. Разве на них настираешься?!

С того оно и пошло. С того и начал задумываться. Сидишь и колупаешь перед собой ямку.

А мать, бывало, ругается:

— Что за дьявол картофель подрывает? Ну, уж если поймаю!!

Порывы чередовались. То вглубь тебя потянет,— тогда ямки колупаешь, то увлечет тебя ввысь, на простор, вверх куда-нибудь. Тогда лезешь в клуню [1] на балку воробьев гонять или на вербу за галчатами.

Конституции я с малых лет был нервной, впечатлительной: как покажет отец ремень или кнут-восьмерик — моментально под кровать и дрожу.

— Я тебе покажу балку! Я тебе покажу галчат! Если бы сразу убился, то еще ничего! А то ведь покалечишься, сукин ты сын!

А я лежу под кроватью, трепещу, носом шмыгаю и думаю печально: «Господи, чего только не приходится переживать из-за этой литературы?!»

Из событий моего раннего детства, которые повлияли (события) на мое литературное будущее, твердо врезалось в память одно: упал я с лошади. Летел верхом по полю, а собака из-за кургана как выскочит, а лошадь — в сторону! А я — шлеп! Здорово упал. Лежал, пожалуй, с час, пока очнулся... Недели три после этого хворал. И вот тогда я понял, что я для чего-то нужен,

---

[1] Клуня — овин.

если в такой подходящий момент не убился. Неясная во мне шевельнулась тогда мысль: наверное, я для литературы нужен. Так и вышло.

Вот так, между природой, с одной стороны, и людьми — с другой, и промелькнули первые годы моего детства золотого.

Потом отдали меня в школу.

Школа была не простая, а «Министерства народного просвещения». Учил меня хороший учитель, Иван Максимович, доброй души старикан, белый-белый, как бывают белыми у нас перед весенними праздниками хаты. Учил он добросовестно, так как сам был ходячей совестью людской. Он уже умер, пусть земля ему будет пухом. Любил я не только его линейку, которая ходила иногда по нашим рукам школярским, испачканным. Ходила потому, что такая тогда «система» была, а ходила она всегда, когда было нужно, и никогда не ходила яростно.

Где теперь она, эта линейка, что помогла мне выработать стиль литературный? Она первая прошлась по руке моей, по той самой руке, что пишет нынче автобиографию. А писал ли бы я вообще, если бы не было Ивана Максимовича, а у Ивана Максимовича не было бы линейки, которая принуждала заглядывать в книгу.

В это самое время начала формироваться и моя классовая сознательность. Я уже знал, что вот это господа, а это не господа. Потому что частенько, бывало, отец посылал меня с чем-то к барыне в горницу и при этом наказывал:

— Как войдешь, сразу же поцелуешь барыне ручку.

«Великая,— думал я про себя,— значит, барыня персона, если ей ручку целовать надо».

Правда, какой-то неясной была тогда моя классовая сознательность. С одной стороны, целовал барыне ручку, а с другой — клумбы цветов ее топтал.

Чистый тебе лейборист. Между социализмом и королем вертелся, как мокрая мышь.

Но уже и тогда хорошо запомнил, что господа на свете есть.

И когда, бывало, барыня накричит за что-то, ногами затопает, тогда я залезу под господскую веранду и шепчу:

— Погоди, эксплуататорша! Я тебе покажу, как триста лет нас и т. д. и т. д.

Отдали меня в школу рано. Не было, наверное, мне и шести лет. Окончил школу. Пришел домой, а отец и говорит:

— Мало ты учился. Надо еще куда-нибудь отдать. Повезу в Зиньков, поучись еще там, посмотрим, что из тебя выйдет.

Повез отец меня в Зиньков, хоть и трудно ему было тогда, потому что нас уже было шестеро или семеро, а зарабатывал он не шибко. Однако повез и отдал в Зиньковскую городскую двухлетнюю школу.

Зиньковскую школу я закончил в году 1903 со свидетельством, что имею право быть почтово-телеграфным чиновником какого-то очень высокого (чуть ли не четырнадцатого) разряда.

Но куда мне в те чиновники, если «мне тринадцать минуло».

Приехал домой.

— Рано ты,— говорит отец,— закончил науку. Куда же тебя, если ты еще такой маленький? Придется еще поучиться, а у меня и без тебя уже двенадцать.

И повезла меня мать в самый Киев, в военно-фельдшерскую школу, поскольку отец, как бывший солдат, имел право отдавать детей в ту школу на «казенный кошт».

Поехали мы в Киев. В Киеве я на вокзале разинул рот и так шел с вокзала через весь Киев до самой Лавры, где мы с матерью остановились. Приложились ко всем мощам, ко всем чудотворным иконам, ко всем мироточивым головам — и экзамены сдал.

И остался в Киеве. И закончил школу и стал фельдшером.

А потом пошла неинтересная жизнь. Служил и все учился, все учился — будь оно неладно! Все экстерном.

А потом в университет поступил.

Книга, которая произвела на меня самое сильное впечатление в жизни,— это «Катехизис» Филарета. До чего же противная книжка! Еще если бы так — прочитал и бросил, оно бы и ничего, а то на память.

Книги я любил сызмальства. Помню, попался мне Соломонов «Оракул». Целыми днями сидел над ним и шарик из хлеба пускал на круг с разными числами. Пускаю, пока голова кругом пойдет, пока нагрянет мать, войдет, схватит тот «Оракул» и по голове — трах! Тогда только и брошу.

Вообще любил я книжки с мягкими переплетами.

Их и рвать легче, и не так больно они бьют, если мать увидит.

Не любил «Русского паломника», который мать читала лет двадцать подряд. Очень большая книга. Как, бывало, замахнется мать, у меня душа в пятки.

А остальные книги читались ничего себе.

Писать в газетах я начал в 1919 году, за подписью Павла Груньского. Начал с фельетона.

В 1921 году начал работать в газете «Вісті» переводчиком.

Переводил я, переводил, а потом подумал:

«Чего я перевожу, если могу фельетоны писать. А потом — писателем можно стать. Вон сколько разных писателей есть, а я еще не писатель. Квалификации, думаю, у меня особенной нет, бухгалтерии не знаю, что же, я думаю, буду делать».

Сделался я Остапом Вишней да стал писать.

И пишу...

1927—1955

Чудак, ей-богу!

Малыш иногда сует свою рожицу туда, куда ему вовсе и не следует.

Мне до сих пор странно, что̀ меня в детстве интересовало. Бывало, пасешь гусей и придешь домой, мать уложит тебя спать, а у тебя в голове, словно сверлом, одна мысль так и крутит, так и вертит.

А о чем?

Я все думал да гадал: «Есть ли у попа штаны?»

Встретишь, бывало, попа, руки так и чешутся, ну до того чешутся — подбежать, поднять рясу и хоть одним глазком взглянуть, в штанах ли он.

Бывало, придешь к матери:

— Мама!

— А?

— А есть ли у насего попа станы?

— Дурной ты!

На глазах даже слезы засверкают.

Тут аж жжет, ну аж-аж-аж хочется узнать, а она:

— Дурной!

Ну, пускай дурной, пускай!

Но я хочу знать! Хочу — и баста!

— Мама!

— Ну?

— Наверное, у попа станов нема, а то если бы они были, он бы такую юбку, как у вас, не носил!

— И какой же ты дурной! Ну, не все ли тебе равно, есть ли у попа штаны, или нету!

— Э, все равно! А почему он в юбке? Нету, наверное!

И я твердо решил, что нету! Нету у попа штанов. А то вон наш батя в штанах, и юбки он не носит.

А я хоть и без штанов, но я еще маленький.

И ошибся.

У попа штаны есть.

И узнал я об этом скоро.

Однажды раненько утром гоню в поле гусей, а Панас тетки Одарки кричит:

— Остап! Бези сюда, цто-то рассказу!

Я аж затопал. И гусей бросил.

— Сто?

— А у нас в кладовке поповы станы висят. Вцера нас Иван и Омельков Михайло насего попа у Приськи застукали. Так он станы забыл. А они станы забрали и принесли!

— Покази! Пуговицку дам!

— Запертые!

— Ты вресь! Разве у попа есть станы?

— Ну да, есть. Если бы не было, не забыл бы их у Приськи!

«Смотри,— думаю про себя.— Станы у попа есть. А зачем же тогда юбка?»

Ага!

Пригнал гусей домой

— Мама!

— А?

— Ага! Теперь я узе знаю! У попа станы есть. Он у Приськи забыл. А цто он юбку носит, так это, стоб от Приськи удирать, так стоб не видно было, сто он станы там забыл.

. . . . . .

Ну и били же меня!..

1921

Дорожные впечатления

Начнем по трафарету. Как начинает каждый порядочный «собственный корреспондент».

Разница лишь в том, что обычно «собственный» пишет свои дорожные впечатления недельки за две до отъезда, а я не успел, и вот приходится писать, прибыв уже на место «капитального ремонта».

Я, пожалуй, опущу, как я до вокзала ехал. Во-первых, это для вас не представляет большого интереса, а, во-вторых, я не ехал, а шел, зорко следя, чтоб по дороге кто-нибудь не хапнул с таратайки узла с вещами. Так что в это время ровно никаких впечатлений, кроме «узла», не было. А узел — он узел и есть.

Дальше пошли уже и «впечатления»...

Немалое впечатление на меня произвели два грозных вопроса дородной молодицы, стоявшей на ступеньках вагона с коромыслом в руках.

Первый вопрос: куда я пру, а второй: не повылазили ли у меня зенки.

Я галантно ответил, что «пру» я в вагон, и что глаза у меня пока еще на месте.

На все это резолюция молодицы была:

— Черти их тут носят!

Однако спасибо «чертям». Они внесли-таки меня в вагон, растолкав по дороге еще пяток молодиц, и усадили, скрюченным в четыре погибели, на собственный узел.

Пока пробил третий звонок, дыхание у меня ускорилось на 10, а пульс на 20—30 в минуту.

Я, зная из медицины, что в моем распоряжении для дыхания и для пульса остается еще единиц по десять, особенно не волновался...

Бам! Бам! Бам!

Дерг!

— Ох! (это я).

Меня отшвырнуло назад на чью-то талию и уложило затылком как раз туда, где у задней соседки талия переходит в «и так далее».

Там я и застыл...

А передняя соседка тут же шлепнулась на меня, на то место, где грудь переходит в «и так далее». Села, да еще (чтоб ей легонько икнулось) поёрзала — умащивалась.

Отсюда и «ох!».

«Прощай,— подумал,— Харьков!»

Пахло пòтом... Пахло молоком (коровьим)... Пахло... Да чем только не пахло?!

— Разные на свете запахи бывают! — говорил мне когда-то один хороший человечина, Кондрат, в свое время померший «от горилки».

И таки правду говорил.

Ведь и верно: «Разные на свете запахи бывают»...

Особенно в вагоне и особенно, когда журналист отдыхать едет.

Весенние запахи...

...Сидела «на груди моей», должно быть, середнячка. Куркульки [1] я наверняка не выдержал бы, а под незаможницей [2] было бы, надо полагать, легче.

Я тихонько стонал, нежно прижимаясь к талии задней соседки, меж тем как середнячка, сидя на моем животе, громко щелкала семечки.

А за окном рожь красовалась, пшеница наливалась, голубели васильки на полях, куковали кукушки в лесах...

А за окном серебряно звенели в солнечных лучах жаворонки...

---

[1] Куркулька — кулачка.

[2] Незаможница — беднячка.

А за окном:

...ширь без границ... и где, и кем
поставлены для солнц семестры
в лазурно-синем молоке?

Так это ж за окном!

А до окна (даже подумать страшно!) еще талий пятнадцать, пудов шестьдесят живого женского веса, не считая коромысел, кувшинов и кошелок!..

Эта моя «смычка с селом» длилась три пролета.

Все это время я вспоминал чьи-то мудрые слова:

«К крестьянству надо подходить умеючи, иначе вместо смычки черт знает что получится».

Истинная правда... Именно «подходить» и именно «умеючи».

А я «подлег» под крестьянство и, должен вам сказать, подлег очень неудобно и вовсе не умеючи.

Вот вместо «смычки» и получилось одно «ох!».

Через три пролета—последний «мазок» широким фундаментом по моему чреву, последнее «гуп», и вот уже мое, на этот раз счастливое и радостное, последнее «ох»...

С меня встали...

Взметнулись юбки...

Чьи-то стройные молодые ноги вдруг спрыгнули с верхней полки прямо на мою печенку.

Кто-то схватил меня за голову и с криком: «Гляди! А я думала — кринка!» — бросил.

Я зажмурился. И мне ясно представилось, будто я лежу в южноамериканских прериях, а надо мной вихрем шпарит табун напуганных тигром бизонов...

. . . . . .

Потом я уже и хлеба́ видел, и васильки для меня синели, покачивая нежными головками, и поля улыбались:

«Что, мол, проехался?!»

«Чего вы,— думаю,— смеетесь?! Ну, проехался! И что?! Вы улыбаетесь?.. А с вами разве не случалось? Разве не о вас поется:

Ой, поля, вы, поля,
Мать родная — земля...
Сколько крови и слез
По вас ветер разнес...

А у меня еще до крови не дошло... Да и слез незаметно... Так только... побаливало.

Мерефа... Езерская... Бирки...

В вагоне я да еще дедок один, что все время с меня глаз не сводит. Вижу, что хочет заговорить.

Наконец, отважился.

— Как вы думаете, без веры жить можно?

Я размышлял о своей печенке, об английском ультиматуме, о том, повысят ли в июле ставки.

— Можно! — буркнул в ответ.

Дедок отодвинулся и запел:

«Возбранный воеводе победительная...»

. . . . . .

Беспаловка!

Финиш, значит!..

А от Беспаловки — вы же знаете — и до Пасек уже недалеко. Как сойдете с поезда, так сразу налево вдоль колеи немножко, а потом вбок, наискось, по дороге на Гомѐльшу...

Гомельшу знаете?

Нет?

Неужто не знаете?! Это по пути к Пасекам! Меж нивами зелеными дорога протянулась. Идете, а справа — нивы и слева тоже нивы...

Если не знаете дороги, идите за подводой, что везет ваши вещи.

Так и дойдете.

Вот уже Пасеки видны...

Вот и школа...

— Тпррр!..

Приехали...

1923

Вот оно—село!

Село! И сердце отдыхает...

Т. Шевченко.

I

Ох, и харрашо же на селе!

Вот тут тебе вишня под окном, а рядом осина, а под осиной жито, а за житом тыквы, а за тыквой картошка, а за картошкой нужник...

Все вкупе, все растет, все красуется, все шелестит, и все пахнет...

Ох, и хорошо же на селе!

Знаете ли вы, что такое село? Не из тезисов, не из статистических ведомостей уездных продкомиссаров, не из донесений сельсоветов и волисполкомов—не официальное село, а просто себе село. Село — и только. Как в медицине говорят: perse[1] село. Так вот, это perse село вы знаете?

Ох, и хорошая штука село!..

Нет тут ни долготы, ни широты, меридианы разные его не касаются. А так, вышел на горбочек, и все вокруг как на ладони. Прямо напротив школа. За школой «расправа», а вот так — живет Сторчиха, а наискосок — кума Ульяна, а посередине — площадь, а на площади свиньи.

---

[1] В чистом виде *(лат.)*.

Солнце восходит на селе с востока, а заходит на западе. Когда надо обедать, оно взберется так, что: «Ой-ой-ой! А солнце уже высоконько!» И представьте себе, какое это солнце на селе послушное: никогда оно не взберется раньше или позже, а только тогда, когда надо обедать.

Живут на селе люди, называют себя украинцами. По правде говоря, население смешанное. Кроме 800 человек украинцев, есть еще одна дивчина, которую тут зовут: «Да она «руська»!» Приехала недавно из Саратовской губернии. Национальной розни не замечается: спит с местными парубками, спит мощно, убежденно и еженощно, и до того спит, что на том конце говорят: «Да что они там все сдурели, этак целехонькую ночь гоготать?..»

Плодится население не через инкубаторы. Результаты хорошие: у Мотри — Ивасик, у Оксаны — Гапочка, у Одарки — Митрофан. Это за неделю.

Туго с харчами.

— Коли, даст бог, уродит, у нас это дело веселей пойдет,— говорил мне дядько Онисько.— С грушевой муки не очень-то запляшешь. Одним словом, тяжеленько.

Веры население православной. В церковь ходят. Хотя уже очень заметно влияние последних церковных событий. Да и местные причины иной раз переворачивают вверх тормашками устоявшиеся, вековые и крепкие, как дуб, церковные традиции.

Вот, к примеру, религиозная трагедия: местного батюшку с земляники вспучило. Хотя ветры и отходят, но править службу тяжело, да и небезопасно. Беда да и только!

Есть и атеисты.

— Что ж, мол. Ну, вспучило батюшку. Что ж такого. Пускай матушка служит. Не все одно? Неужто ж батюшка, прожив столько с матушкой, да не передал ей своей святости.

— Так-то оно так. Да...

А с другой стороны:

— Вы бы, матушка, посоветовали своему батюшке: подались бы они к автокефалистам: автокефалистов пока с земляники еще не пучило.

Бурлит приход...

II

Впрочем, есть там одна штука, что чуть не заставила меня при въезде в село рявкнуть:

«Вставай, проклятьем заклейменный!..»

Как бы вы думали, что это за штука?

Арка!

Как раз против самой школы. Украшенная сосновыми ветками, с вот такусеньким красным флажком наверху...

— До чего ж попервоначалу кони пужались, так и не доведи царица небесная!— говорит Митро Федорович.

— А теперь?!

— Разве ж не видите? Идет, нечистая сила, и хоть бы тебе что! Попривыкали!.. Это на Первое мая такую отчубучили!

На шестом году революции Пасеки арку увидели!

Все-таки увидели. И теперь, когда беседуешь с кем-нибудь из пасечан, так и скачет у него и в глазах и в усах:

— Ай да мы!

Да, уж хвастаться, так хвастаться!

Есть у нас еще и «трибунал».

Везде, положим, этот «трибунал» просто трибуной называется, а у нас он «трибунал».

Но это ничего: нам можно!

По правде говоря, кто-то с этого «трибунала» помост свистнул и выдернул одну ногу, но три остальные ноги с гордостью свидетельствуют, что Первого мая на пасечанской площади «революция шла»...[1].

— Вредные хлопцы! Ну нет на них никакой управы!.. Да и то сказать, дерево отменное: на подсошник или на люшню!.. Ну и не удержались!

...Так что вы, братцы, с нами не шутите!

Почем вы знаете: может, мы в том году на Первое мая или на Октябрьскую революцию такой «трибунал» отгрохаем, что вы там в столице на Николаевской площади со своим просто:

---

[1] Из стихотворения П. Тычины «На майдане возле церкви революция идет...».

— Закройсь! «И никаких гвоздей!»[1].

А так тихо у нас.

Пашем. Сеем. Плодимся, как и все православные... Живем, одним словом...

Хотя тетка Сторчиха... (знаете, что через дорогу живет. У нее черные ворота и петух голошеий), так та тетка как ударит о полы обеими руками:

— Ей же богу, до Покрова не выдержу!

— Чего это вы, теточка, так?!

— Ой, Михайлович, не выдержу! Байстря зарежет!

— Чье?!

— Наше с дочкою!

— Так чье ж оно: ваше или дочкино?

— Ох, голубчик, и не знаю, и не скажу!!

Ишь ты...

— Не иначе как сглазили! И берегла ж, и приглядывала! Вы ж подумайте: семнадцатый годочек ей, вот как жито зацвело, пошел... И откуда оно взялося?! Ну никуда ж, никудашеньки со двора не ходила!

— «Само», может, теточка, во двор пришло?

— Это еще в Филипповки, вбежала в хату, как полоумная.

«Чего ты?» — спрашиваю.

«Что-то мне, говорит, мама, привиделось!»

А сама белая-белая... Вот с той поры и... А оно, гляжу... а оно... Ох, не выдержу, люди добрые, не выдержу!

— Ничего, теточка! Бабкой будете!

— Ох, не выдержу!

. . . . . .

Видите, как у нас?!

А у вас разве бывает, чтоб с перепугу дети рождались?!

. . . . . .

Да как же его не любить — село?

За тайны за эти! За неожиданности!

Разве его постигнешь? Разве его опишешь?

---

[1] Признаюсь: это выражение украдено из перевода одной пьесы. Догадайтесь, какую фразу так «перепер» переводчик.—*О. В.*

Вот лежу я на горбочке под вишней! А почем вы знаете, что под тем горбком?! Может, там такая, как говорится, «курская аномалия», что копни только — тебя самого торчком поставит... А может, нефть так ударит, что сам Керзон лапками кверху хлопнется!

Или поглядите: вон овражком, ухватив теленка за хвост, чей-то белоголовый в драных холщовых штанишках стрелою мчит...

Разве вы знаете, что из этого белоголового выйдет?

Может быть, это будущий редактор «Вістей»[1]?

А может, председатель «Плуга»[2]?

А не может разве быть так, что лет через двадцать пять — тридцать придете вы в «Червоний шлях»[3], а он в редакторском кресле сидит и рукописей ваших не принимает...

. . . . . .

За возможности необъятные любите село...

От него пойдет! Все от него пойдет!

Оно еще спит! Сладко спит, и на ниве ковыряясь и за теленком во весь дух мчась!

Разбудите его. Не так уж много для этого и нужно.

Вставьте только стекла в школе, да чтоб в шкафу, где теперь мыши бегают, чтоб в том шкафу книжки завелись!

Тогда из того голопузого, что со двора выскочил, наверно, Валерьян Полищук получится.

А из того, что на колодах подпер кулаком голову и на солнце глядит,— Павло Тычина будет.

1923

---

[1] Украинская газета, орган Советов депутатов трудящихся УССР.

[2] Литературное объединение украинских крестьянских писателей.

[3] Украинский журнал.

«Главполитпросвет»

В городе учреждение, что «Главполитпросветом» называется, огромные апартаменты занимает, с кабинетами, залами, с канцеляриями, с музкомами, теакомами и другими прочими «комами».

А на селе все это гораздо проще. Портативнее, так сказать.

Видите: вон через дорогу, под кумы Ульяны воротами, несколько колод лежит...

Это и есть наш «Главполитпросвет»...

«Работа» начинается так же, как и в городе: в 9—10 часов. Только там — утра, а тут — вечера.

Коллегии нет. Каждый сам себе «коллегия».

Тезисов не пишут...

Вместо тезисов гармошка...

А с этим тезисом все идет, как по писаному.

За председателя — Андрей.

Кто такой Андрей, хотите знать?

— Ну и сукин же сын! — так характеризует его Ульяна.— Земля под ним, анафемой, ходуном ходит! Как молвит, как примолвит, как топнет да как ухватит мою Химку на «польку», так ну что твой вихрь! Шельма-хлопец!

...Работает «Главполитпросвет» регулярно каждый вечер.

Как только начнет это темнеть, вы слышите из лесочка за Ульяниным огородом:

— А-чххи! Чернявая!

Это председатель «Главполитпросвета» на «занятия» пожаловал!

А там, глядишь, кто по улице, кто через тын, являются и постоянные посетители нашего культурно-просветительного учреждения.

И начинается...

Начинается работа всегда с «польки».

Продолжается «полькой».

Конец — все та же «полька».

«Метелицы» или там еще чего, что мы в свое время отплясывали, нету...

«Полька»!

Каких только коленец «музком» не выкомаривает!

И так... и сяк... и этак...

А Андрей!! Андрей!!

Он и боком, он и задом, и согнется, и разогнется, и присядет, и подскочит...

Э-е-е-е-е-х!

— Поверите,— рассказывает Ульяна,— под пятьдесят уже мне, а, ей же богу, иной раз сижу у окна, и разбирает меня! Ну, что шилом кто, поверите, подкалывает! Старик, случается, даже прикрикнет:

— Ты б,— говорит,— старая корчага, лучше святую евангелию почитала!

— А мне не удержаться! Ну, толкает меня, кидает меня, не в хате будь сказано!

...Да где там устоять!

И вы бы, ей-богу, не устояли!

Уж я, кажется, всякого повидал, а сидишь это на крылечке да за перила так и держишься!

Ноги как-то сами собой: дрыг, дрыг, дрыг! И хватаешься то за левую, то за правую.

А тут еще если молодой месяц, оседлав Большую Медведицу, на Млечный Путь выкатит, да еще если черт под самое крыльцо соловушку принесет — ну, нет тебе спасения, и все!

Иногда гармошка затихает...

Тишина, тишина...

Но вот прорезало эту тишину звонкое «ляп».

Верещит не то Химка, не то Марина...

И в голосе том и боль, и счастье, и протест, и поощрение!

Одним словом:

И хочу! И не хочу! Не разберешь!

Это Андрей в «эмансипацию» сунулся [1].

Минута... и хохот!

Звонкий, раскатистый хохот неистово обрушился через перелесок в яр. Колесом докатился до дубовой рощи, что во-он на той стороне, за пшеницей, и несется назад по пшенице перепелом...

...Музыкальное отделение кончилось...

Следующее — вокальное!

Запевает Тимоха:

Как была я молода,
Так была я резва...

. . . . . .

Тут уж мои соседи решительно уходят в хату и затворяют дверь...

Высоким фальцетом кончает Тимоха последний куплет...

И снова хохот...

И снова «ляп»...

И так до часа, до двух, а то и позднее...

Напоследок еще буйный взрыв «польки» и вихрь из юбок и сапог.

Заключительный аккорд. И «Главполитпросвет» идет спать... Уходят парами...

1923

---

[1] К читателям. Я фиксирую, разумеется, то, что сам вижу на селе. Мне было бы очень неприятно, если бы кто-нибудь подумал, что я в данном случае разрешаю себе порнографию. Приводя разные выражения (чаще оригинальные, а иногда комбинированные), я хочу показать, какое значение (по большей части шутливое, а иногда и серьезное) приобрели на селе новые слова.—*О. В.*

«Женотдел»

Коли глянете, бывало, на наше село,— разведете руками:

Ну, чисто тебе «женотдел»...

Видите? Вон Сторчиха за воротами кого-то честит.

Кого?

Спросите ее, она и сама не знает... Такая уж у нее профессия...

Просыпается с «холера б...» и ложится с «а, сто чертей...».

Вон кума Тетяна лупит Миколку за то, что шапку, стервец, потерял.

Вон Наталка Василину веником учит:

— Слушайся, сукина дочка, матери! Слушайся!

Вон Домаха... Вон Параска... Вон Устя... Вон Горпина...

Вон... вон... вон...

Нет, лучше перечитайте святцы: там всех найдете...

И это ж только на улице. А ведь еще по огородам, по хлебам, по садам, по клуням...

Дед Глушко, тот прямо говорит:

— Бабы этой у нас, ну, что жука-кузьки!

Заправилой у них здесь — Ульяна.

Она главный организатор, вожак и советчик.

Заседания «женотдела» проводятся в воскресенье днем на тех же колодах, где вечером работает «клуб»...

Повестка?

Эх, голубочки мои! Если б вы там, в столице, за каких-нибудь четыре-пять часов могли разрешить столько вопросов, сколько наш «женотдел» разрешает, я с

чувством величайшего уважения преподнес бы вам свою суковатую грушевую палку, которой я в лесу гадюк бью!

Начинается (не так, как у вас!) с «текущих дел»!

— ...Водили вы уже свою Муру к бугаю?

— ...И что-то я, голубонька, примечаю, молока у моей становится меньше! Как бы, упаси господи, не ведьма!

— ...И не говорите, матинка, чур ему, чур! На той неделе, в Свинарном, входит Чòпиха, уже под вечер, в хлев... А тут из-под коровы — шмыг!

— ...А слышали, у Сторчихи — дочка? Я ей говорила: «За своими, шалава, смотри!» А теперь, к петрову дню: «Нате вам, мама, внука!»

...А та! Щербатая! «Чхать,— говорит,— я на вас хочу!» Ишь, какая! Только мужик со двора, так что твой ероплан через плетень в сад к Петрову Гнату!.. «Чхать!..» Матери своей в пасхальный очипок чхай, сукина дочка!..

Затем следует самый главный и самый жгучий вопрос.

Вопрос исключительно женской компетенции. Религия.

Тут уж «дискуссия» на высоких тонах, с позами, с жестами, подбоченясь...

Здесь идет турнир баптистов, адвентистов и православных.

Преобладают баптисты.

«Православие» молчит.

Если кто и сунется:

— А все-таки церква, она не то, что ваши чтения да пения под поветью!

— «Церква»?! «Под поветью»?! Поп, должно, подморгнул?

(Местный «батюшка» очень слаб насчет «адамовых ребрышек» и чуть не каждую неделю за эту слабость расплачивается собственными святыми ребрами...)

Религиозные дискуссии редко кончаются без пострадавших за «веру христову».

Больше всего «мук святых» достается очипкам...

. . . . . .

Как я уже отмечал, главный успех имеют баптисты. Хотя и такую солидную «религию», как баптистская,

иной раз побивает самая обыкновенная глиняная кринка.

Оришка уже совсем было к баптистам пристала. Уже с месяц и на моленья их ходила, и церковь забросила, и ругаться перестала.

И надо ж было ей одолжить Христе свою глиняную (ну, совсем новенькую!) кринку. А та разбила!

— Так вот ты какая, сякая-такая, святая да божья? Живой на небо прешься! А кринку раскокала и: «Сестрица, не бранись!» Не бранись? А купит мне такую кринку бог твой баптицкий? Глаза под лоб закатила и уже Варвара, думаешь, великомученица?! Берешь, срамница, кринку, не бей, голова б у тебя треснула!

И в первое же воскресенье пошла в церковь. Еще и на частицу подала...

Гром среди ясного неба!

В воскресенье сход!

Председатель сельсовета объявляет:

— Жена имеет такие же права, как муж! Если какой-нибудь станет бить или ругать, каждая имеет право привести его на суд. Здесь мы знаем, что с ним сделать! Выбирайте делегаток!

«Владыки» улыбаются:

— Будет, положим, моя кухарить, как до сих пор кухарила!

А дед Глушко пыхнул люлькой, сплюнул и:

— Это и мою в делегатки? Не будет толку!

. . . . . .

Но и у бабы Глушихи и у той, что «будет кухарить, как кухарила», где-то глубоко-глубоко, на са-а-амом донышке, в глазах огоньки загорелись...

1923

«Село—книга»

Сказать, что на селе нет печатного слова, нельзя.

Такое «слово» на селе есть. И его немало.

Если взять хозяев с достатком, у которых и в 1921 году кое-что уродилось, то у каждого из них можно найти целый ассортимент печатного слова издания 1921 и 1922 годов...

Издания этих лет всего больше.

Печатного слова времен дореволюционных, времен Центральной рады, гетманщины уже поменьше. Но кое-что есть.

Лежит это печатное слово чаще всего на чердаке, в тайничках, в мешочках.

Кое-кто запихал его в бутылки, засмолил и закопал в землю.

Читают это слово печатное очень редко.

Случается, долгим зимним вечером вытащит Кондрат Степанович торбочку [1] или сундучок, откроет, вывалит на стол то слово печатное, почешет затылок и покачает головой:

— На какого дьявола я все это собирал? Ну и дурак! Вот дурак!

— А не говорила я тебе?

— Говорила! «Говорила, да не вразумила»!

— Вот и любуйся!

— Ни тебе закурить, ни тебе хоть что-нибудь! Ну, куда ты его?

И снова засовывает в торбочку или в сундучок и взгромождает на чердак до следующей «перетруски».

Издания 1923 года мало.

— Не хватает! Да и где его набраться, когда супонь — полсотни! Дела!

И вот теперь, когда вспомнишь, сколько этого «печатного слова» брошено было в деревню в 20, 21 и 22-м годах, просто диву даешься, как это до сих пор не ликвидирована на селе неграмотность.

Правду говорит пословица: «Век живи — век учись».

Что̀ бы вместо разных рисуночков да «водяных знаков» на этом «слове» напечатать азбуку и букварь.

На все бы учебники хватило.

На «лимонах» — азбука.

На «пятилимонах» — букварь.

На «десятилимонах» — другой учебник.

И т. д., и т. д.

Вот теперь в долгий зимний вечер и было бы что почитать Кондрату Степановичу, торбочку или сундучок перетряхивая. А так Кондрат Степанович нервничает, потому что:

— Ни к чему оно мне!

Путной книги, что и говорить, на селе нехватка.

— Нет ли там у вас какой газетки или книжки? А то глядите, до чего докурился!

Читаю: «Царь бо царствующих и господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

— Видите, до чего дошло? Царь царствующих пришел снедать с верными, а я из него цигарку! Грех да и только!

— Поверите, «богородицу» еще до пасхи скурил! До чего ж бамага добренная: тоненькая да выдержанная! Кинулась на троицу Килина «богородицу» искать, чтоб Ванько ей про вспение прочитал, а я и корочки на чердак забросил. Туда она и сюда она, шарила и за

иконой и за дежкой [1]... А я сидю под яблоней: «Ищи,— думаю,— ищи! На небе уже твоя богородица! С дымом, пусть бог простит!»

— А ведь оно на том свете так даром не пройдет. Как посадят на сковороду да этой самой «богородицей» и начнут поджаривать.

— А что поделаешь? Ее ж, бамаги этой, не накупишься! Да что уж про меня говорить? Я не из больно праведных... Вон дед Оверко и в петровку и в спасовку каждый год говеет, а и тот не удержался. «Деяния» докуривает... Сядет на завалинке, развернет: «И бысть внезапу с небесе шум, яко носиму дыханию бурну и исполни весь дом, идеже бяху седяще».

Слова-то какие!

А он утрет слезу:

— Прости меня, господи, грешного!

Др-р-р-р!

— Уже последний листочек только... А что дальше делать будем, так и не знаю. На все село один-единый часослов у Панаса остался... Еще его покойный дед в Алексеевке на ярмарке купил! Да и от того кто-то титул отодрал...

— Так коли случится какая газетка, дайте, спасибо вам!

Дал! Дал и со своей «усмешкой». Не страдать же человеку!

Так вот, как видите, на селе с «путными» книгами тяжко. Нету!

Пощекочите, пожалуйста, правление «Село — книга».

Село думает, что за два года уже можно успеть все места перечесать.

Даже те, что никогда не чесались...

Тут у нас слух пошел, что «Село — книга» в Москве изрядную партию книг закупила, тех, что там не идут...

У нас они пойдут...

---

[1] Дежка — бочка.

Ежели они на русском языке, да еще с такими словами, как «апперцепция», «конъюгация», «девальвация», «пертурбация», «сигнализация» и «акация», то тут их вмиг расхватают...

Такие «козьи ножки» свернут, как у завторготдела «Село — книга» правая нога!

Так ждем!

Сколько ей, этой «Село — книге», надо времени, чтоб до села книжку довезти?

Два года, как видим, мало. Ну, подождем еще два... А тогда сами станем писать, сами и печатать.

Ведь сказал же на днях Ивашко:

— Сто за церт: урок тебе зададут, а сто ты его, из батькова картуза выуцись? Ей-бо, сам себе книзку напису!..

Так-то!

1923

«Профобр»

Рано начинается на селе профессиональное образование.

Тогда оно начинается, когда Ванько̀ или Одарочка уже «отлучены» и когда рубашонка Ванька́ или Одарочки подымается выше того места, о котором вы сейчас как раз думаете, и завязывается узлом на спине.

— Чтоб не замарало. А то оно у меня, простите, на затычку слабовато...

Ванько (или Одарочка) в эту пору своей жизни трудовой уже крепко держится за родительскую юбку, и только от него и слышишь:

— Мама! Мо̀ни!

— Да не мамкай ты у меня над душой! На вот тебе прутик: гони гусей за ворота! Он у меня хороший мальчик! Гони, гони! Мама на базар поедет, гостинца купит!.. Вот так! Так их! Гиля,— кричи,— гиля! Вот так! Вот цаца, Ванько! Вот цаца! А Меланя — кака! Она маму не слушает... Гони! Гони!

Это первые, самые ранние шаги на пути профессионального просвещения будущего гражданина Украинской Социалистической Республики, может быть, будущего члена Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета, а возможно, будущего писателя.

«Гуси» — это первый и непременный этап профессионального образования, воспетый поэтами:

Когда пас я мальчонкой гусят,
Солнце мне улыбалось любовно...[1].

(А. Панов.)

[1] Цитирую по памяти. За точность не ручаюсь.— *О. В.*

Программа профессионального образования у нас на селе сложилась, с одной стороны, на основе извечных традиций, с другой — на основе требований жизни.

Наробразом служат у нас наши выгоны, наши рощи, яры, балки, наши «поля необозримые», наше солнце золотое и наше «лазурное молоко»...

Их инструкциями мы руководствуемся, по их указаниям мы действуем.

Само собой, как и при всяком обучении, немалую, а может, и важнейшую роль играет возраст ученика.

Так, значит, первая ступень — это гуси...

Пасти гусей, уследить, чтоб к чужой копне не подобрались, пригнать домой всех до одного — это программа нашего «техникума» 1-ой, можно сказать, ступени, первой группы.

Если вы этого зачета не сдадите, если у вас отберут где-нибудь на чужой стерне или в чужом просе картуз или же вы, практикуясь в бросании камешков в цель, попадете гусю в голову и пригоните домой вместо одиннадцати десять, не говоря о том, что об вас будет истрепан новехонький веник, вы никогда не перейдете в следующую группу...

Следующая группа — свиньи.

Сами вы, конечно, понимаете, что дело это уже куда серьезнее, чем гуси.

Свинью вам уже в одной рубашонке пасти невозможно. Тут уж обязательно нужны штаны и вместо прута палка...

Это дело поручается гражданину не моложе шести лет. Раньше — ни-ни. Потому что здесь уже нужна определенная профессиональная квалификация, а главное, солидность.

Сказать:

— А-ля! Чтоб она тебе сдохла!

Это не то что невинное и наивное:

— Гиля-гиля!

Тут уж надо, чтоб свинья чувствовала, что над ней есть верховное начало, суровое, непреклонное и властное...

Надо вовремя и умеючи огреть ее палкой, надо не спеша и не нервничая, а с сознанием собственного досто-

инства, так, как бы между прочим, раскатить по выгону басом:

— А куда ж это ты пошла? Скажи, а?! Куда ря-я-я-ба-я?!

А потом степенно добавить:

— Сибирки на тебя нет!

«Властителем» над свиньями гражданин бывает до 10—11 лет.

Затем иерархическая лестница профессионального образования такова:

Телята
Овцы
Коровы
Лошади...

После перехода в «телячью» группу уже разрешается стащить у отца бумаги и закрутить цигарку из конского кизяка или попросить у прохожего (не из своего села):

— Дядя, закурить нету?

— Нет!

— Так дайте хоть спичку!

В эту пору (зимой) начинается и общее образование в местной школе...

Дойдя до «лошадей», уже можно вечером, пригнав коней домой, убежать на часок и на колоды в «Главполитпросвет»...

Если мать и заведет:

— Уже, каторжник, в хате ему смердит! Уже на улицу?

Можно ей ответить:

— Да?!.

А если заведет отец, лучше молчать... Потому что у отца аргументы куда более веские:

— Ты не того! Не очень-то! Уже сапоги «бутылками» прилаживаешь? Еще чего! Растреплю на сукином сыне чистик [1] в щепу!

Можно только иногда сказать (да и то потихоньку):

— Да разве я?!.

«Лошадьми» заканчивается образование в «профтехникуме» первой ступени.

---

[1] **Чистик** — палочка с наконечником для очистки плуга от земли.

К этому можно лишь добавить, что одновременно идет образование и в другой области.

Попутно с «коровами» ученик обучается еще и специальности погоныча.

Образование в «техникуме» первой ступени получают как мальчики, так равно и девочки.

Есть, конечно, вариации, но они особого значения не имеют.

Во второй ступени функции хлопцев и девчат уже резко размежевываются.

Хлопец идет в пахари и косари, а дивчина — в полольщицы и вязальщицы...

Заканчивается «профобр» обычно стереотипным заявлением матери:

— Женить уже оболтуса пора!

Или:

— Да моя уже на возрасте. Кума говорила, что в Запа́дне Иванов Максим словцо закидывал. Надо быть, в мясоед и окрутим! Пора!

Finis «профобру»...

. . . . . .

А там уж...

А там уж... дело не наше!

1923

На Гомельшу!

Как из калитки выйдешь, вот так, направо, промеж хаток дорога протянулась. Это на Гомѐльшу. А Гомѐльша — село на высокой-высокой горе, и вокруг леса, леса, леса... Когда-то там, говорят, крепость стояла, и гора будто руками невольников насыпана...

Хотите, пройдемся?

Только, прошу прощения: хоть у меня и есть «корреспондентский» билет, но я не из тех, что:

«Наше авто, словно чем-то недовольное, с сердитым рокотом и стоном выскочило на горку... А за горкой село... А за селом речка серебром блеснула... А в селе, как увидели наше авто, так и стар, и мал, и гусята, и поросята, и телята, и цыплята — все как есть высыпали на улицу... Шапками машут! Пономарь в колокола звонит! Коровы ревут! Столетний дед упал на колени и воздел руки к небу!»

Одним словом, «собственного корреспондента» встречают!

Так вот, говорю, я не из таких «собственных». У меня «авто» свое... Даже два их у меня, если хотите! И никакая чертова душа меня не встречает. Разве что Пилипов Лапко выскочит, специально чтоб оставить вашего «собственного» без последних штанов...

А коли вас завидки берут на тех «собственных», что авто своим православных по селам пугают, так есть выход: понюхайте зажигалку, чтоб и вам бензином воняло и прогудите по-автячьи разика два.

Тогда, может, и в самом деле Килина на вас через тын поглядит, а потом обернется к Степану и покрутит пальцем у лба:

«Чердак, мол, у этого «панка» не в порядке! Гудит!»

Ну, идемте!

Только палку не забудьте взять... А то шутки шутками, а Лапко и впрямь штаны порвет, он такой!

Ну, так (пусть уж будет по-модному) «выскочили» вы за село...

Вот, братцы, картина!

Черт его знает, как это можно так складно все эти овражки, буераки, вырубки, рощицы и леса расположить?!

Слева у вас яр! Глубокий-глубокий яр, зелеными рушниками устланный. По тем рушникам низкий кустарник узорами стелется!

А вот так, прямо,— большой лес... Там вурдалак живет. Микола сам его видел... Рыжий такой и, как заметил Миколу, мекнул да в лес... Только шорох пошел...

А справа от леса — на вырубке — молодая поросль, дубки густые шелестят, ясеньки поскрипывают... И пахнет-пахнет! И клубникой, и земляникой, и чабрецом, и душицею...

А дорога упала промеж леса и вырубки, упала и покатилась вниз, туда, туда, где орешник толпой, как на митинге, руками-ветками голосует...

Что, если б на то место, где я стою, да поставить какого-нибудь поэта?! Да он бы вам таких «образов» настрогал, левый глаз прищурив, что не приведи господи!

Потому что-таки красиво!

— Ну до того ж у нас за селом ладно,— сказала мне вчера Христя...

И правда ладно!

. . . . . .

— Что так смотрите? Может, козу дикую увидели? Они у нас тут есть! Здравствуйте!

— Да так, задумался! Доброго здоровья!

— На Гомѐльшу?

— Туда.

— Идем вместе... веселей будет!

— Идем!

. . . . . .

Дошли до орешника... Гущина — взглядом не пробьешь... Аллея зеленая и затишная!

— Ну и хорошо же здесь! Смотрите, словно живая зеленая стена!..

— Неплохо! Чаща какая! Прошлый год тут один поляк, беженец, детей своих и жену топором зарубил! Местечко, что и говорить, примечательное... Хорошее место! Год ищи, черта лысого найдешь...

Дальше — дубняк молодой. Непрочищенный, с орешником переплетается... Шумит, шумит...

— Эх и лесок! Лет через двадцать — тридцать какие богатыри будут! Хоть корабли строй!

— Подходящий лесок! Два месяца назад гомельшанского мужика с перерезанным горлом нашли! И лошади пропали и подвода! На железном ходу! С мельницы муку вез... За таких лошадей теперь миллиардов пятьдесят отдай! Да и то еще купишь ли! Хороший лесок! Важнецкое дерево!

— А хлеба, хлеба! Ишь как волнами перекатываются... Прямо хоть броненосец пускай! Скоро-скоро уже косы зазвенят! Смотрите, как славно, когда под лесом нива! Тени какие! Цвета!

— Да что тут говорить?! Залюбуешься! Здесь всегда хлеба хорошие... Земля тучная. Это на раскорчевках, когда-то леса большие стояли!.. Земля тут добрая. В этом году еще дождей у нас маловато, а в хорошее дождливое лето, так хлеба до ветвей добираются... Да густые-густые, что камыш... Ступил шаг, и никто тебя не найдет... Прошлый год как косили, так на два тела наткнулись зарубленных... Когда б не жнива, вековать бы им там! Где ж в такой гущине их углядеть?.. Добрая земля, добрые места... красивые места!..

Дальше молодая поросль...

— Ох и земляники! Глядите, дядько... Вон! Вон! Вон! Все усыпано... Вот, верно, бабам работы! А почему не видно никого?.. Не собирают, что ли?!

— Да-а-а! Ягод, ягод! Как травы! Почему не собирают? Собирают! Да вот на прошлой неделе пошли из Гомельши по ягоды, так к вечеру прибежали голехоньки. Что смеху было?! И сорочки поотбирали!.. Раздели в ле-

су. А ягод у нас очень много... и хорошие ягоды! Эх, и места тут у нас! Благословенные места!

. . . . . .

Вот и Гомѐльша!

Высокая-высокая гора, за ней шпили церковные торчат...

Подымаемся...

Думается:

«Чьи руки эту гору сложили? Сколько их было? Немало видела она слез, плетей, крови! А теперь свободные гомельшане на свободной земле... И даже с такой высокой горы нигде ни единого пана не углядишь... Сколько глаз хватает — все наше!»

. . . . . .

Под вечер назад!

Лес, вырубки, хлеба, орешник...

Попутчик на Пасеки...

— Что это вы так крепко нажимаете? Краса какая! Глядите, дорога, как в пасть какого-то черного зверя, скатилась... Садитесь, отдохнем!

— Нет, дядечка, давайте лучше поскорее домой... Красивые места... Благословенные места...

— Да не бегите так! Боитесь, что ли?!

— Это кто боится?! И чего бы мне бояться?! Спешу, очень спешу! Ждут меня.

. . . . . .

Хоть бы орешник проскочить!

P. S. Банды, которые бесчинствовали в этих местах, теперь уже уничтожены...

1923

В хвосте сила

Жарит...

До того жарит, что дед Панас, тот, что ни за что в жизни без шапки за ворота не выйдет, стоит сегодня за воротами, рукой глаза заслонив, без шапки и кличет:

— А-ця-ця-ця-ця-цю!

Куры на погребице. Гуси в холодке, под «потребиловкой» (уже четыре года запертая стоит!), а Иванов стригунок, рыженький, что:

— Ну и конь будет! Во, брат, конь! Да и не удивительно: с заводским случал — вот оно и жеребец как жеребец!

Так тот стригунок стоит на выгоне, солнечными копьями пронзенный, да головкою только:

Так-так! Так-так!

«На все, мол, согласен».

Выскочишь из хаты (выскочишь, само собой, в таком виде, как только на селе это можно себе позволить), да и то, в чем выскочишь, хочется с себя содрать... Дерешь шкуру и ругаешься, что грудь у тебя не на пуговках. Расстегнул бы этак все сразу, распахнулся, чтобы дунуло туда и выдуло из тебя эти сорок градусов реомюровых.

К одиннадцати время идет...

В воздухе камертоны золотые:

Дз-з-з! Дз-з-з! Дз-з-з!

Медовые камертоны, что на спаса бабе Мелашке коржи подсластят, а на «страсть» свечку слепят.

Будет трещать и плакать перед «всех свербящих радости» та свечка желтая, старческими бабы Мелашки руками скатанная, а баба Мелашка будет стоять на коленях, бить поклоны:

— Покрой нас, заступница, честным твоим семафором...

И прольет слезу баба Мелашка, моля у «заступницы» «семафора» на свою седую голову, преклоненную, ибо отколь знать бабе Мелашке, «семафор» ли у «заступницы», а «омофор» на железной дороге, или «омофор» у «заступницы», а «семафор» на железной дороге...

Камертонам медвяным нет до того дела:

Дз-з-з! Дз-з-з! Дз-з-з!

Они трудятся...

В лес! Под грушу, под дуб, под орешник!.. Под черта, под дьявола... Под что угодно, а то жарит!.. А то сверлом раскаленным голову тебе просверлит насквозь огненный глаз, что проткнул голубую перину меж двух пуховых облачков-подушечек!

. . . . . .

...В лесу... Фу! Словно веером опахнуло...

Лежишь, и ни до чего тебе дела нет...

Убьет ли Пилсудский Шептицкого в их поединке или Шептицкий Пилсудскому черепную расколет коробку... Только иногда мыслишка в голове, как кирпич, тяжело повернется: «А лучше, чтоб этот того, а тот этого... Обоюдно».

...Жарит...

— Тпр-р-р!.. Куда, Рябая?! Да куда ж это ты, Рябая? Скажи, а?! Тпр-р-р! Тпр-р-р! Да чтоб ты ж ему сдохла! Тпр-р-р!

В лесу содом... Трещит орешник, летят сухие ветки... Какая-то бешеная лавина мчится лесом к опушке...

И в этом шуме, в этой буре треска и топота, то и дело взрывается зло, встревоженно, со слезами:

— Куда, Манька?

— Куда, Мура?!

— Куда, Рыжая?!

— А подохла б она тебе?!

— Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!

А лавина несется...

Вот выскочила Мура на опушку... Глаза дикие, красные... Вся дрожит... Стала...

Хвост автомобильной шиной...

— Пр-р-р, Мура!

...Что раскаленным железом жигануло!..

Мячиком пляшет на месте, подскакивает, как молодая серна, яростно вскидывает задними ногами, хвост свернулся еще круче...

М-м-му!

И стрелою в яр!..

Берет барьер, как премированный скакун, и катит рожью, просом, огурцами к колодцу...

За ней «колбасой» лупит Кондратов третьяк полóвый...

Он идет как-то с вывертом. Голова набок, передними ногами загребает так, словно хочет схватить что-то впереди, прижать к себе, стиснуть и переть дальше... У него «м-м-м-у» мужественное, злобное и угрожающее... Хвост обручем...

На миг останавливается перед огорожей-барьером... Вдруг с силой бьет левой задней, и уже только «обруч» его мелькает среди колосьев...

Мура осталась далеко позади...

...Минута... И развернутой колонной вихрем шпарит все стадо...

Молодняк идет шаля, «с коленцами»...

Солидная Чернуха, которая «вот уж восьмую весну все бычков да бычков», трусит в арьергарде, как «комическая старуха» за балетом в веселой оперетке...

...Огорожи нет. Торчат только колья...

И плачет, распрямляясь, рожь, плачет просо, плачут огурцы...

А по лесу, приближаясь к опушке, бежит, спотыкаясь:

— Тпр-р-р! Тпр-р-р! Тпр-р-р!

— Не уберег, охламон?! Не уберег?!

— А что я сделаю, когда они чисто сказились!

— Сказились?! Как на улицу, так на цепи не удержишь, а скот, так в жите?!

— Сами попробуйте! Завернет хвост, да и подался! Что я его, за хвост весь день держать буду?

— И держи! Видишь, что задирает, возьми и «отдери»!

Хлясь! Хлясь! Хлясь!

— Я больше не буду! Ей-бо, не буду!..

А Онисько:

— Вот же нечистая сила! Отрубишь ему хвост — мух нечем отгонять... Оставишь ему хвост — бесится...

. . . . . .

Положение безвыходное.

1923

Мед

— Мед — штука сладкая...

Это старейший у нас пасечник дед Глушко говорит. Сидим на пасеке, трубками попыхиваем, пчелками любуемся...

А они дождем золотым на солнце к летку падают. И гудят, гудят, гудят...

— Гудёт! Медок несет!

— Хорошая, дедусь, насекомая! Маленькая такая, проворная... А гляди, будет с чем зимой коржи есть!

— Тваринка двиствительно бедовая! Ишь, как гудёт!.. Да-а-а! Загудел это и я как-то!.. Во, брат, загудел! Думал, амба мне! Конец, думал, старому Глушко!

— А вы чего «загудели»? По-пчелиному, что ли?

— По-пчелиному... Как грохнулся, так думал, что черепков старуха не соберет... А все язык наш поганый! Не удержишься, скажешь, согрешишь, вот оно тебя и кинет!.. С пчелами надо по-хорошему... Божья она тварь и порядок любит...

— А что случилось, дед?

— Случилось... Такое случилось, что по сю пору в три погибели согнувшись хожу... Рой снимал... Только это пообедали, вышел в сад, гляжу, летит... Я колоду, лестницу и жду, где сядет... Сел, видите, вон на тот берестоk... Хоть оно и высоконько, а чтоб неудобно— сказать нельзя! Лестница достает, и колоду подставить можно так, что стряхнешь — и все. Мой, думаю, будет! Поставил лестницу, полез... И колоду в самый раз пристроил... Только наладился стряхнуть — оно, бисова тварь, прости господи: дзз! и в самый нос — раз!

Да так больно, как никогда.

Отмахнулся! Только слезы: кап! кап! кап! Чувствую, разносит мой нос! Как на рысаке несет!

Тряхнул еще....

А их штук десять в лоб как ужарят!

— Черти б вас!..

Только это промолвил «черти», как:

Трах!

(А колоду с роем держу!)

Трах!— да как поперло, как поперло, так ей-богу, прости господи, саженей с пять, ноги кверху, головой вниз, летел, что ястреб. А потом, как шваркнуло, я аж крякнул.

Шваркнуло да еще и колоду на голову надело! Они как жиганут меня со всех сторон, еле из колоды выдрался да так драпанул, что к борову в хлев угодил...

Упал и стону!

Выволокла старуха из хлева, насилу опамятовался! Чуть богу душу не отдал. Такого мне меду дали!

Вот как бывает!

«А ты не чертыхайся, ежели с пчелами возжаешься»,— говорит старуха.

Оно и правда. Я уже сам приметил: коли на пасеке черта помянул, удирай лучше. Особливо когда за роем лезешь.

Черт, знаете, да еще при трухлявой лестнице, всегда вам такую холеру отмочит...

А мед... мед, что и говорить, штука сладкая.

1923

Как я рыбу ловил

Ну и утро! Не утро, а стихи!

Вверху — небо. Внизу — земля. А впереди — пруд... Знаете ли вы, что такое пруд?

Это такая большая-пребольшая в земле глубокая тарелка, а в ней не «Supe a-la pejsann» (как в меню «Ренессанса» пишут), а вода.

А в воде — рыба, раки...

Предо мной, как удильщиком, задание: поймать эту рыбу, а если случится, то и рака.

Это во-первых.

Во-вторых, получить от этого всего: 1) удовольствие, 2) отдых душе моей истерзанной и 3) уху из свежей рыбы...

Для этого я с собой взял:

а) обязательное постановление Харьковского губисполкома за № 118 (правила ловли рыбы);

б) сантиметр;

в) циркуль;

г) зонтик (солнце);

д) кошелку с пятком таранок, бутылкой перцовки (довоенного качества), два фунта хлеба и пр.;

е) удостоверение личности;

ж) учетную карточку;

з) удочку;

и) жену.

Все, значит, что полагается.

Закинул...

— Клюет, дядя?

— Проходи! Проходи! В свое время клюнет!

Ушел... И издалека уже, на мотив «гречаников»:

Удит, дядя, удит,
Чем ужинать будет?..

«Смейся, думаю, смейся!»

Первые два с половиной часа стоически смотрел в пруд и думал: «Представить себе только: кислород с водородом, какое-то там H_2O, а сколько рыбы...».

А я, можно сказать, человек, homo, и хоть бы паршивенькая тюлька.

Как вдруг: прыг-прыг-прыг! Поплавок!

Дерг!

— Есть!! Ага! Лови, жена, лови-лови-лови! Держи! Поймала?

— Вот!

— Карасик? Давай сантиметр. Давай циркуль! Давай обязательное постановление губисполкома. Там как сказано? «Карась не меньше чем в три вершка. Мерить от середины глаза до заднепроходного плавника»... Хорошо! Ищи глаз!

— Есть!

— Ищи середину глаза! Нашла? Клади сантиметр... Та-а-ак-с! Держи!.. Ищи заднепроходный плавник!

— Я не знаю где!

— Ищи сзади! Раз заднепроходный, значит, сзади. В проходе! Нашла?!

— Да нет его!

— Зоологию забыла? Чему вас только в гимназиях учили? Давай сюда!

— Ай! Уже!

— Что уже?

— Выскользнул! В воду! Вон-вон-вон! По-о-плыл!

— Вот тоже! А еще на курсах была! И в Вукоопспилке[1] служила! Паршивой рыбки удержать не можешь!..

Прыг-прыг-прыг! Поплавок.

— «Прочая рыба»?! Сколько там для «прочей» отмерено?

---

[1] Вукоопспилка — Всеукраинский союз обществ потребительской кооперации.

— Три вершка!

— Давай сантиметр! Глаз есть! Поворачивайся, «прочая». Где тут у тебя «плавник заднепроходный»? Нету! Смотри: плавника нет! Щука отъела! Как же теперь?

— А я не знаю!

— Выпущу! Иди обратно в пруд! Плавают тут без «заднепроходных». А потом отвечай!

— О-о-о! Рачок! Иди, иди, иди! Ну смотри, как там раки? Откуда их мерить?

— Два вершка! От конца головы до конца хвоста!

— Давай сантиметр! Начнем с головы.

— Да это ж ты с хвоста начинаешь!

— Как с хвоста?! Это же «шейка»! А на шее и голова!

— Да это хвост, а не шея. Сам ничего не знаешь, а ругаешься!

— Не все ли тебе равно — от хвоста к голове будем мерить или от головы к хвосту?

— Ну?!

— Вершок и семь восьмых. Иди к черту! Плыви! Не мог на паршивенькую восьмушку вырасти?! А тоже лезет! Идем домой!

Ужинал дядя не «чем», а таранью.

1923

Когда сельских клубов еще не было

Тому лет этак...

Да что там лет?!

Молодые, словом, были! Зеленые! На сердце зелено... Подмывало что-то... Жгло... Рвалось наружу...

Если по-нынешнему — допризывники.

Лежишь это, бывало, на леваде, смотришь на небо, как Большой Пес Медведице подмигивает, и самому подмигивать хочется...

А в спину тебя словно что-то подталкивает...

Лежишь и вскидываешься...

В жилах — электрификация.

Во взгляде — стабилизация.

В отношении садов — конфискация.

В отношении девчат — концессии.

А уж как выскочишь со двора, черта с два вспомнишь о репатриации, возвращении в отчизну.

Это — по теперешней терминологии, новые слова.

А по-тогдашнему — так мать скупым словом все это квалифицировала:

— И чего тебя, сукин ты сын, черти крутят?!

А вас бы не крутили?

На небе месяц. В пруд кто-то полтинников набросал: они покатились-покатились и стали — прилаживаются, как бы им поудобнее лечь. И без звона.

Вот так — хата в саду... Сад большой-большой, и кругом липы. За садом левада. За левадой вербы кудрявые, а за вербами клуня, а в клуне Ганна, а Ганне семнадцать...

Еще с полудня:

— Ганна, приду...

— Там видно будет!
— Ганна!
— Ишь... Молоко не обсохло. Парубки...
— Ганна!
— Собак напущу!
— Убери Лапка...
— Куда?
— В клуню! К себе!
— А ты тихо... Батько в сенях.
— Ладно...

. . . . . .

Тихо-тихо... Только где-то далеко на выгоне:

Черня-а-вую да беля-а-вую...

Плетень. Да какой там плетень?! Нету плетня... Нет и стены, и решеток бы не было.

Вербы... Стежка... Вишняк...

Мимо крыльца кошкою: «Батько в сенях»...

Стук-стук... Стук-стук...

— Ганна!
— Грррр!
— Лапко! Лапунь! Лапуся! На-на-на! Тш...
— Ганна!
— Грррр! Гав!!
— Лапунечка! Тшш... тшш...
— Гав! Гав! Гав! Грррр! Гав! Гав! Гав!

Скрип...

— Какой там чертов сын?.. А?..

Батько... У батька чистик...

Молнией по стежке...

Гоп! И на ограде...

Фью-ю-ю!

— Ой!

Чистик вонзается прямо в поясницу...

Кувырк...

— Будешь ходить?!

. . . . . .

Клубы, беседы, кружки, собрания...

Тут поясница не заболит.

1922

Борись!

Самогон надо вывести.
(Из газет.)

Он самый обыкновенный человек.

У него шесть десятин земли, две кобылицы, один жеребенок, девять кур с петухом, подсвинок, шестеро детей (две дочки на выданье, два сына-подростка, а другие еще малы — в школу ходят), жена, женина мать и корова...

Одним словом, он хозяин...

Продналог сдал, подворно-денежный сдал... на посев осталось...

Пудов двадцать, пожалуй, еще и лишнего. Далее: у него ведь шестеро детей! Стало быть, шестеро кумовьев, шесть кумушек, две невестки, шестеро сватов, четыре золовки, три свояка, четыре брата, тридцать три племянника и племянницы, двадцать семь соседей (в одной стороне живут, ей-богу!), пятнадцать просто очень хороших людей; у того, гляди, гвоздочек, у того ремень на чересседельник, у того еще что-нибудь...

У него «храм», новый год, богоявление, сорок святых, мясоед, масленица, заговенье, великий пост, Евдокии, разговенье, светлое воскресение, вознесение, троицын день, Параскевы, Прокопия, Петра, Полупетра, Ильи, спаса, первая пречистая, вторая пречистая, Семена, воздвижения, покрова, Андрея, Кузьмы, Демьяна, Михаила, Филиппа, филипповка, рождество, канун Нового года.

Это ведь обязательно: хоть тресни, а выпей.

Слушайте дальше.

Родины, крестины, вводины [1], обручение, свадьба, похороны, девятый день, сороковый день, годовщина...

Как, по-вашему, все это не обязывает?!

А корова отелится, а кобыла жеребенка приведет, а свинья опоросится?..

Опять-таки кабана закололи?

Надо или не надо?

А поездка на базар или на ярмарку?

Сапоги надо?

Надо!..

А обмыть их надо?

Нет?!

Бросьте, пожалуйста, шутки...

Черта лысого они вам тогда носиться будут!..

А покупать сапоги, да так, чтобы через месяц головки пришивать?..

Да ведь на это какие «лимоны» нужны — на головки!..

А колеса нужны?

А макотра нужна?

А спички нужны?

И это чтобы без магарыча?!

. . . . . .

Безнадежное дело!

1923

Гинекология

Медицинского персонала на селе немного...

Вот и тут... Село немалое, окруженное со всех сторон хуторами, а больница за восемь верст.

Между тем, благодарение милосердному, санитарная неграмотность среди населения понемногу ликвидируется...

Немало тут «специалистов» по всяким болезням, начиная от сглаза и кончая бешенством, но ни в одной области не просветился так люд провославный, как в области гинекологии, крайне необходимой на селе, очень деликатной науки... Мы не ошибемся, если скажем, что чуть ли не каждая особа женского пола, хоть немного, а знает-таки, что делать, когда над хатой кружит аист, чтобы принести счастливцу мальчика или девочку...

А немало есть и хороших специалистов-гинекологов, которые имеют большую практику, яйца зарабатывают целыми копами, а полотно — целыми штуками и разрешают вопросы гинекологии значительно скорее и смелее, чем какой-нибудь харьковский профессор...

Р-р-раз, и готово.

Клиник, операционных комнат еще нет: операции делаются в хате, в амбаре или в овине. Оперируют в большинстве случаев женщины, но есть и мужчины-гинекологи...

Есть даже, как мне рассказывали, простой дьяк, который сделает вам операцию — что орех раскусит.

Мне хочется познакомить горожан с опытом села в

этом деле... Ибо часто приходится видеть, как прекрасная женщина, сидя за конторским столом или за «Ундервудом» или просто идя по улице, задумывается, глаза ее затуманиваются, и на прекрасное лицо ложатся тени...

Как знать, может быть, ей просто замуж хочется, но частенько настроение это от того, о чем вы догадываетесь...

* * *

Вот что в таких случаях делают опытные дочери нашего села...

Когда дочь Евы, вставши утром, чувствует, что вот сюда у нее подкатывает и сильно тянет на соленый огурец, она начинает подпрыгивать на месте. Стоит, стоит, а потом изогнется и вдруг бешено прыгает.

Гоп! Гоп!..

И прислушивается...

Ничего...

Грустно покачает головой и идет полоть картофель.

На другой день, когда тяга к соленому огурцу еще больше, еще сильнее, она берется поднимать сундук.

Наклоняется к нему, обхватывает руками и тянет вверх...

— Что ты, Малаша, делаешь? — спрашивает мать.

— Да что-то наш сундук будто боком стоит... Так вот я хочу его прямо поставить...

— Так давай вдвоем!

— Нет, я сама... Он не очень тяжелый... Вот смотрите... Ги... Ги...

— Надорвешься, сумасшедшая!..

— Вот еще!..

Повозившись с сундуком, женщина или девушка стоит и прислушивается.

Ничего...

Тогда она идет под навес и чего-то долго возится там...

Приходит отец и говорит:

— Какой это черт мне веялку перекинул?

...Не берет и веялка...

Много еще существует и других подобных же способов «управиться с ношей»...

Часто случается видеть, как молодая девушка рысью

мчит через канавы к речке с кадкой, полной мокрого белья...

Или в хлеву живую корову с места на место переставляет...

Да всего и не перечтешь!..

И после каждого такого приема стоит грустная и прислушивается...

Ничего...

После этого еще мрачнее становится лицо и глаза бегают по избе...

Дальше идет уже «хинизация»...

Хинизация до тех пор, пока в ушах, как на пасху, во все колокола зазвонит.

Не берет...

Тогда применяют так называемый артиллерийский способ.

Набивают себя порохом.

Не стреляет...

Тогда идут в рожь за «рожками».

«Рожки» эти едят ложками...

Не трубит...

Тогда крадут из кладовой десяток яиц и направляются к «специалисту».

— Голубушка!

Самодеятельности в области гинекологии конец... Работа переходит уже к специалисту.

* * *

Специалисты...

Ну, тут уж, ясное дело, деталей нельзя указать: у каждого свои способы...

В большинстве случаев в качестве гинекологического инструмента пользуются головной шпилькой, изогнутой в конце крючком...

Операция эта называется: «Выцарапывать»...

Во многих случаях помогает также и острое веретено...

Это называется: «Прокалывать».

После операции кровь струится восемь верст—до ближайшей больницы.

И все.

Потом месяцев шесть ходит женщина, согнувшись в три погибели.

— Что-то у меня внутри... Одни говорят грыжа, а другие соячница[1].

Курс лечения закончен...

Способы эти можно легко применять и в городе, разумеется, с небольшими вариациями...

Вместо кадки можно бегать по лестнице с «Ундервудом», вместо сундука можно подымать письменный стол или пытаться передвинуть железную кассу, если работаешь в бухгалтерии, или просто шкаф с «делами».

Ну, а о городских «специалистах» не буду писать: там их достаточно.

1925

[1] Соячница — болезнь желудка.

Про веселое сусличье житье-бытье

Борьба с вредителями в сельском хозяйстве прошла хорошо с помощью обязательных постановлений.

(Из доклада на съезде по борьбе с вредителями.)

На зеленом ковре озими степной была глубокая нора... А в той норе жил да поживал старый Суслик, председатель исполнительного комитета сусличьих советов...

Только три дня, как вылез старый Суслик из глубокой норы, разбуженный стрелами весеннего солнца...

Сидит старый Суслик у глубокой норы, под ласкающими лучами весеннего солнца, обвеваемый нежным степным зефиром.

Сидит старый Суслик на задних лапках, острым взглядом сусличьим степи черноземные оглядывая, передними лапками по животу барабаня...

«Ох и работка же будет!» — думает старый Суслик...

А работа будет, ибо дружно взялась озимая пшеница, ибо рожь сочная буйно кустится, мощь черноземную в колосья всасывая...

Усмехается старый Суслик, любуясь на буйные зеленя...

И радостный свист, пронзительный свист разнесся по зеленой озими, с нивы на ниву перекидываясь.

То свистит старый Суслик, председатель исполнительного комитета сусличьих советов, пробуждая люд сусличий трудящийся от зимнего сна...

Крепко спал всю зиму люд сусличий, украинскую пшеницу переваривая...

Просыпается люд сусличий трудящийся, потягивается, лапкой умывается, из черных глубоких нор на весеннее солнышко выскакивая...

Слышит посвист радостный, пронзительный и бежит к норе председателя исполнительного комитета сусличьих советов.

И держат суслики совет: как дальше быть, чтоб лето красное любо-весело всем прожить, чтоб сытыми и здоровыми заснуть в предстоящую зиму...

И свистнул председатель исполнительного комитета советов сусличьих.

— Слушайте меня, суслики, товарищи мои милые и дорогие... Муха гессенская, пролетая над моей норой, прогудела мне весточку грозную... Прогудела мне муха гессенская, что собрался в Харькове II съезд всеукраинский, чтоб начать борьбу с вредителями... Лютый съезд, многочисленный съезд... Купоросом зеленым размахивает, парижской жидкостью побрызгивает, газами шипит ядовитыми... Что делать будем, как спасем себя?!

И свистнул рыжеватый суслик, умудренный опытом:

— А видела ли муха этот купорос? А нюхала ли она газы ядовитые?!

— Не спрашивал я, видела ли то... А по постановлениям о борьбе сама, говорит, лазила...

— По постановлениям?..

И как свистнет рыжеватый суслик радостно, как подскочит на три сажени!.. И прошелся гопаком да метелицей:

И жить будем,
И гулять будем...

И пошло по зеленой озими сусличье веселье...

Танцы, песни и прыжки...

И свистнул старый Суслик, председатель исполнительного комитета советов сусличьих:

— Тише, ребята! Вносите резолюцию!

Свистит рыжеватый суслик, умудренный опытом:

— Предлагаю резолюцию:

«Общее собрание украинских сусликов, всесторонне обсудив предложение, выражает горячую благодарность Наркомзему за заботливое к ним огношение... Особенно сердечный привет станции по борьбе с вредителями...

Да здравствуют постановления!

Гессенскую муху, золотогузку, боярышницу и братьев своих полевых мышей просим присоединиться к нашей резолюции!..

Украинские суслики».

И поднялся лес лапок сусличьих на зеленой озими...
И опять завел рыжий суслик веселую песню:

И жить будем,
И гулять будем,
А как родится пшеница,
Поедать будем...

1924

Вечорницы

Песня есть такая:

Ой, не ходи, Грицю,
Та й на вечорниці,
Бо на вечорницях
Дівки-чарівниці.

Славная песня... Жалобная такая, жалобная... Про вечорницы песня...

Вот и песня есть о вечорницах хорошая, и девчата на тех вечорницах чародейки, а вспоминать о них мне нелегко...

Тяжеловато мне о вечорницах вспоминать...

Персональные, сказать бы, воспоминания.

Вот, допустим, вы? Скажите, только по совести скажите, если бы вам на двадцатый повернуло, да если в груди мех кузнечный, а там, где теперь перебои да колики, так там все время:

— Та-тах! Та-тах! Та-та!

Твердо так, как молотом по наковальне...

А ниже, где теперь изжога, где икота, где бурчит и неприятно саднит, так вот там распирало... Вот так подкатится снизу к легким, обхватит таким горячим-горячим, сожмется, стиснется и рвет... Просто-таки рвет... И в виски пламенем полыхает... А по жилам вороной баской жеребец так и смалит во весь дух...

Да если бы из хаты, что вот так наискосок от вашей,

совсем недалечко, через дорогу только прыгнуть, чтобы из той хаты по сугробам скакало веселое:

Ой, на дворе метелица,
Что же старший не женится...

Усидели бы вы дома? Не выскочили бы как бешеный из сеней и не ударили бы наискосок, через дорогу?

Нет?

Брешете! Не усидели бы!

И меня мать за это била...

Била и еще приговаривала:

— А не ходи, висельник, на те вечорницы!

Да чапыгой — раз!

Не люблю я ни вечорниц, ни той песни!..

Хоть и пела ее мать на иной голос, да все равно слова, может, только чуть-чуть не одинаковые...

Личное, скажете?

Да, личное, но что поделаешь?.. Факт остается фактом...

И этот факт испортил мне все впечатление от вечорниц...

А в самом деле, какая хорошая штука — эти вечорницы!..

Особенно для девушек...

Танцы, песни, веселье...

Хлопцы веселые, а девчата еще веселее...

Тот подбежит, щипнет, тот подскочит, лапнет...

Да все с присказками, с припевками...

На столе чарка, сало, кныш...

— Выпей, Марина!

— И такое выдумаешь... Сроду не пила...

— Сроду ты маленькая была... Вот на, попробуй...

— И-и-и! Да горькое какое!

— Это сначала горькое, потом будет сладкое...

И вправду, потом так сладко-сладко делается... Голова будто на качелях... А потом жарко... И кровь горит...

А потом ворота дегтем вымазаны...

А еще аж потом-потом — ребеночек...

А потом батька со двора гонит. Мать за волосы волочит...

Сладко так, сладко после вечорниц!..

Где же, как не на вечорницах, про все узнаешь, обо всем доведаешься?..

И что на Ониськовом поле что-то колосья скрутками покрутило. Что ни зайдет Онисько ячмень косить — никак не косится... Только бабка Паталиха и научила.

«Выйди,— говорит,— на свою ниву после полуночи, когда еще и петухи не пели. Да стань ты задом к месяцу, трижды перекрестись, а тогда правой ногой дрыгни, а левой топни. Да двенадцать раз вокруг нивы оббеги так, чтобы не дышать, а тогда упади на меже на колени да проговори:

— Сгинь! Сгинь! Сгинь! Пропади, нечистая сила!

Тогда и закосится».

Где же об этом дознаешься?

...А что под старой греблей гадюка сажен двенадцать длиной живет, а на голове у нее венец тот, которым ведьмы на Ивана Купала венчаются...

...А у Иванихи позавчера ночью ведьму видели. Корову доить приходила. Насилу Иваниха открестилась. Дважды перекрестилась — не берет. Тогда она третий раз ка-а-ак крестанется, так та ведьма туманом-туманом через Филиппову леваду так и поплыла...

А Иваниху утром еле живую нашли. Ничего и выговорить не может, только плюется да крестится.

Еще вечером совсем здоровая жинка была, даже два кухля самогонки выдула.

...А до Свирида вурдалак прошлой ночью приходил. Кудлатый такой и мохнатый. Стучал в дверь да: «Отдай, Свирид, кошелек с золотом, а то я из тебя кровь выпью!» Свирид перед иконой свечку засветил да за топор... Скрип, из хаты, а оно как ударится об землю да, словно человек, на коня! Да улицей! Свирид вдогонку топором. И не попал. А ехало — ну точнехонько шенгереевский стражник.

...А что земля на трех огромных рыбах стоит, на китах... Так вот недели две тому назад у одной рыбы пузо зачесалось. Она повернулась почесаться, а в той Африке, где китайцы живут, земля трястись пошла... Множество церквей разрушено.

Где же об этом узнаешь, кроме вечорниц?

А теперь что?

— В клуб идите! На собрание идите! На чистку идите! Во Всерабземлес идите...

И парубки не щиплются, и самогонки нет, и ворота чистые, и ребеночка нет. Волосы на голове целые. Родные не проклинают...

Ну, что за жизнь?

И вспомнить нечего...

Да рассказывают тебе, что земля круглая, что она вокруг себя сама вертится и вокруг солнца вертится...

В голове бы у них вертелось!..

. . . . . .

Нет, вечорницы лучше.

1923

Бороться за книгу!

«К десятой годовщине Октябрьской революции не должно быть в советских республиках неграмотных...»

Это сказал товарищ Ленин!

Десятая годовщина через три года...

Неграмотных у нас четыре миллиона... Чтобы их выучить, нужно что-то около 12 000 школ...

В каждое село нужна школа...

С 23 октября до 1 ноября состоится Неделя борьбы с неграмотностью...

За эту неделю в каждом селе нужно подыскать помещение для школы, где будут обучаться неграмотные, нужно его подремонтировать, оборудовать, купить дров и т. п. Одним словом, нужно эту хатенку сделать такой, чтобы можно было в ней за книжкой сидеть и пальцы не застывали.

Устроив такую школу, можно будет браться за науку...

* * *

Допустим, что в селе найдутся люди (а что они найдутся — сомнений у нас нет), что такое помещение найдут, оборудуют, учителя посадят, неграмотных перепишут.

Ходи и учись!

Вот тут и начинается самодеятельность этих неграмотных...

Учиться нужно!

Оно, что и говорить, было бы очень хорошо, если бы за пуд гречихи нанял кого-то за себя, чтобы оно в шко-

лу ходило, а ты дома сидел и понемногу грамотным становился...

Но так невозможно. Может быть, когда-то и додумаемся до такого способа всех грамотными поделать, но теперь еще приходится самому немного лоб потереть, чтобы прочесть одну-две странички букваря...

Втолковать себе нужно вот что:

Если приобрести наилучший букварь, посоветоваться с наилучшим учителем, а потом взять этот букварь да порвать его на стельки или скурить, от этого грамотным не будете. Даже если взять книжку в воскресенье, подложить ее под голову и выспаться на ней до обеда, пока скотину вечером не вести на водопой, не прочитаете от этого ни единой буквы.

Нужно обязательно ходить в школу и слушать, чему там учитель будет вас учить... Тогда только будет толк...

Также и с женщинами...

Лучше накрывать кринку кружочками, чем книжками... И печку разжигать лучше кострой или соломой, а книжка пусть себе лежит на столе... От нее так больше пользы будет... Даже если будет лежать, не говорю уже про то, как ту книжку открывать и всматриваться в нее, думая, что в ней написано...

Вот и еще.

Если встретите на улице куму и, поздоровавшись, спросите: «Кумасю, записались в школу?»—«Записалась!» — скажет кумася...

Не говорите:

— Вот дура!

Потому не говорите, что дура вовсе не та кума, которую вы встретили, а совсем другая кума...

1924

Вот задача!

Не те все-таки времена настали.

Что не те — то не те.

И погода изменилась, и люди не те.

И жизнь, можно сказать, для нашего брата хлебороба пошла такая, что и не знаешь, как дальше быть...

Менять, выходит, надо жизнь...

Как же ты ее не изменишь, когда посмотрите сами: дождей маловато, земля трескается, колос вянет, зерно сохнет...

А раз зерно вянет, а раз колос сохнет — чертова батька будешь лепешки есть...

Это не мы, старые люди еще так говорили...

Выходит, новые способы нужны, потому старые подкачали...

Хотя, ежели по правде вам сказать, старые те способы... Эх, и хорошие же были способы!..

Возьмите земледелие.

Сеешь... Так думаешь разве о том, как глубоко пахать и какой сеялкой сеять?..

Дурак был бы я так думать!..

Вышел, надел мешок на шею, перекрестился:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь! В добрый час!

Посеял, стал посреди нивы, поглядел на все четыре стороны, еще раз перекрестился:

— Уроди, боже, на трудящего, на ледащего, на просящего, на крадящего и на всякую долю.

И все.

Пришел домой и — к жинке:

— Уже! Давай поужинать.

И ходишь себе, по хозяйству там что-нибудь поделаешь, а она тебе и растет да растет...

И бог был как бог.

Если и не уродит на трудящего, то на ледащего, и на просящего, и на крадящего обязательно уродит...

. . . . . .

Севообороты теперь пошли...

Делят десятины на участки и высчитывают потом, где, что и когда посеять...

А прежде хорошие хозяева сами знали, где сеять нужно...

Где раньше всего загремит гром, там и сей, потому что там лучше всего уродит...

. . . . . .

Опять же засуха...

Чего только теперь не выделывают, чтобы от засухи избавиться! И ранние пары, и унавоживание, и бурьяны уничтожаешь, и землю разрыхляешь, и пропашные растения сеешь...

А раньше разве это делалось?..

Да никогда на свете!..

Обольешь, бывало, водой пастухов или украдешь крест с могилы висельника и бросишь его в болото, и пойдет дождь.

А то запрягутся девчата ночью в плуг, вспашут улицу, нарвут овощей, посадят в свежие борозды, возьмутся за руки и вокруг того «огорода» нового:

— Дождик, дождик, приходи!

И пошлет господь дождь.

. . . . . .

Хороши были старые способы!

Да, времена теперь не те!

Не берут они, эти способы, не помогают.

Бог испортился...

Молишь-молишь, молишь-молишь — ничего. Нету урожая...

Вот тут и задуматься нужно...

Нужно, потому что посмотришь на совхоз или на колхоз — там лучше...

И рожь лучше, и пшеница лучше, и все лучше.

Что бы оно значило?

Сказать, что богу молятся, так нет.

Выходит, что земля изменилась, новых способов требует...

С одной стороны — в коллектив идти очень все-таки не хочется, ибо что там ни говори, а оно «коммуния»...

А с другой стороны — нужда наседает... До того наседает, что такими местами светишь, какими сроду не светил.

Вот тут тебе и покумекай.

Что делать, и не скажу...

Оно все-таки правда. Как-то заехал мне в ухо Пилип, а человечище он здоровый. Один не осилю... Попросил кума — вдвоем хорошо набили... Втроем, пожалуй, еще лучше бы набили.

Выходит, вроде коллективом лучше...

Вот задача.

. . . . . .

Между прочим, на Украине уже тысячи коллективов...

. . . . . .

Вот задача!

1925

Днепром

Плыви коса, уплыви с водой,
Я пойду вслед за тобой...

Это песня такая...

Пойте ее, если охота, сами, так как меня она в данном случае абсолютно не касается.

Я не коса, никто мне не поет жалобно «плыви», и никакая дивчина, что косу чешет, не идет «вслед» за мной. Единственное, что из этой песни мне осталось,— это то, что я вправду «плыву, уплываю с водой», но этого для песни, да еще для жалобной, маловато.

Просто плыву, и все.

Приехал на пристань, взошел на «Коммунар» (пароход так называется) и сел на скамейку...

Гудок прогудел трижды, командир крикнул:

— Отдай концы!

Концы эти ему отдали, он нагнулся и гаркнул в медную дудочку:

— Вперед! Малый!

Пароход тронулся, по его бокам залопотали колеса, я «сделал ручкой» знакомым, что стояли на пристани, и поплыл,— и все.

Так вот и плыву...

* * *

Поплыл я, нужно вам знать, от Киева. Поплыл, как уже сказано, «уплыви с водой», то есть в ту сторону, куда течет река.

Река, которой я плыву, называется Днепром.

Ну что же, значит, про Днепр.

Нет, давайте я сначала про Киев, как на него с Днепра смотрится, а потом уже про Днепр, а то Киев вот-вот уже исчезнет, а Днепр протянулся аж туда, где врангелевские жабы дают вот той самой штуки, что... Как же оно называется?..

Ну и красивый же с Днепра Киев, «мать городов русских»! Разлегся старый над кручей, слепящими огоньками прикрылся, зелеными ветками окутался, закурчавился и лежит...

Да такой уж он зеленый, да такой уж он пышный, да такой уж он высокий и приглядный, что глаз от него оторвать невозможно.

Вот взгляните вы на него.

Вон Перунов холм. Там золотой бог стоял, громы и молнии в старых людей метал. Сердитый бог был!.. Падали перед ним люди до тех пор, пока он сам не упал головой в седые днепровские волны.

Владимирская горка, Пролетарский сад. Все это высоко, все это зелено, все это над Днепром...

Над Днепром, а не над Лопанью.

Вот плывем и на Днепр заглядываемся.

Челночок сзади нас плывет, а в челне парочка... Прижались друг к другу плотненько, уцепились один в другого и милуются... На воде милуются.

Да расцепитесь же, православные, ведь место же какое историческое! На этом самом месте Владимир коллективно всех киевлян перекрестил. Ай, ай, ай! Такое место, а они целоваться! Ну и народ пошел!

Печерск... Там «Арсенал». Понимаете, что это значит? То-то!

Это нынешнее.

А рядом Аскольдова могила... Это побочное.

А дальше Лавра. Это сплошные мощи.

А чтобы до Лавры доплыть, под новым цепным мостом плыть нужно. А он в алых флагах весь да в сосновых ветках...

А над ним Лавра.

А в Лавре:

— Бам!

А флажки — красные флаги на новом цепном мосту:

— Трип, трип, трип.

За животы хватаются, хохочут красные флаги.

Это они над Лаврой.

А дальше Выдубецкий монастырь (один дядько называл его не иначе, как «Вылупецкий»). Там где-то кто-то выдыбал и не выдыбнул.

И кручи, кручи, кручи... Да зеленые, зеленые, зеленые! Да кудрявые, кудрявые, кудрявые! Да хорошие, хорошие, хорошие! Да высокие, высокие, высокие! Да пахучие, пахучие, пахучие!

А вы в Харькове сидите.

Так вот над Днепром кручи, значит, пошли.

А под ними, под кручами теми, Днепр.

Ну давайте теперь про Днепр.

Тут много не скажешь. Николай Васильевич Гоголь (был такой русский корреспондент) опередил.

Прочитайте Н. В. Гоголя про Днепр, все равно я против него вряд ли врежу.

Знаете вот это его: «Чуден Днепр при тихой погоде», и т. д.

Так и теперь еще «чуден Днепр». «Когда вольно и плавно» несет он воды свои до моря до Черного. И вода в нем хороша. Синяя такая вода и мокрая. Вот только воды этой теперь маловато. Зима была поганенькая, паводка не было, и даже Турханов остров и Слободка около Киева в этом году не купались в весенних днепровских волнах. Побаиваются, выдержит ли в этом году Днепр навигацию, так как уже теперь — а это еще май месяц — голенькие у него такие места, которые в такое время никогда голыми не бывают.

А все-таки хорош Днепр!

Плывет себе и плывет. Мерцают в нем звезды, месяц золотую дорогу по нему вымостил, а от мостов киев-

ских кто-то в него огненные штанги повтыкал, и не гаснут, и не шкварчат, и не парят они. Не боятся эти штанги холодной воды днепровской.

А по Днепру плоты плывут, а на плотах на тех костры горят, а от тех костров ветерок искры вздымает...

Это сверху, из Полесья, на низ деревесину трудящийся люд гонит, гонит и песни распевает. А деревья те под зубастую пилу пойдут, пила та поделит их на доски и на горбыли, а досками теми наша республика отстраивается...

Плывет Днепр...

А справа над Днепром круча, а слева поля да луга.

Может быть, про природу хотите?

Какая природа на Днепре?

А как вы считаете, какая такая может быть на Днепре природа, если на дворе май месяц?

Такая, братцы, природа, что петь хочется. Зеленое все. Кудрявое все. И панов нигде не видно. Вот вам и природа.

Вон поля, вон луга, вон сенокосы, вон лесочки, вон села, и все это наше. Вот вам и природа. Вот там в верболозе соловей техкает, так, как вы думаете, для кого он техкает? Для пана? Черта лысого! Для дядька техкает. Нет панов.

Знаете, что уже восемь лет паны в Днепре не купаются. А если где-нибудь и выкупается, так все равно он без права голоса,— вода по нем только сверху перекатится, не пристанет, потому что Днепр теперь «трудящий элемент», а не для игрушек каких-то плывет.

Вот вам и природа.

Плывем...

Триполье.

* * *

Здесь бандит Зеленый красную кровь пускал, синие волны днепровские краснели от крови рабоче-крестьянской...

А на той крови союз вольных республик вырос...

Стайки... Ржищев... Ходоров... Переяслав... Канев...

На Монашьей горе Тарас Григорьевич стоит, солнцу усмехается, так как:

Расковались, побратались.
Царя отдали палачу.

Учимся. И чужому научаемся и своего не чуждаемся.

Чтоб поля необозримы,
Чтобы Днепр и кручи
Было видно...

И летают по Днепру селянские челночки, а над Днепром птицы...

А Днепр плывет да плещется в зеленых берегах.

Содрогнется только, как «Коммунар» гаркнет звонким паром, и вновь плывет.

Плывет да грудь «Коммунару» подставляет... И не больно Днепру, что по груди его волнистой «Коммунар» бежит.

С чего бы ему было больно, если всего год, как увидел он на груди своей такие пароходы, как «Коммунар»?

Советская власть такой пароход оборудовала — гордость Днепровского пароходства.

Так с чего бы ему болеть?

Наоборот, Днепр гордится, весело плещет в новенькие, беленькие борта «Коммунаровы».

Не задавайся, мол, Волга, и у меня уже есть такой, как у тебя.

* * *

Плывем.

Плывем и в воду глядимся...

И сколько же в воде этой гидроэнергии...

Вот бы запрячь...

Ох, и завертела бы она все, что вокруг Днепра разлеглось!

Ох, и закрутила бы!

А то только и того, что мельницы водяные под берегами крутит.

Смотришь в воду, а она, гидроэнергия эта, так и прыщет. Аж пищит, бедняга,— вот так ей завертеть кого-то хочется.

* * *

Плывем...

Плещется старый Днепр...

И сквозь плеск тот слышится:

— Люди добрые, запрягите меня!.. Ох, и поработаю же я на вас. Только перед тем, как запрягать, возьмите берега мои в «шоры», не давайте мне заиливаться, чистите меня, углубляйте... Ведь уже у меня перекаты случаются. Ведь уже местами пески на грудь мою навалились, давят меня, развернуться мне не дают...

. . . . . .

Ну и хватит!

Вот уже Кременчуг. Вылезать нужно.

1925

Темная ночка-петровочка

Эх, и «тюкают» же темной ночкой-петровочкой!

Вот так:

— Тю-ю-у-у!

Это «тю-у-у» разрывает, как выстрелом, черную запаску полтавской ночи, лентой вьется меж кустов, меж деревьев рощи кудрявой, несется лугами, через Псел перескакивает, бьется о берег и, ударившись о береговые кручи, обессиленное, возвращается в рощу, ложится в траву таким слабым, таким истомленным...

— Тю-ю-у-у-у...

Так бывает темной ночкой-петровочкой. Когда в избе-читальне закрыты ставни, когда в избе-читальне мыши книжки «читают», а на скамье за столом сидит домовой и проводит политпросветработу...

Страшно тогда в избе-читальне... Боже упаси заглянуть в нее: там сидит «сика-ляля-вова-хо» — нечто страшное, лохматое, черное, таинственное, которое гонит и девушек и парней из избы-читальни, выгоняет их из дому, берет за шиворот и швыряет на бревна, что за церковью.

А там, у бревен, играет гармошка, там, взявшись за руки, топчут траву молодыми ногами, ибо нельзя же не топтать, нельзя же устоять, когда из двухрядки вылетает такое залихватское:

Польки-польки
И кадрили...

Тогда в избе-читальне и в сельбуде [1] домовой — полный хозяин. Он сидит, развалившись на скамье, ехид-

[1] Сельбуд — сельский клуб.

но похихикивает и благословляет темную ночку-петровочку за то, что она сделала его хозяином этого политпросветительного учреждения.

Он, домовой, никого в эту ночь не боится, ни к чему не прислушивается, ибо он знает, что ни в избу-читальню, ни в сельбуд никто не заглянет ни днем, ни ночью, так как и днем и ночью плотно закрыты ставни.

А темная ночка-петровочка крепко обнимает село, к гармошке прислушивается, звездами подмигивает и регистрирует в народных судах «дела об алиментах»...

И если в такую ночь ляжешь под косматым кустом на влажную траву и вслушаешься, то услышишь и смех счастливый, и гармошку, и «тю-у-у», и песню, и вздохи, и обещания, и клятвы...

— А дальше что? — спрашиваешь ночку...

— А дальше овин...— говорит ночка.

— А дальше что?

— А дальше ребенок...

— А дальше что?

— А дальше суд...

— А дальше что?

— А дальше поди и послушай!..

— Ну, и пойду... Ну, и послушаю...

Когда темная ночка-петровочка уже за Псломом, за береговыми кручами, когда она убежала уже за моря, за леса, за горы, за долы, подстегиваемая солнцем, тогда пробегает селом народный судья 10-го района, Кременчугского округа...

Он такой маленький, низенький, черненький, спокойный; бежит и улыбается.

А за ним с огромной папкой бежит секретарь судьи 10-го района, Кременчугского округа.

Возле дома, где происходит суд, стоят подводы, и люди сидят, и дети плачут.

Плачут детки:

— Уа-уа-уа-уа...

Молодые матери укачивают маленьких детей и напевают.

Поют не о том, как

Летел жук
Через Маринину хату
Пу-у-у-к,
А у Марины живот
Пу-у-у-х
Тю-у-у-!

Так поют на бревнах будущие матери.
А на крыльце возле суда они вот что напевают:

Ой, ну, котку, котку,
Не лезь на колодку.
Разобьешь головку,
Головка буде болеть,
Нечем буде полечить,
А-а-а-а. А-а-а-а.

* * *

Выходят судья и народные заседатели и садятся за красный стол...

Ветер слушает рассказ отца и матери и выскакивает в окно, летит за леса, за горы, за моря, за долы и рассказывает темной ночке-петровочке, а она хохочет, и приплясывают на Чумацкой дороге [1] звезды и, приплясывая, приговаривают:

— А не закрывайте в избе-читальне ставней! Не закрывайте! Не закрывайте!

А ветер передает это темной ночке-петровочке.

И сказал судья:

— Марина Половенкова и Григорий Гниденко, идите сюда, к столу... Идите и свидетели... Расскажите, Марина, как было дело... Когда познакомились, как, что и к чему. Суду нужно говорить только правду. За ложь будете отвечать по закону. Так все и знайте: и свидетели и истцы. Говорить нужно только правду... В этом у вас и расписка отбирается... Ну, Марина, рассказывайте!

А Марина — платок на самые глаза и фартук мнет в руках...

— Что ж рассказывать? Гуляли. На бревнах, на улице гуляли. Ухаживал. Ходил спать в овин... Сначала «по-

[1] Чумацкая дорога — Млечный Путь.

хорошему» спали... А потом стал уговаривать. Говорил: «Замуж возьму»... А как «вошла в положение», перестал ходить... И в глаза не смотрит... А потом родился ребенок. Отец и мать из дому гонят... С ребенком работать нельзя... Прошу присудить с него на ребенка!..

— Правду говорите?

— Правду...

— А теперь вы, Григорий, расскажите!

— Ложь все... Ходить ходил — это правда. А чтоб такое что было — так нет... Это она наговаривает на меня. К ней много парней ходило. Она со многими спала, а потом все на меня свалила... Не виноват я... Гулял, как вообще все парни гуляют с девушками... Она где-то нагуляла, а теперь меня по судам таскает.

Ветер рассказывает темной ночке-петровочке, а ночка хохочет, а звезды подпрыгивают:

— Не закрывайте наглухо ставней избы-читальни! Не закрывайте!

А ветер рассказывает...

Потом показывают свидетели. Одни выливают помои на голову Марины, а другие — на голову Григория. Одни надрываются, настаивая, что Марина — «цаца», а Григорий — «кака», а другие, что Григорий — ангел, а Марина — дьявол... И смотрит Марина в землю, глазами моргая, а Григорий смотрит в сторону, носом потягивая... Марине — восемнадцать, Григорию — двадцать... А родители сидят на скамье, прислушиваются...

И глядит пристально на всех судья, и вглядываются народные заседатели.

— Кто из вас лжет, а кто правду говорит?

— Ходил?

— Ходил.

— Спал в овине?

— Спал. Только ничего ж не было. Разве только я ходил? Многие ходили.

— Кто ходил?

— Разве я помню, кто ходил? Многие.

— Когда родился ребенок?..

— Перед пасхой.

— Когда ты ходил...

— Ну, летом ходил...

— До каких пор он к тебе ходил?

— Да еще после покрова ходил... А потом, как узнал, так и оставил...

. . . . . .

...Семь рублей в месяц до восемнадцатилетнего возраста.

— Вы свободны!

. . . . . .

И смеется темная ночь-петровочка... И подпрыгивают золотые звезды...

. . . . . .

А в избе-читальне мыши книжки «читают» и домовой сам зажаривает лекцию на тему:

«Половая жизнь».

«Половая» не по масти [1], а по существу.

1925

---

[1] Половая — светло-рыжая.

Так ни черта и не вышло

Такое прекрасное дело, а лопнуло из-за пустяка.

И не простое дело, а дело культурно-просветительное... Хорошее дело.

Было это давненько...

Было это тогда, когда мои однолетки были еще молодыми и буйными и когда я сам был, так сказать, не совсем чернявый, а так: нестарый и радостный.

А на сцене тогда играть хотелось еще сильнее, чем остаться с дьяковой дочкой в саду под теми тремя дубами, что из одного корня растут!

Ах, как тогда на сцене хотелось играть!..

И что бы вы думали: сорганизовались...

Вот так собрались, поговорили, обсудили и решили:

— Будем играть!

И пьесу выбрали, и в волости подходящую комнату дают, а артистов хоть пруд пруди!

— Будем играть!

И вдруг тогда как гвоздем в спину:

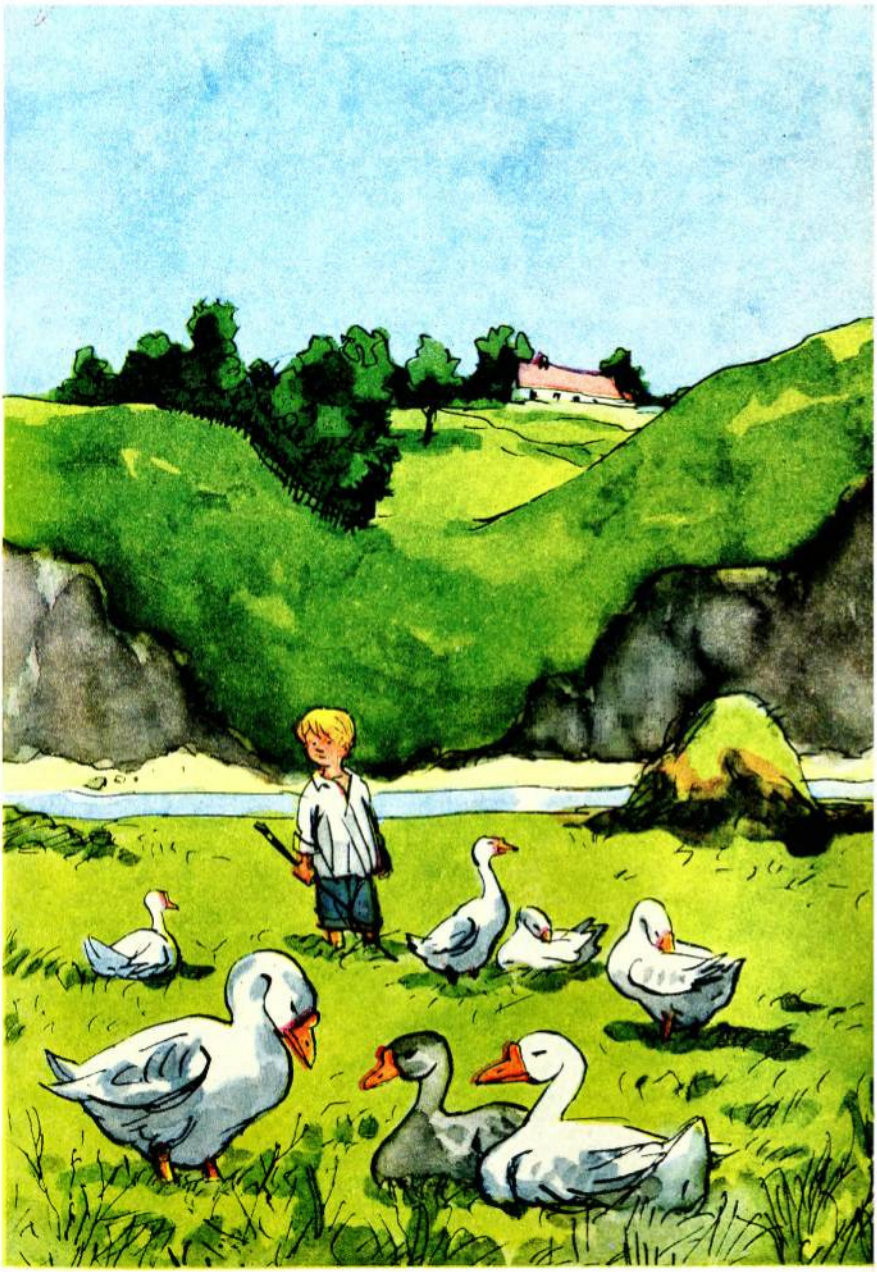
— А режиссер где? Все же мы, что называется, ни папы, ни мамы в этом деле. Кроме талантов — ничегошеньки!

— Стойте, хлопцы! — Семен говорит.— В городе есть такой делопроизводитель, что на сценах играл! Он выучит...

— Катай, хлопцы, к делопроизводителю.

Поехали...

— Пять рублей,— делопроизводитель говорит,— и после спектакля ужин... Сюда и туда подвода... И чтобы слушались, матери вашей черт!





«КАК Я РЫБУ ЛОВИЛ»

— Ладно.

— Пишите там афишу и укажите, кто режиссер...

— Хорошо, укажем!

* * *

Началось. Выписали роли... Выучили их, как «царю небесному, утешителю».

Три афиши разрисовали, фамилии на афишах всех участников (а как же вы думали?!), а внизу:

«Режиссер Иван Степанович Леваденко».

Все как бог приказал...

* * *

В воскресенье спектакль, а в четверг Иван Степанович приехал... Встретили его, как архиерея...

— Ну начнем,— говорит Иван Степанович.— Афиши готовы?

— Вот!

Посмотрел Иван Степанович на афишу, из глаз у него искры. А потом как гаркнет:

— Как?! Это меня такими буквами напечатали? Меня? Который уже одиннадцатый год на сценах?!

И сразу аж две фиги:

— Вот! Чтобы я с вами здесь канителился?! Подводу!

— Да Иван Степанович! — мы к нему.— Да что вы?! Да мы вас, какими хотите, напечатаем!

— Чтобы вот такими, иначе — подводу!

— Бегите,— говорю,— хлопцы, за бумагой... Склейте сколько там листов и пишите большими...

Побежал Кондрат за бумагой... Клеит...

Как вдруг артисты один за другим к Кондрату:

— И меня тоже большими!

— И меня!

— И меня!

Суфлером волостной писарь был... Пришел с квадратиком, отмерил на нем вершков так с пять:

— А меня если вот не такими, и в будку не полезу, и из волости выгоню...

— Клей,— говорю,— Кондрат, чтобы на всех хватило...

Склеил Кондрат афишу сажени на три, если не больше. Написал всех такими, как хотели. А режиссера в конце вывел таким, что аж до Кузьмина (семь верст!) было видно...

Готова афиша.

А куда же ее прицепить?

На колокольню батюшка не позволяет, а так нигде не помещается.

Решили нацепить на бакалейной лавке. Достали лестницу, приставили.

— Цепляй!

Собралось все село на ту процедуру смотреть.

Полез Кондрат на лестницу, потянул афишу...

А тут кто-то дядьку Пилипа толкнул... Дядька Пилип наступил на афишу и оторвал режиссера вместе с «начало в 8 час. вечера»...

Как увидел это Иван Степанович, да как закричит:

— Подводу, матери вашей черт! Я вам покажу, как режиссера отрывать!.. Режиссер — все!

На подводу — и в город... И ужинать не захотел...

Спектакль не состоялся...

Теперь не то... Теперь режиссеры не такие, чтобы на буквы обращали внимание...

А раньше!..

А чтоб ему: дело все лопнуло.

1923

Мы-такие!

ПАМФЛЕТЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ
НА ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
1919—1927

Демократические реформы Деникина

(Фельетон. Материалом для конституции служить не может)

Поделить землю между крестьянами — дело не маленькое. Надо все предвидеть, взвесить, обосновать, присмотреться к местным особенностям, к почве, к повадкам населения и т. п. и т. д.

И земельные комитеты, и земельные управы, и крестьянские съезды, инструкторы, разъяснения, циркуляры...

Департамент земельной реформы с комиссиями, специалистами...

Вообще дело большое.

Это у нас!

У Деникина все гораздо проще!

Приезжает в село отряд.

— Собрать сход!

Собрали.

— Кто хочет землю — вперед!

Кое-кто выходит. Большинство земли не хочет: не шевелится!

Но вот тут-то проявляется знание крестьянской мысли: командир отряда заранее знает, кто хочет землю.

У него такой список...

И все безземельные или малоземельные.

Вызывает. Выходят.

Делят...

Одному двадцать пять, другому пятьдесят, а иному и до ста достается.

Бывает иногда, что шомпол ломается, тогда берут новый...

Кто больше добивался, тому больше и дают...

Зависит также и от помещика.

Чем помещик значительнее, богаче, тем больше дают.

Беднее — меньше.

Все как следует!

Это земельная реформа.

А свобода...

Есть ли где-нибудь еще такая, например, свобода совести, как у Шульгина?

Нигде не найдете!

Заверяю вас, что нигде в мире не позволят распустить так «свободно» свою совесть, как распустил ее Шульгин.

Неужели вы полагаете, где-нибудь есть такая свобода слова, как у «Киевлянина» или у «Киевской Дуньки»?[1]

А свобода собраний какая!

Вы только почитайте, как «собирают» с киевского населения «самообложение» в пользу Добровольческой армии.

«Собирание» поголовное!

Нет, что ни говорите, а сразу видать людей с государственным опытом...

1919

[1] «Киевлянин» и «Киевская мысль»— русские газеты, помещавшие лживые сообщения о нашем деле.— *О. В.*

В школе

Белогвардейский генерал Кутепов заложил в Галиполи школу по подготовке губернаторов, вице-губернаторов и земских начальников.

(Из телеграмм.)

— Ну вот, к примеру, князь Задери-Хвостецкий, вы губернатор харьковский. Вступили в должность... Что собираетесь делать?

— Я, Ваше Превосходительство, прежде всего справляю в сослужении сонма духовенства во главе с архиепископом Нафанаилом молебен с благодарствием господу милосердному за блестящие победы нашей рыцарской армии «о покорении под нози ее всякого врага и супостата...»

— Дальше?

— После этого я, Ваше Превосходительство, в сослужении сонма духовенства во главе с архиепископом Нафанаилом отслужу торжественную панихиду по тем, кто жизнь свою отдал за веру, царя и отечество...

— Потом?

— Потом, Ваше Превосходительство... потом... Потом было уже раньше, Ваше Превосходительство... До того, как я еще вступил в эту должность... Военные власти всех уже перевешали...

— Это так... А что дальше должен делать губернатор?

— Дальше, Ваше Превосходительство, я обращаюсь с воззванием к населению вверенной мне губернии, что, наконец, пришла настоящая, богом данная, твердая и непоколебимая власть, которая обеспечит народу покой и защитит его от издевательства всевозможных социалистов и прочих врагов порядка и государственности, Ваше Превосходительство...

— Дальше?

— Дальше, Ваше Превосходительство... Дальше...

— Ну! Ну! Вы ведь были уже вице-губернатором?

— Был!

— Ну, что же дальше вы вместе с губернатором делали?

— Дальше!.. Дальше мы упаковывали чемоданы, Ваше Превосходительство, и удирали...

— Садитесь!.. Единица! Даже двойки вам поставить не могу... Вы, князь Задери-Хвостецкий, и того не поняли, что по прибытии на место вашей должности никогда не следует распаковывать чемоданы... Садитесь!..

1922

Антанта

(Научный вывод)

Антанта!

Скажите, кто не слыхал этого слова?

Отыщется ли в самом темном закутке земного шара человек, который никогда не слыхал бы или не произносил бы слово «антанта»?!

В последнее же время это название пролезло в уши, в глаза, в нос.

Оно, будто кислород или водород, превратилось в составную часть воздуха!

Антанта позволила!

Антанта не позволила!

Антанта так сказала!

Антанта... Антанта...

Антанта здесь! Антанта там!

Везде Антанта!

И вот, несмотря на такую огромную популярность этой самой Антанты, в литературе я нигде не встретил более или менее беспристрастного описания особы, притаившейся под магическим названием Антанта.

Это белое пятно в мировой литературе я с присущей мне скромностью постараюсь замазать.

Замазывать буду старательно и упрямо.

Посему — внимание!

* * *

Антанта — это там! Во-о-он там, куда сейчас все смотрят. В Европе. На Западе.

Это Франция, Англия и Америка. Вместе взятые.

Была еще и Италия, но, как говорят, загудела. Может быть, не совсем загудела, но гудит. Гудит упорно и громко. Но это нас мало трогает. Пусть гудит. Не будем ей мешать.

Откуда же взялось это страшное и вместе с тем большое слово: Антанта?!

Множество ученых (между прочим, и сверхученый киевский Шульгин) уверяют, что слово «антанта» французское и будто бы обозначает согласие.

— Entante — согласие!

Нет, голубчик, ты докажи, и научно докажи. А так каждый может сказать:

— Pardone — извините!

Это всякому понятно, а вот Entante — нечто иное.

До сих пор мне довелось встретить намек на объяснение этого слова в знаменитой книге знаменитого французского ученого Шалапанде (т. 1, стр. 6).

Но всего лишь намек. Дальнейшие соображения неожиданно дали мне более или менее правдивые данные происхождения слова «антанта».

Оказывается, что слово «антанта» сложное.

Слагается оно из двух слов.

En — вместо нее, него, них... и tante — тетка, тетя, тетенька.

Вместе: entante — вместо тетки.

Вот это уже, безусловно, больше походит на истину.

В самом деле, какое Антанта — согласие? При согласии, даже незакордонном, редко когда сообщники за чубы берутся. А у Антанты это водится.

Аж чубы трещат.

Я не буду касаться причин «треска» антантовских чубов, так как в моем труде это меня тоже не касается.

Я буду полностью объективным.

Второе название (Антанта — вместо тетки), как я уже сказал, несомненно, более правдивое.

Все державы всего земного шара будто сговорились, считают пани Антанту тетей.

И так вокруг нее и сяк около нее:

— Не позволите ли, тетенька?

А тетя, надутая тетя, только головой покачивает.

Сама же ни с места.

Старая уже тетя, пузатая. Трудно ей соваться.
И всем она вместо тети, потому и Антанта.
Кажется, вывел?!

* * *

Родилась Антанта с огромными потугами в 1914 году. Худенькая родилась, квелая, бледненькая. На первых порах пришлось даже искусственное дыхание применять, чтобы немножечко ее оживить. Искусственное дыхание выполнял известный немецкий доктор Гинденбург. Дышала она тогда часто и прерывисто. Но «отдышалась».

В 1917 году захворала тетя, и тяжко захворала, российской революцией. Хворала почти целый год. Едва-едва не скончалась. Но в 1918 году господь смиловался над ней и послал немецкую революцию. Немецкая революция круто подняла больную Антанту на ноги, и с того часа, дай боже не сглазить, начала поправляться наша тетя, и сейчас так ее разнесло, что не узнать.

Вначале выздоровевшая тетя была не очень сердитая. Особенно приветливой она казалась малым племянникам. Ко всем с этакой ласковой усмешечкой:

— Вы, говорит, мои надежды!

Уж так она с ними любезненько.

Главный ее управитель, Вильсоном прозывается, так целых 14 пунктов пустил нациям на утеху.

Пятнадцатого так и не выдумал. Хотя и сейчас еще говорят, лежит и в голове ковыряет. Выковырнуть пятнадцатый хочет.

Хорошие такие те пункты.

Всех тетя не забыла. Всем надлежащее пообещала...

Пообещала тетя!

Ну, знаете: «Обещание — игрушка, а дураку радость!»

Все, значит, как следует.

Как по-писаному...

Есть еще у тети помощник-управитель Клемансо. Но это уже человек в летах, староватый. Держит его тетя исключительно для того, чтобы поясницу ей чесать, когда у нее социалистические прыщи свербеть начинают. Да иногда еще если сядет где-нибудь у тети социалистическая

конференция (и такое бывает), то иодом мажет, чтобы быстрее расходилось. На манер домашнего лекаря, значит.

* * *

В последнее время хворать тетя стала. Часто блокадами кашляет, в голове «добровольцы» завелись. Чешется все время, нервничает. На домашнем совещании кровные решили, чтобы тетя начала малые нации кушать. Начала. Но, говорят, рак желудка начался, и недержание. Что-то там у тети не держится. Кажется, колонии. Помрет, вероятно, тетя...

Но она еще бодрится... Попугивает... Кое-кто слушает...

* * *

Это я пришел к научному выводу.

Он будет неполным, если не добавлю к нему еще и взгляд Антанты на широкие круги населения.

Потому что, знаете: vox populi — vox dei! [1]

Встретил я как-то крестьянина, который панскую землю запахивал.

Говорю:

— Что, дядюшка, панскую? А Антанты не боитесь?

— А дрючок,— говорит,— у меня для чего?

---

[1] Глас народа — глас божий! *(Лат.)*

Мы выправим!

Какую дату мы проворонили!!

Какую знаменитую дату!

Оказывается, 13 сентября этого года исполнилось ровно год, как мы имеем «благочестивейшего и самодержавнейшего государя и императора всея Руси...»

Кириллом императора этого зовут. Кириллом Первым...

Первым он называется потому, что Кириллов у нас еще не было.

Были всякие: вторые, и третьи, и первые, а это господь еще и Курилку (или вот Кирилку) послал...

Вот это самое его императорское величество Кирилл издал в прошлом году манифест ко всем верноподданным, в котором (манифесте) и провозгласил себя нашим императором.

А в этом году, значит, с того времени миновал год...

Может быть, кто не знает, что это за Кирилл?

Это тот самый очень великий князь, сын Владимиров, почти брат Николая Второго...

Тот самый, что в японскую войну не утонул во время аварии с броненосцем «Петропавловск».

Тогда о нем было сказано:

— ...«малиновое варенье» и в воде не тонет.

Ну, не утонул, вода, значит, не приняла...

А мы знаем, что все, что в воде не тонет, на царя годится.

Вот оно и пошло на царя.

Живет «господом данный нам государь» в Кобурге...

Народа, правда, сейчас у него маловато. Возмож-

но, там кухарка или горничная, но император надеются, что вскоре придут во «многострадальную Россию править ее многими людскими миллионами...»

О том, как они будут править, когда к нам придут, они и рассказали одному заграничному корреспонденту в день годовщины своего царствования.

Править собираются, спасибо им, не плохо.

Они имеют точные сведения, что мы уже здесь, под большевиками, пообрастали шерстью и бугаями ревем...

Так вот они придут, шерсть с нас остригут, придадут нам человеческий вид и зауправляют...

— Царь и народ! — они говорят.— Народ,— говорят,— русский не может,— говорят,— без царей жить,— говорят.— Народ русский кричит,— говорят,— «Дайте нам царя! Дайте нам царя!» Так вот я,— они говорят,— и жду подходящего часа, чтобы приехать и сказать: «Вот и я! Ваш царь!..»

Они восстановят частную собственность на основе основных законов российских.

Они против насилия, но русский народ так осатанел под большевиками за это время, что кто и знает, смогут ли они удержать его от эксцессов. Во всяком случае, говорят император, коммунистам и их пособникам вряд ли будет хорошо.

— Будет хорошо только русскому народу,— говорят император.

Как уж там получится с тем русским народом, если он пособлял коммунистам, не знаем. Царь сами об этом понятия не имеют.

Интереснейшее в речи царской то, как они о земельной реформе думают.

Его императорское величество заявляют:

— Теперь у крестьян слишком много земли. Они, бедняги, прямо падают от работы над землей, а обработать ее никак не могут.

Мы, император всероссийский, полагаем, что доведется, вероятно, дать крестьянам столько земли, сколько они могут обрабатывать. Не загружать наших верноподданных трудом непосильным...

Остальная земля пригодится...

Земля есть не просит...

— Мы верим,— говорят царь-государь,— что господь бог поможет в деле нашем великом...

* * *

Так вот это знаменитое событие мы прозевали!.. Царский юбилей прозевали!

Придется как-то выправлять, потому что неудобно, как-никак царя с годовщиной не приветствовали...

Вот что: мы выправим, когда уж он приедет...

Мы приветствуем!

Не забудет ни он, ни его императорские потомки.

Поприветствуем да еще споем:

Славься, славься...

Мы не гордые — прославим!

1923

До какой же погибели мы дошли!

За две недели (знаменитые две недели) мы, выходит, не пали...

Падали мы, можно сказать, уже совсем... Окончательно падали, и так падали, что никакая сила — ни земная, ни небесная — не была в силах остановить это падение, весьма желанное и весьма мудрыми вещунами предвозвещенное.

— Две недели! Вот-вот-вот! Только две недели! Падут!

Получается, как видите, уже восемь лет не пали... Хотя за это время, по мудрым пророчествам очень мудрых пророков, мы должны были пасть не менее чем 208 раз...

Не пали. Двести раз не пали...

А теперь научились не падать. За две недели не падем...

Названия нам, должен вам сказать, нашими врагами очень здорово подобраны:

Вот кто мы?

1. Узурпаторы.
2. Ярыжники.
3. Бандиты (красные).
4. Палачи (красные).
5. Взбунтовавшаяся чернь.
6. Дьяволы (красные).
7. И вообще сволочь (красная).

Вот это, значит, мы...

Что же мы делали все это время?

Одна-единственная была у нас работа:

«Вели страну к гибели...»

Если сложить о нас «предложение», то по синтаксису Петрова или Смирнова это «предложение» будет «слитным» и окажется примерно следующего содержания:

«Узурпаторы, ярыжники, палачи, взбунтовавшаяся чернь, дьяволы, и вообще сволочь, вели страну к гибели...»

В этом предложении 5 подлежащих и одно сказуемое.

Сказуемое — вели...

Куда вели?

К гибели...

Кого вели?

Страну вели...

Ну уж коли мы ее, «страну» эту, куда-то вели, значит, мы ее куда-то уже довели... До какой-то погибели все-таки довели.

Давайте поищем той погибели, до которой мы страну довели.

Какая-такая может быть для страны погибель?

По-нашему, вот такая:

1. Политическая погибель.
2. Культурная погибель.
3. Экономическая погибель.

Начнем с первой, с погибели политической...

Гибла уже наша бедная страна политически, до того, можно сказать, гибла, до того она погибала, что не выдержали гуманные сердца всех стран и на Западе и на Востоке и давай они нас признавать и де-юре и де-факто... И попризнавали...

Довели мы уже страну до окончательной, как говорят, «ручки»... Взять бы да и погибнуть себе потихоньку...

Не дали... Признали...

И теперь мы уже «международным объектом» являемся... Да еще и таким объектом, что Чемберлен себе бутылки с горячей водой к животу прикладывает.

Такова вот наша политическая погибель.

Давайте за культурную погибель возьмемся...

Так вот и начали мы культурно погибать.

— Погибаем?

— Погибаем!

— Ну уж коли погибаем, так давайте хоть грамотными погибнем.

— Давайте,— говорим.

И взялись мы за всеобщее обучение, взялись за ликбезы...

Погибать, так образованными.

Создавай школы, создавай вузы, создавай театры, музеи, дома крестьянина и хаты-читальни, издавай книги, издавай газеты... Погибель веселее будет...

Так вот теперь и гибнем...

К десятой годовщине Октября не будет у нас и вот-такусенького неграмотного...

Ляжем, газету или книгу в руки и будем погибать потихонечку. Культурно погибать будем.

Такова наша культурная погибель.

Экономическая погибель.

И тут мы точно так же гибнем...

Только опять-таки:

— А чего нам погибать без ничего? Давайте новые заводы строить. Давайте Днепрострой строить, давайте скооперируемся... Чтобы гибнуть было в чем. Погибая, хоть загрохочем так, что грохот по всему миру прокатится...

Так и взялись...

Днепрострой строим.

Заводы и сельскохозяйственные, и металлургические, и тракторные, и паровозостроительные, и вагоностроительные строим.

Кооперация создается.

Селяне в крик:

— Погибать — так с трактором.

Осточертело с плугами гибнуть.

И лопочут сейчас три тысячи тракторов на одной только Украине.

В самом деле: погибель с пшеничным хлебом, да с сахаром, да еще если и пан на тебя не смотрит — не такая уж страшная погибель. Гибнем с удовольствием. Пошли нам судьба и впредь такую погибель.

1925

Специально дворянский

Сегодня в дворянском собрании съезд.
(Из подслушанных разговоров.)

Что, если бы на сессию ВУЦИКа да пустить настоящего дворянина, с кокардой, с красным околышком на фуражке, со «Станиславом» в петлице и в николаевской шинели?

Умер бы!

Вот так посмотрел бы, схватился бы сразу за палку, потом за «Станислава», потом за лоб.

А потом покраснел бы, а потом посинел, а потом бы крикнул:

— Ввв...

А потом упал бы.

А потом захрипел.

А потом задвигал бы правой дворянской ногой, отдал бы богу милосердному свой дворянский дух.

И если бы на том свете тот дворянин встретился с харьковским предводителем, то заплакал бы.

И долго бы плакал дворянин слезами дворянскими.

— Помилуйте же душу мою, ваше превосходительство! В вестибюле нашего собрания — мужик!

— Ну?! Мужик?!

— Мужик, ваше превосходительство! В кирее, в шапке, в рваных сапогах, ваше превосходительство!

— Ну?! В шапке?!

— В шапке, ваше превосходительство! Трубку курит, ваше превосходительство!

— А на моем месте, на председательском?!

— Ой, ваше превосходительство, сидит... И небритый, нестриженый и... о позор! — без галстука, ваше превосходительство!

— И без погон?!

— И без погон!

— Ну, а как! Начинает как?! «Господа дворяне, на вас смотрит царь, на вас...»

— И не «господа», ваше превосходительство! И «на вас не смотрит»... А просто говорит: «Товарищи! Помещики, говорит, хищники, эксплуататоры...»

— Ой! А полицмейстер? Молчит?

— Молчит, ваше превосходительство... Да что молчит?! Кричит: «Правильно!»

— Сменить! Написать губернатору! В рог его, рак-калию, в бараний!

— И губернатор за них!

— К министру! К командующему войсками!

— И министр их! А командующий войсками вышел: «Товарищи, говорит, буржуазные эксплуататоры готовят новые каверзы...»

— Погоны с него!

— Без погон, ваше превосходительство... В блузе...

— Ну, а вы?! Что вы сделали?!

— Умер, ваше превосходительство!

. . . . . .

И долго еще бы капали слезы у Тигра и Евфрата, где находится еще и до сих пор не национализированный рай божий...

1922

С царями нехорошо

В Дании проводится тайный сбор пожертвований для бывшей царицы Марии Федоровны, так как аграрный банк, где были ее капиталы, прогорел и она осталась без ничего.

(Из телеграмм.)

Нехорошо с царицей...

Нищенствует царица...

«Августейшая», можно сказать, окончательно «задекабрилась».

Следует поддержать.

Всяк, кто верноподдан, обязан лепту дать. Какой-нибудь динарий или еще там что.

Все же «кесарево — кесарю».

А если «кесаря» вкесарили, значит, «кесаршино — кесарше»!

Нужно дать.

Следует поддержать.

А то ведь бедует.

«Русская государыня» — и без юбчонки. Да еще на Западе! Просто срам для русского народа!

А то послать бы ей какие-нибудь две-три тысячи (1923 г.) и имели бы:

«Пребываю к вам неизменно благосклонная.

Собственной ее импер. величества рукою начертано Мария».

Хорошо...

И ее реноме поддержали бы, и весь Запад по головке нас погладил:

— Вот хорошие люди! Вот как к своей династии!

А то подумайте только, царица вдруг да напишет:

«Мосье Пуанкаре! Не прислали бы вы царице несколько франков на чепчик, а то старый замызгался и неудобно верноподданным аудиенции давать.
Пребываю к вам неизменн. Мария».

Просто срам берет, когда подумаешь даже...

Следует поддержать!

Да и вообще нехорошо с нашей династией...

Кирилл пьянствует, у Николая (главнокомандующего), говорят, от седла геморрой, а Дмитрий Павлович день и ночь в очко режется.

А не забывайте, что каждого из них уже раз по пятнадцать на престол выбирали.

Цари, значит, а вот такое выкомаривают.

Неудобно.

Нужно им место дать.

Раз уж выбрали их царями, построить им по престолу где-нибудь в Москве.

Лезьте, мол, правьте!

Дать им рулон бумаги, пусть манифесты пишут.

Сопьются же, окаянные.

И в церквах пусть бы их поминали.

А то встретился знакомый диакон и жалуется.

— Не за кого,— говорит,— и «многая лета» как следует прореветь. Раньше, бывало, как начнешь: «Благочестивейшего, самодержавнейшего-о-о-о-го-го, великого-го-го...» Да как пойдешь-пойдешь, да все на «о», да на «о», да как допрешь до «лета», как попрешь «лета», то чувствуешь, что есть что переть, куда переть, и за кого переть... Аж окна бренчат. А теперь разве на одной «богоспасаемой державе» так попрешь?

Аж заплакал, бедняга.

А то попирал бы себе прямо трех сразу.

И царей бы выручили, и диаконам удовлетворение.

Нужно об этом поразмыслить...

1923

Ну и куда его?

В Болгарии революция. Царь Борис отрекся от престола.

(Из газет.)

Плохо, ей-богу, плохо быть царем.

Царствуешь, царствуешь, вдруг вот тебе — на! Наставляют колено, подталкивают — и лети!

Летишь, а тебе еще сзади:

— Катись! Катись!

И катись, потому что не покатишься,— все равно поддадут.

Покатился, значит, и остановился:

— Ну и что? Что делать?

Царем был — работы было не очень много.

Натянул мантию или там еще какую лихую годину, насадил на голову корону, взял в руки скипетр. И иди себе, головой, словно кобыла в «спасовку», покачивай.

Тебе отовсюду «ура», «слава» тебе летит со всех сторон, полицейскими нагайками подогнанная.

Хар-рашо!

Подадут тебе закон, покажут пальцем место, где нужно расписаться, ты себе тихонечко, будто волостной старшина, и выводи:

«Николай» или «Борис».

И все!

И жалованье доброе, и есть что есть, и жена не ску-

лит, и дети твои, царенята, не голодные... Просто не жизнь, а чай с сахаром...

А теперь что?

Куда пойдешь, кому скажешь?

Даже писарем в сельсовет не примут, потому новых порядков не знаешь.

И в комнезам не возьмут.

Может быть, на первых порах как-нибудь и втерся бы, так потом все равно вычистят.

«Примазался,— скажут.— Элемент!»

Определить бы общественных свиней пасти, так не упасешь, лихую годину. Поразбегаются.

О стаде я уж не говорю, потому оно же сроду коровы не видело, а молока захочет украсть, сядет, дурное, бугая доить.

А бугаи этого страх не любят.

Убьет, а всему обществу и отвечай.

Морока с этими царями безработными!

Ну, куда ты его приткнешь?

Не иначе, как воз песку купить — пусть в пирожки играет.

1923

«Пожалуйте!»

Сотый раз собираются монархисты в эмиграции на тайные собрания и в сотый раз рассуждают на тему «Когда позовет их народ...».

Именно так Савинков в газете «За свободу» и пишет.

Седьмой год, бедняги, тычутся по Европе, седьмой год про то же самое:

— Когда позовете?

А мы глухие... Мы народ — и хоть бы тебе «ха»!

Бессовестный мы народ!

Ну и покликали бы. Ну, что нам это стоит?

А то помилуйте же вы мою душу: великий князь Георгий Михайлович в Берлине лакеем служит!

Такой благородный, такой молодой, такой «великий» и такой князь, и вдруг на тебе:

— Вам с гарниром-с?!

Царица, и не какая-нибудь простая себе царица, а «августейшая» царица, в приживалках у датской королевы сидит и пятки ей чешет... За это и кормят!

Великий князь Кирилл Владимирович сырец пьет. Это после шампанских! Боже мой! Боже мой! Чтобы вот так после собственных винных погребов (да каких погребов?! Да с какими винами?!), после собственных министров «двора» да сырец с солеными огурцами?!

У Николая Николаевича, у «верховного», можно сказать, «главнокомандующего», командовать некем. Козой командует... Да и козу «верноподданные» подарили, так как его величество, кроме козьего молока, ничего не едят... Старые стали, голова облезла... Корону если ве-

черком надевают, бумаги подкладывают, а то до самого носа, словно решето, налезает...

А гетман?! Наш родной гетман Скоропадский? Бунчук уже проел.

Гетманские регалии в Берлине на базар носит — никто купить не хочет...

А какие все были...

Бывало, как едут! Или как идут!

Почета того, почета, да людей около них, людей!

А теперь вши едят...

А мы молчим!

Бессовестные мы!

Давайте позовем.

Просто так себе:

— Пожалуйте, ваши величества!

Жирные деньги на них заработать можно.

Вы же только подумайте,— если бы собрать их всех да, к примеру, хотя бы в «Миссури»... [1].

По сертификатам бы платили, только бы на них поглядеть...

Не умеем мы так, как за кордоном. Там даже помои и те используются...

1924

[1] «Миссури» — ресторан в Киеве.

Паскудное слово

Оно не очень большое то слово, но очень ученое и очень панское.

Чужеземное слово.

Называется это слово «и н т е р в е н ц и я».

А означает это слово... Ох, очень много для нашего селянина оно означает...

Если вдумаешься, так, может, только слово «царь» так много для нас значило, как «интервенция».

А что получится, если перевести это слово на простой наш крестьянский язык?

По-пански — интервенция, а по-нашему — насилие!..

Сколько же было того этого насилия за те времена, как закордонное панство проводило у нас «интервенцию»?! Когда проходили нашими полями да селами — деникины, врангели, колчаки, юденичи, французы, поляки, румыны, и т. д., и т. п.?

Сколько изнасиловано, сколько покалечено, сколько перепугано, сколько посходило с ума?!

По-панскому — интервенция, а по-нашему — убийство! Сколько селянских костей позапахано на нивах украинских, сколько их еще белеет по оврагам, лесам, по балкам и буеракам?!

По-пански — интервенция, а по-нашему — пожары, реквизиции, контрибуции, издевательства, пытки, грабежи, мобилизации...

Сколько пошло наших сел огнем и дымом?! Сколько разного горбом, пóтом да кровью нажитого добра селянского съедено, изгажено, перепорчено этими контрибуциями и реквизициями?! Сколько мордовали, пы-

тали, грабили паны и наймиты ихние по городам и местечкам, по селам и хуторам?!

А мобилизациями разными разве мало наше крестьянство утратило времени своего дорогого?! А подводами?! А бегством в камыши, в болота от «благодетелей» народных?!

По-ихнему интервенция, а по-нашему:

— Караул! Спасите, кто в бога и в черта верует!

. . . . . .

Вот такое то слово «интервенция»... Страшное слово! Не слово, а чума...

Так что, так и подарить?! Все это простить панам и паненятам?

Слишком богатый подарок...

Когда их турнули да имения отняли, так — доля ты моя — какой гвалт поднялся:

— Верните!

А мы все это опишем, подсчитаем, проверим да:

— Возвращайте и вы!

Кто кого ограбил? А?

. . . . . .

Вот и подсчитывайте, обращайтесь в комиссию, что называется «Помощь жертвам интервенции»...

Пусть знают и они, что это за слово такое:

«Интервенция».

1924

О рыцарях,
что животы своя
на алтарь отечества великого
собрались было положить

И бабахнуло в Сараеве...

И опрокинулся эрцгерцог...

И опрокинулись эрцгерцог австрийского престола апостольского, и пошел из них апостольско-эрцгерцогский дух...

И заворочалось...

И увидели дружественные державы, что у каждой из них нации угнетены... И нарушена во всех основах своих справедливость...

И начали державы нации эти подневольные освобождать и справедливость ту нарушенную восстанавливать...

Прицепляли справедливость ту к остриям штыков, к сорокавосьмисантиметровым снарядам и посылали их в соседнюю державу...

И наполняли справедливостью той и вызволением подневольных наций баллоны с газом, шипели справедливость и освобождение наций, туманом лезли через овраги, через буераки, через балки, через окопы в соседнюю державу, в очи, в нос и в рот угнетенных наций...

«Вызволяли» подневольные нации...

И гаркнули с высокого престола миропомазанник божий:

— Отечество в опасности!!

И поднялось дворянство:

— Спаси, господи, люди твоя.

— И благослови достояние твое.

— И «победы даруй»...

И кадили, кадили, кадили...

Кадили на «просительных», кадили на «благодарственных»...

И гул гудел дворянский от «Алтая до Кавказа, от Амура до Днепра»:

— До последней капли крови!

— Животы на алтарь отечества великого! Все животы!.. Покладем! Покладем! Покладем!

И стройными шеренгами пошли животы в фуражках с кокардами и алыми околышами на алтарь отечества, великого и неделимого отечества...

Пошли животы дворянские и дорогой приустали...

И сели животы дворянские отдыхать в земском союзе, в городском союзе, в военно-промышленном комитете, в Красном Кресте...

И сделались животы дворянские земгусарами. С погонами, в галифе и в сапогах со шпорами...

И защищали великое отечество.

Защищали, земгусарскими саблюками размахивались, земгусарскими шпорами позвякивали...

И громким гулом отечество наполнялось:

— И жен отдадим! И жен для отечества!

— И детей отдадим! И детей для отечества!

И жены ихние и дети ихние отмобилизовались. И жили себе в поездах, в госпиталях, в складах — патронессами...

Жили — воевали, от врага лютого защищались, земсоюзными пайками кормились...

И распевали тонко и распевали толсто:

— Спаси, господи, люди твоя...

— И благослови достояние твое...

— И «победы даруй»...

Аж до «победного конца»...

. . . . . .

Тысячи тысяч крестьянских, тысячи тысяч рабочих трупов.

А над ними пьяное:

— Спаси, господи, люди твоя.

— И благослови достояние твое...

И ладан, и смирна, и восковой чад.

Тысячи тысяч беженцев желто-зеленых и тысячи тысяч детских головенок — и долинами, и речками, и шляхами, и дорогами...

...Победу благоверному над супротивныя даруй...

И земгусарский всероссийский посвист...

. . . . . .

Животы несут... Все, какие только дома поотыскались: и старые животы, и молодые животы, и женские, и детские...

. . . . . .

Так и не донесли.

В земгусарах задержались.

Полверсты, может, только до алтаря и осталось.

А хорошие были животы: упитанные, плотные.

Так ни на что и перевелись.

Как напала после Октября на прекрасные животы «барыня»...

До сих пор бегают...

Только уже острыми те животы сделались, исхудали.

И алтаря нет.

Некуда положить.

1924

Когда-то и теперь

Что, если бы когда-то, при царе, во время какой-нибудь переписи, спросили бы тебя:

— Ты какой национальности?

А ты взял бы да и брякнул:

— Украинец!

Вот так штука была бы! И пристав мчался бы с колокольчиками, и исправник тарахтел бы с пристяжными — чтобы на такое диво дивное подивиться — на живого украинца.

А губернатор одну телеграмму отстукал бы исправнику:

«Доставить мне это чудо-юдо в губернию»,

а другую — министру внутренних дел:

«Честь имею доложить Вашему высокопревосходительству, что в селе таком-то один мужик украинцем назваться посмел. Уже сидит. Молебен за здравие государя императора отслужили. Жду указаний».

А министр — телеграмму-ответ:

«Выслать в 24 часа!»

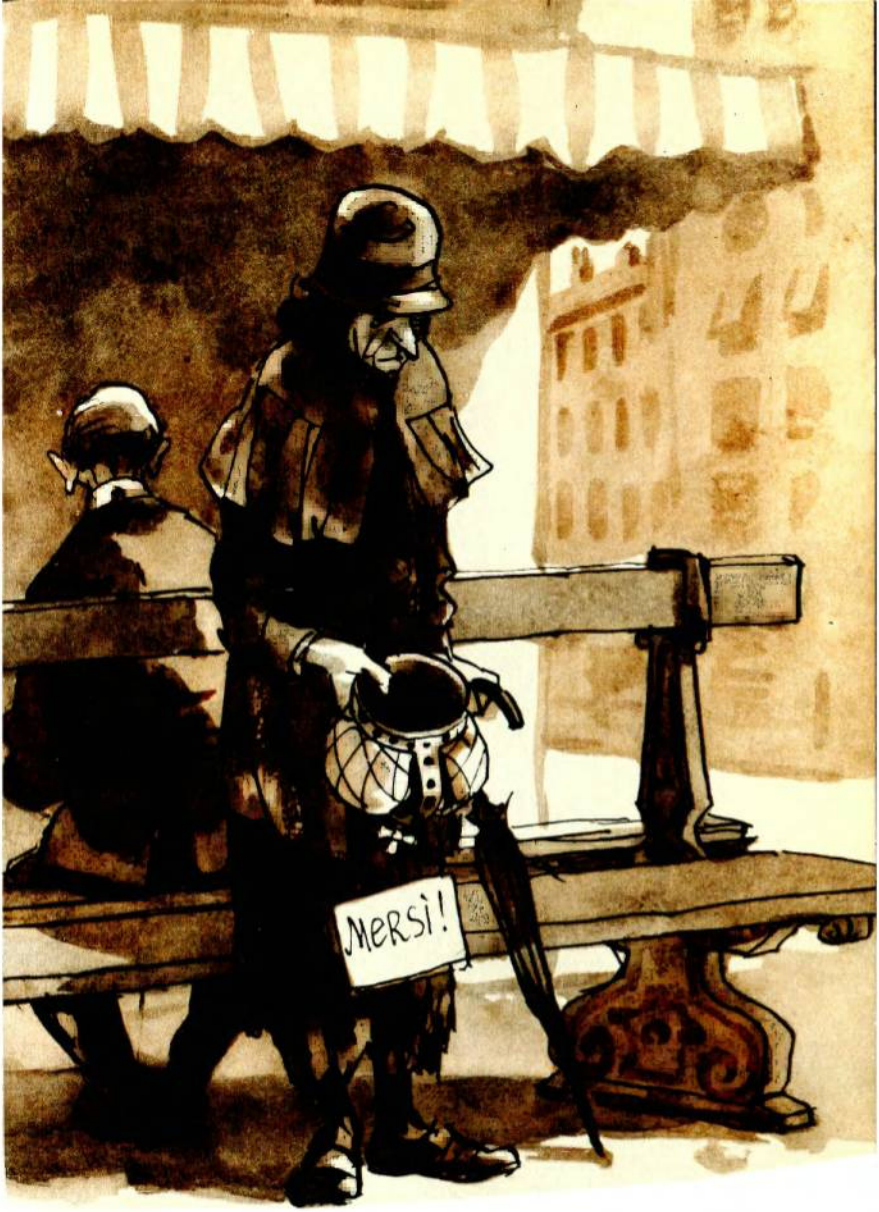
И был бы ты аж в Нарымском крае, кандалами громыхал бы.

А теперь мы и украинцами зовемся, и дома живем, и в школе по-украински учимся.

А вы вот спросите своего учителя, который учительствовал до революции, как ему было приказано нас учить.

Что ему было бы, если бы посмел он с детьми какую-нибудь украинскую песню разучить.

Он вам вот что расскажет...



«С ЦАРЯМИ НЕХОРОШО»



«КАК ОТ ГОЛОВНОГО АТАМАНА
ОДНА «МОГИЛА» ОСТАЛАСЬ»

Едва только послышится в школе украинская песня, батюшка в ту же ночь садится за стол и пишет инспектору народных школ:

«Ваше высокоблагородие, считаю своим пастырским долгом с прискорбием сообщить Вам, что появился в школе нашей гетман Иван Мазепа, который выделить намеревается Малую Русь из-под скипетра Великого Белого Царя. Дети в школе поют уже «Ой, за гаем-гаем, гаем зелененьким». В случае если не будут приняты неотложные меры, в селе нашем будет республика.

Ваш покорный слуга
отец *И. Пресвятобогородицкий*».

И вот (словно случайно) приезжает в школу инспектор.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Ну, как тут у вас дела?

— Да ничего.

— Поют детки?

— Поют.

— Можно послушать?

— Можно. До-ля-фа. «Боже, царя храни».

— А еще какие песни ваши детки поют?

— «Коль славен».

— А еще?

— «Во саду ли, в огороде».

— А местные, малороссийские — не поют?

— Бывает, что и свои споют.

— Ага... Ну, спасибо-с.

А потом — в учительской:

— Ну-с, вот что. Вы бы, пожалуй, подали бы прошение... пока — о переводе на хутор. Это я, только детей ваших принимая во внимание, не увольняю вас вовсе...

— Да за что же?

— Так, знаете, «для пользы службы».

И уедет себе инспектор.

А теперь...

Теперь и всеукраинский день музыки есть, не то что «Ой, за гаем-гаем...». Теперь мы — украинцы, и никто

никого об этом по телеграфу не извещает, и никто за это нигде кандалами не бряцает...

И уже десять лет!

И все будто бы так просто, что иначе и быть-то никогда не могло.

И живем мы, украинцы, и живут вместе с нами русские и немцы, болгары и поляки, молдаване и греки.

И каждый народ имеет свою школу, суд на своем языке и даже целые свои районы.

И за чубы друг друга не таскаем.

А перейдите-ка из нашего Подолья всего-навсего за реку Збруч — и сразу вас за решетку.

И сколько слез и крови надо пролить, чтобы добиться своей украинской школы! А есть ли хотя бы в той же Польше украинский суд?

А напишите вы там какое-нибудь прошение по-украински — что с вами там сделают?

. . . . . .

Вот вам и революция!
Вот вам и Октябрь!

1927

Как от головного атамана одна «могила» осталась

(Сказка)

Петлюра, который последнее время жил в Польше, на днях бежал оттуда с паспортом на имя Степана Могилы.

(Из газет.)

Жила себе, была себе великая Петлюра.

Жила себе эта Петлюра в Польше, панам пятки лизала. Украину продавала, головным атаманом себя называла, денежки народные в Варшаве проедала, «войско» свое в Польше за колючей проволокой истязала, на Украину воротиться желала.

Жила себе и жила...

Кабинеты министров созывала, рады разные собирала, «универсалы» к «своему» народу писала — все потому, что на Украину воротиться желала.

Желала, желала, желала, желала...

Сидела и желала.

Сидела Петлюра, сидела и желала, а того и не ведала, не знала, что уже в «могиле» обеими ногами стоит.

Четыре года желала... Вдруг — гоп! — и она уже не великая Петлюра, а великая Могила...

Понабежали польские паны, паны шляхетные, те самые, что Петлюру угощали да привечали, одевали-обували и золото ей давали. Глянули — нет головного атамана Симона Петлюры, а сидит перед ними Могила...

— Пропали,— воют,— наши денежки!

— Пустите,— бормочет Могила,— пустите меня, паночки, в Венгрию... Я там сам себе курган насыплю...

— Сыпь! — говорят паны.— Чтоб тебе и вдоль и поперек хватило. А нам кто деньги отдаст?

— Пусть вам Петлюра,— говорит Могила,— отдаст... А я Могила!.. Голый! А с голого — как со святого...

. . . . . .

Стоит курган, петлюрина могила, на венгерской земле.

Воробьи на нее прилетают, хвостиками машут и чирикают:

Поганая Петлюра
Панам лизать умела,
Панов она любила,
Да с тем и околела...

1924

Мы — такие!

Американцы были взволнованы страшно: приехала делегация советских ученых-почвоведов.

Большевистские ученые!

Чем их угощать?

Что они едят?

Как к ним подступиться, как с ними держаться?

Подойдешь к нему, а он еще накинется, цапнет, да голову и откусит...

Суеты было... Страху было. Трепету...

А не пойти, не поглядеть — нельзя: как-никак — делегация. И с другой стороны — интересно: живые ведь большевистские ученые...

Большевистские!

Лютый народ!

Кроме как про «зверства», разговоров и не было и быть не могло.

Пошли. Встречали.

Детей попрятали. Жен попрятали. Впереди — те, кто посильнее. Сзади — те, кто послабее. И — в панцирях...

А вот и советские ученые.

Академик Глинка, профессор Соколовский, профессор Виленский...

— Не выходите вперед, сэр! Одиночку-то сразу схватят! Если кого-нибудь есть начнут, защищайте все! Один за всех и все за одного!

. . . . . .

Разочарование было большое: ни на кого большевистские ученые не накинулись и никого не съели...

До того растерялись американцы, что в газетах пропечатали:

«Нет в облике академика Глинки ничего большевистского».

А ведь академик Глинка — глава делегации!

Ну, а если уж глава никого не съел, то о членах и говорить не приходится!

Люди как люди.

Пассаж!

Большевики — народ очень хитрый: все-таки одурачили американцев...

Американцы думали: большевики такие наивные, что запросто покажут свою звериную суть.

Как бы не так!

Американцы и знать не знали, что наша делегация перед поездкой в Америку целый месяц живыми детьми питалась и кровь горячую пила...

Чтобы в Америке не хотелось...

И еле вытерпела...

Говорили нам члены делегации, что хотели они было одного американского журналиста съесть и уже было зубы ощерили, да вот помешало им, что чем-то очень противным от него несло...

— Терпели,— говорят,— пока уж домой вернемся...

А вот приехали — так до сих пор живое мясо едят, никак не наедятся.

Очень уж соскучились...

. . . . . .

Мы — хитрые.

1927

Тем, которых с Украины повымели

Не знаю, как мы с вами, читатели наши, назовем тех, которых Красный Октябрь за пределы Украины, ну, «попросил», что ли,— так, наверно, надо сказать, чтобы они не обиделись.

Праздник у нас сейчас, так мы уж повежливее выражаться стараемся.

Да и зачем нам ругаться? Мы лучше к ним обратимся так, как им и полагается:

«Паны и господа».

И скажем им:

«Несмотря на все ваши старания, паны и господа, не пали большевики, а вместе с ними все рабочие и крестьяне, не пали через две недели, как вы и писали и говорили.

Не пали они даже и еще через две недели.

Представьте себе, что и после этих вторых двух недель они тоже не пали.

И вот так за все десять лет революции не пали они ни разу и ничего с ними не случалось каждые две недели.

Прожили они в полном здравии целых десять лет, живут и дальше и опять-таки не кашляют.

Живут, стало быть, большевики, а с ними вместе — рабочие и крестьяне.

Как живут?

Жить под большевиками, если уж вам правду сказать, очень тяжело.

Вы ведь сами знаете, что большевики — звери, а не люди.

Видели вы когда-нибудь живого большевика?

Это ужас.

Зубы у них большие-пребольшие. И острые.

Как сделает вот так: «Ам!» — так аж мороз по коже пробирает.

Живых детей едят.

Ей-богу, правда!

В каждом селе сидит в ячейке такой большевик, каждый месяц председателю сельского Совета декрет пишет:

«Завтра — новолуние. Приказываю доставить мне оттуда-то девочку трех месяцев от роду. Я ее съем, потому что без человеческого мяса жить мне никак нельзя».

Сколько уж тут плача материнского, сколько крика! Да ведь ничего не поделаешь: нужно дать. И дают!

Вы ведь из нас всего только каких-нибудь 300 лет кровь пили, а эти, поди, и за 1000 лет не успокоятся.

Боже наш, господи!..

Да разве это все?

А что они с вашими усадьбами да с землею сделали!

Крестьянам роздали. Роздали и кричат:

— Обрабатывай! Уродится — ешь или продавай.

Крепостное право вернули.

И несчастные крестьяне теперь землю обрабатывают. Всю. И свою, и бывшую помещичью.

Вот ведь они какие, большевики!

И это тоже еще не все.

Когда-то были у нас и исправники, и земские начальники, и губернаторы. Да кого только у нас не было, что нами управляли!

А большевики прицепились:

— Сами собой управляйте! Сами над собой командуйте! К нянькам привыкли. Мы — вам!..

И приходится теперь страдать: то в сельсовет тебя выберут, то в исполком, а то и в самый ВУЦИК или даже в ЦИК СССР.

Вот и езжай тогда в столицу, вот и заседай! Ну ладно бы еще так: позаседал бы немного — и все. Так нет же: скажи им, как государством управлять, подскажи, как хозяйство наладить, посоветуй, как с финансами, как со школами, как то, другое, десятое.

Вы, спасибо вам, сами нами управляли, никогда, дай бог вам здоровья, нас не спрашивали, что нам нужно, что надобно... Отдашь, бывало, вам последнюю корову и живешь потихонечку, как бог велел.

А уж если, бывало, найдется такой, что скажет вам, что ему нужно, так вы уж, спасибо вам, пошлете его или в Вологодскую губернию, или в Нарымский край. Сидит он себе там тихо и мирно и не шевелится.

А теперь? Отдохнуть тебе некогда. Радио это по селам завели, спать не дают.

До того мы поистощились, до того поизмотались, что как про все вспомним, так не то что за дубину, а за оглоблю схватиться хочется.

И это за десять лет.

Всего только за десять.

И как оно дальше пойдет, знать не знаем, гадать не гадаем.

Ну, а вы-то там как?

Целуете князей и гетманов?

Целуйте и дальше, пошли вам, господи, длинные губы да скользкий язык.

Чтоб, поцеловав, еще и лизнули.

Князьям да попам это очень приятно.

Прощайте!

С десятой вас годовщиной житья вашего зарубежного!»

1927

Лучше земля, чем купчая

Помещички наши шевелиться за границей начинают.

Вот уж проели-пропили все, что от нас повывезли, и снова в ту сторону поглядывают, где Украина. Поглядывают и видят зеленые нивы, крепкие хозяйства и много-много косцов и пахарей, жниц да полольщиц.

Снятся панам их былые сады, резвые кони, горы сала, масла и меду, сундуки с червонцами.

И точь-в-точь, как утопающий за соломинку, они за последнее цепляются.

А может, мол, хоть что-нибудь перепадет из былого добра...

Письма крестьянам пишут.

Хочется им, видите ли, знать, как там их хутора, их имения, что в них да кто в них.

Никак примириться не могут с тем, что все это уже не их.

Все еще купчие перепрятывают, любуются на них каждое утро и вечер каждый, молятся на бумаги, потому что нет для этих господ на свете ничего дороже, чем купчие.

И острым гвоздем в головах помещичьих засело:

«Все еще может быть... все еще может...»

Получил крестьянин Балковой Г. К. письмо от своего помещика, который в Польшу сбежал,— от Бубулы.

Пишет пан Бубула:

«Забудем, что между нами было, мы уже все забыли, претензий к вам не имеем, а так как вы на нашей земле осели, мы предлагаем вам эту землю купить. У нас

и купчая на руках, так напишите ж нам, как вы смотрите на такое наше предложение...»

Купчая, видите, у них на руках, значит, и хутор их...

Вот и написать бы им:

«Дорогой наш, незабвенный пан!

Купчая у вас, а земля у нас. Вы себе сейте пшеничку на купчей крепости, а мы уж на земле сеять будем. На том и порешим.

Целуем вас от высокого неба и до сырой земли.

Будьте здоровы и не кашляйте.

С почтением».

Вот и все.

Будут с купчей хлеба или не будут — это еще бабушка надвое сказала. Ну а с землицы-то будут — это уж точно.

1927

И мы—лорды!

Нет уж, что вы там ни говорите, а страна мы все-таки о-о-о-чень отсталая.

В хвосте мы, товарищи, плетемся, и в длиннющем хвосте...

Если сравнивать с заграницей, конечно.

Ох, и отстали же! Лет, поди, на пятьсот!

Бомбы там в 125 пудов весом делают, да в две сажени длиной, да в сажень шириной... Ахнет такая бомбочка — и десятисаженная ямища сразу вам...

Танки там уже летают. Имеет этакая «таночка» двенадцать пулеметов и две пушки. Пишут, что пятьдесят таких «игрушечек» за один раз могут дотла уничтожить такой город, как Нью-Йорк, Париж или Лондон.

Но это еще ничего. Это им необходимо, потому что они, все эти державы, дай бог им здоровья,— все они против войны, все они пацифисты и все они единодушно за «восстановление разрушенного войной мирового хозяйства».

А само собой разумеется, что без танка и без бомбы на сто двадцать пять пудов народного хозяйства не восстановишь.

Мы — головорезы, мы — висельники, у нас нет ничего святого, мы — похитители, так что нам, собственно, нечего заглядываться на их танки.

Потому что если все эти пацифисты сунутся «восстанавливать» наше хозяйство, все равно какая-нибудь сотня из какой-нибудь тердивизии выкрикнет:

— Даешь летающий танк!

И «дадим»... И будет эта «таночка» у нас летать...

Да станет еще смотреть на нее «казачище» в буденовке и ладонью будет «таночку» эту похлопывать:

— Что, голубушка, залетела?! Это тебе не Америка! Мы по-быстрому приземлиться заставим!

Так что танки будут у нас, когда надо будет...

Интереснее другое.

Возьмем, например, Англию.

Вот-вот перейдет там власть в руки рабочей партии...

Макдональд — премьер, остальные «рабочие» — портфели разные поразберут...

И что же?

А то, что не смогла рабочая партия большинства на выборах добиться, Макдональд тут же к королю и — стук-стук:

— Ваше величество, пожалуйте лорда! И коллегам — тоже что-нибудь в этом роде...

Вот что такое англичанин.

А мы?

Семь лет сами государством управляем, семь лет полновластные хозяева.

— А кто у нас правит?

— Товарищ Петровский!

— А кто он такой?

— Рабочий-металлист!

— А кто еще?

— Товарищ Чубарь!

— А кто он такой?

— Рабочий-металлист!

Или (еще лучше):

— Кто?

— Одинец!

— Кто он?

— Крестьянин!

— Имущественный ценз?

— Свитка, штаны ситцевые, шапка-ушанка, кошелка плетеная да посох.

— Ну что за власть?!

Дать ему немедленно «лорда»!

А на самом-то деле, жалко нам, что ли?!

Дать ему и лорда, и графа, и дона, и фона, и пэра!

Пускай тогда померятся с нами силами!..

. . . . . .

Это, по-моему, самое главное задание VIII съезду Советов!

1927

„Божеское"

АТЕИСТИЧЕСКИЕ
И БЫТОВЫЕ ЮМОРЕСКИ
20-х ГОДОВ

Сотворение мира

(Научный труд.
Точнее, научно-популярный.)

Раньше на земле не было ничего. Точнее, не «на земле» не было ничего, а вообще нигде не было ничего... И земли не было. Пусто всюду было... Ну, не выйти тебе никуда, не выехать...

Был бог... Сам господь Саваоф... Где он был — неизвестно... Но был... Был он нигде... Ведь тогда ничего не было. На этом «ничего» бог и сидел... Летал... Где летал — неизвестно... Ибо тогда воздуха не было... Но летал, ведь на то он бог... А раз он бог, значит, он мог летать, хоть и негде было летать... Летал-летал бог, куда ни посмотрит — темно... Черно всюду... Хотя и этого «всюду» не было, ведь не было ничего... Темно богу, хотя тогда и темноты не было, ибо темнота появилась тогда, когда уже узнали о свете... Пусто было, хоть и пустота появилась только тогда, когда уже знали о непустоте...

Одним словом, осточертело богу летать в чем-то, чего не было... Посмотреть бы, где летаешь,— нельзя, потому что не на что смотреть, а смотреть хочется, хоть и хотения тогда не было... Положение безвыходное, хоть и положения тогда не было...

Оглянулся бог на все стороны, хоть и сторон тогда никаких не было...

Одним словом, как гаркнет бог:

— Да будет свет!

Это был первый день, хоть и дней тогда не было.

И стало всюду светло... Светло-светло...

Поглядел бог: светло... А не видно ничего, ибо не на что было глядеть...

Глядел-глядел бог...

— Что ж,— изрекает,— и дальше летать?!

Крылья болят, хоть и крыльев у него не было...

— Нужно,— говорит,— квартиру себе подыскать!..

А где ее найдешь? Жилотделов тогда не было...

Эх ты, беда! Тогда как гаркнет бог:

— Да будет небо! Да будет твердь!

Как закрутилось-закрутилось-закрутилось (хоть и крутиться нечему было), и выкрутилось небо... Выкрутилась и земля. Твердь!

Полетел тогда бог на небо, сел (хоть и садиться было не на что), погладил бороду и говорит:

— Ну, теперь дело на все сто процентов пойдет.

— Ну-ка,— говорит,— земля — направо, а вода — налево! (Хоть и воды тогда не было...)

Отделил он воду от земли...

— Ну-ка,— говорит,— земля, выращивай растения разные!

Как попер из земли спорыш, как попер из земли подорожник!

Начали расти дубы, ясени, березы...

Растут, и растут, и растут. И до сих пор растут.

И солнца нет, а они растут.

— Растете? — спрашивает бог.— То-то же и оно! Ну, не беспокойтесь — сейчас солнце будет. И луна сейчас будет! И звезды будут!

Взмахнул бог рукой — и верно: как засияло солнце, заблестела луна, замерцали звезды...

Было это ночью (хоть и ночи тогда не было), а солнце светит, и луна светит, и звезды светят...

Вообще такого бог понаделал, что и до сих пор удивительно.

Это был уже четвертый день.

Считал бог, хотя и чисел тогда не было.

На пятый день устал бог, смотрит — воды масса, леса выросли, и хоть бы тебе одна рыбешка, и хоть бы одна пташка...

Эх ты, побей меня бог!

— Ну-ка,— говорит бог,— зашевелись, рыбешка! Ну-ка,— говорит,— зачирикайте, пташки...

Минут пять только прошло, как ударила рыба хвостом о воду, как защелкал курский соловей. «Закуковала та сива зозуля», «Ой, сел пугач на могиле», «Летит галка через балку», «Крячет ворон»... Одним словом, рыба и птица пошла...

На шестой день сидит бог и думает:

— Все есть! А зверей нет! И людей нет! Кто же мне свечки будет лепить? Кто же мне молебны будет служить?

Махнул рукой — побежали разные зверьки!

А потом схватил кусок глины, плюнул, замесил, слепил человека, дунул на него. Чихнул первый человек и сразу:

— «Слава в вышних богу!» Здравия желаю, ваше превосходительство!

— Нет,— говорит бог,— так меня не величай!.. Царских генералов так будешь величать, а мне пой: «Святый боже, святый крепкий!..» Ложись, Адам!

Лег Адам!

Схватил бог Адама за ребро... Дернул... Выдернул ребро... дунул.

— Получай Еву! А я лягу спать!

Весь седьмой день проспал бог.

А на восьмой встал, посмотрел, покачал головой:

— Ох и понаделал же!..

. . . . . .

Вот и вся история сотворения мира... Не новая она, правда, но последнее время ее забывать начали.

Я напомнил...

Напомнил для того, чтобы не забывали... А то скоро страшный суд, и неприлично будет жариться на сковороде за то, что забыл главнейшие божьи дела. Ибо все, что бог делал потом,— ерунда против его первых дел, которыми он так прославился всегда, ныне, повсечасно и на веки вечные.

Аминь...

1923

Дела небесные

И прилетел архангел Михаил на небо...
И постучался архангел Михаил к богу...
— Кто?
— Михаил.
— Заходи.

. . . . . .

— Ну! Рассказывай, Мишенька, как там, что там? Что слыхал? Что видел? Где бывал? Миропомазал? [1]

— Эх, боженька! Мне бы не говорить, а вам, боже, не слушать...

— А что такое?

— Да... Полетел это я, как вы приказали, в Москву... Новую власть на царство миропомазать... Благодать на нее напустить... Зашел в Кремль...

— Нельзя ли,— спрашиваю,— повидать того, кто у вас тут самый старший?

— А тебе,— спрашивают,— по какому делу?

— От бога я... С неба... Миропомазать бы... Всюду так... Верховную власть всегда мазали... Благодать напускали... И теперь — вот в Англии, в Бельгии, в Италии, в Японии и по другим странам еще мажем... Надо бы и у вас... И так запоздали — думали, не удержитесь...

— Лети,— говорят,— дальше... Некогда как раз... У нас теперь съезды, совещания — не до тебя... Киш! После прилетишь! Велено никого не пускать, кроме делегатов.

---

[1] Миропомазать — совершить обряд помазания миром — благовонным маслом.

— А ты что же?

— А что мне было делать? Пошел к Тихону [1]...

— Ну, как святитель?

— Поросят святитель откармливает... Бедствует, сердечный! Достатки небольшие... Сергия Радонежского моль выела...

— То-то же от Тихона последнее время молитв не слыхать.

— В печали владыка... Только и славы, что белый клобук. Без штанов сидит: на муку променял... «Зазвоню,— говорит,— в колокол и гляжу: справлять ли службу или нет... Так иногда какая древняя старушка приковыляет. А все пасомые на заседаниях... Грустно...»

— А вообще что владыка поделывает?..

— Дерется владыка. С властью дерется. Власть ценности церковные для голодных отбирает, а владыка не дает. «Не единым хлебом,— говорит,— жив будет человек, а словом, что из уст божьих выходит...» Силен в текстах владыка...

Власть к нему и так и сяк:

— Голодные умирают... Владыка, опомнитесь!

А владыка им (ох, и непоколебим же в вере Христовой!):

— «У вас голодные хлеба просят, а вы им камень, да еще не малый: каратов в тридцать — сорок».

Одним словом: евангелием их, евангелием!!

Там такое поднялось, такое поднялось...

Рассказал я ему, по какому делу...

— Э,— говорит,— сейчас и не суйся... Да и вообще не советую. А там,— говорит,— как знаешь. Полети попробуй на Украину. Там тоже верховная власть есть. Может, там повезет.

Ну и полетел это я на Украину.

Пришел к власти. Название какое-то чудное. ВУЦИК называется.

И не благочестивейший и не самодержавнейший, а всего только ВУЦИК.

Спрашиваю самого старшего. Пустили. Ничего себе

---

[1] Тихон — глава православной церкви, выступил в 1922 году против декрета Советской власти об изъятии церковных ценностей для голодающих.— *О. В.*

человек: тихий такой, чернявый и в очках. В годах уже. Поклонился я ему и говорю:

— Я от бога к вам. Насчет миропомазания и благодати, потому как вы верховные.

— А вы,— спрашивает,— кто? Рабочий?

— Ангел я...

— Квалифицированный? Какого цеха?

— Я не цеха. Лики мы ангельские...

— Лыко дерете? Ага... А в профессиональном союзе состоите? На голодных отчисляете?

— Нет,— говорю.— Я миропомазать... С миром я...

— А я,— говорит,— разве с боем?.. И я с миром... Что хотите? Говорите коротенько.

— Я и говорю: миропомазать вас хочу, благодать бог посылает через меня. Вот и хочу...

— Ага... Вот оно что... Сам не могу решить. Оставьте заявление... Надо проголосовать. Как президиум. Ага, вот и президиум... Вот и хорошо. Подождите.

— Товарищи! Тут вот ангел от бога, хочет миропомазать. Как быть? Мое мнение: необходимо создать комиссию из представителей Наркоминспекции, Наркомпрода и Женотдела...

— Это еще что? Зачем комиссия? (Это секретарь так.) На Чернышевскую его, там его миропомажут...

— Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы на Чернышевскую? Все... Ладно... Товарищ,— говорит,— обратитесь по этому делу на Чернышевскую [1]...

— Позвольте,— говорю,— хоть благодать пустить...

А секретарь:

— На улице пустишь... Тут и так душно...

Пошел я на Чернышевскую. Встречаю батюшку. Идет с «вещами» да все крестится. Думаю: «Наш». И к нему:

— А вам,— спрашивает,— чего?

— Так и так,— говорю,— миропомазать, благодать...

Оглянулся он по сторонам — и ко мне:

— Лети, голубь. Лети лучше и не оглядывайся! Боже тебя сохрани и помилуй. Удирай, пока не поздно, а то тут тебя так миропомажут...

---

[1] На Чернышевской улице в Харькове — тогда столице УССР — находилась ВУЧК — Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.— *О. В.*

Полетел над Украиной. Побывал в Киеве. Зашел к св. Софии, да такого насмотрелся, такого наслышался. Церковь — не церковь... Театр — не театр. Епископ молодой, на голове английский пробор... Стоит и молодицам подмигивает. Служба, словно «Вечорницы» художника Нищинского, ничего я не понял.

— Ну, а народ молится? Не замечал?

— Замечал. Молятся. Только молитвы какие-то новые. Все в тех молитвах перепуталось. Какая-то молитва и «в бога», и «в Христа», и «в печенки-селезенки»... А чаще всего «в мать». Грустно, боже... Испаскудился народ... Не слушает вас...

— Кого не слушает? М-е-н-я? Да я его!!! Кликни Илюшку! Пускай громы делает! Зажги молнию!!! Я им покажу!

— В Илюшкиной колеснице, боже, ось сломалась... Спичек нету... Чем зажжешь? Гаврило на завод «Серп и молот» пошел — может, дадут коробочку в долг.

— Ну иди. Позови Иисуса.

— Иисус просил не беспокоить: евангелие переделывает. В том месте, где это: «Аще кто тебя ударит по правой, подставь тому и левую», переделал: «Аще тебя кто ударит по правой щеке, схвати скорей дубину и побей его, сукиного сына, в щепки...»

— Попроси матерь божию.

— Матерь божия все плачет... «Дожила,— говорит,— до того, что юбки исподней уже нет, чтобы по раю прогуляться... И на земле, говорят, жизнь пошла на нет. От духа сына родила... Какая от духа радость: ни прижаться тебе, ни поцеловаться...»

— Вот вспомнила старуха! Ну иди. Пускай Маруся Египетская забежит.

— А что с миром делать? Может быть, продать? Бочка до предела полна: через край льется...

— Умащивай в Англии, в Бельгии. В Японии умащивай.

— Не хотят уже. Говорят, что все мантии в пятнах, с плешей каплет. Придумайте что-нибудь. А то молодежь вчера на мире яичницу жарила... Илья как-то колесницу подмазал... Павел сапоги чистит... Сплошной грех...

— Придумаем...

— Звали меня, боженька?!

— Что же это ты, Марусенька, забыла обо мне? Уж никогда и не забежишь...

— Скучно у вас, боженька... Старенький вы уже стали... А у нас там Георгий на гармошке играет и такую веселую распевает:

Эх, Распутина любила
Д' к Распутину ходила
Саша поздно вечерком!

— Лучше бы там дракона давил да за жеребцом глядел, чем на гармошке наигрывать... Жеребец весь в коросте, а ему игрушки... Не нагулялся в холостяках?! А ты тоже хороша. Раньше забегала...

— Э, раньше?! Раньше и вы, боженька, какие были? Сильные и грозные! За семь дней вон чего наделали. Вселенную создали... А теперь?..

— Что теперь?! Да я!..

— А теперь только... щиплетесь...

1922

Страшный суд

И заревели трубы архангельские... Разверзлись небеса... Треснула земля и раскололась... Раскрылись могилы... Повыскакивали косточки одна за другой, покрылись плотно мясом, связались... Подуло душами... Быстренько вскакивают души в тела соответствующие. Просыпается народ православный и рысцой бежит, по дороге застегиваясь... На суд страшный спешит люд божий, мужской и женский, стар и млад, бородатый и бритый, зело грешный и светло праведный и так себе средний, соглашатель, который одно воскресение — в автокефальную, а другое — в православную.

В сиянии золотом, на престоле высоком сидит грозный бог Саваоф. Одесную — Христос.

И смолкли трубы.

Встал грозный Саваоф:

— Все ли собрались? Домкомам проверить под личную ответственность!

— Все, господи!

— Судить буду вас по делам вашим. Слушай мою команду: «Которые овцы — направо, которые козы — нале-е-ев-о!»

Лавиной двинулись все в правую сторону.

Впереди всех вприпрыжку ударил, пожалуй, чуть ли не самый смиреннейший, пожалуй, чуть ли не самый святейший, по милости божьей, патриарх, раб божий Тихон, владыка и Великой, и Малой, и Красной, и Белой, и Прикарпатской...

Молнией сверкнули глаза Саваофа. Громом разорвался воздух:

— Верните Тихона!!!

В митре диамантовой, с крестом смарагдовым, в ризе, золотом вышитой, склонил голову свою перед судьей владыка и Большой, и Малой, и... и...

— Куда побежал, Тихон? Кто ты еси, Тихон?!

— Баран есмь я, господи! Овца кроткая...

— Козел еси ты, Тихон!

— Баран есмь я, господи!

— Козел еси ты, Тихон! Просили... Давал?! Умирали... Спасал?! Притесняли... Защищал?! Плакали... Утешал?!

— Да, господи... Давал, спасал, защищал, утешал... Деникину давал... Колчака спасал... Юденича защищал... Врангеля утешал... Потому «никто больше не имать... душу свою отдаст за друзи своя».

— А дети? А матери? Миллионы трупов? Тихон, забыл «легче верблюду...»?

— Не верблюд я, господи!

— Кто ты еси, Тихон?

И тихий, робкий голос из толпы:

— Позволь, господи, я скажу. Я смиренный раб, епископ Нафанаил, владыка харьковский и ахтырский. Я скажу, господи, только чтоб в газеты не попало. Никогда в газетах не выступал.

— Говори.

— С одной стороны, господи, так: помочь нужно... А с другой — великолепие твое, о господи...

— Не крути! Говори, что должны были делать?

— Господи...

Крикнул и умолк.

— Кто же вы есть?!!

...Тихой походкой подошел к престолу господнему Георгий Победоносец:

— Позвольте доложить...

— Ну?

— Я, как начветсанупр хлевов твоих, господи, обязан засвидетельствовать, что эти животные ни к од-

ному из выше упомянутых типов не принадлежат. На основании долгих наблюдений выяснилось: поведением — лисы, характером — волки, телом — кабаны, плодовитостью — кролики, голосом—канарейки. Отец—Распутин, мать — ведьма с Лысой горы. Питаются рыбой. Сибирская язва не берет...

И отошел.

И долго, долго сидел Саваоф... И думал.

— Кто пасет?! Кто пасет?!

И встал всевышний. Махнул безнадежно рукой.

— Не могу... На землю... Пускай трибунал... Все по гробам!.. Суд потом... Назад!

1922

«Божеское»

Стоит божеское на горе на крутой... Поближе к «всевышнему»...

Если ехать из Полтавы в Кременчуг, то слева, у станции Козельщина, высокий бугор церквами и обителями сплошь уставлен, и далеко-далеко со всех четырех сторон видно то место «божественное» средь широких кременчугских степей...

Это Козельщанский женский монастырь указует православным, как пробиться в царство небесное, «где по раю будешь гулять, ангельские песни распевать, яблоки райские рвать, душеньку свою услаждать»...

Это прославленный монастырь, самый чудотворный, может, на всю Полтавщину, ибо есть там Козельщанская божья матерь, что исцеляла, просветляла, калек на ноги подымала и т. д. и т. п.

Здорово эта икона чудотворила и начудотворила большие дома, мельницы, маслобойни, сады, коров, лошадей, птицы всякой и десятин, десятин, десятин...

Окружили те десятины степью широкой маленькую, старенькую, черненькую икону, алмазами и самоцветами украшенную, а она среди степи ладаном пахла, восковыми свечами сияла, склоняла православных на колени натруженные...

Опускались православные на колени, челом морщинистым оземь били, а потом мозолистыми руками разворачивали платочек или за пазуху лезли, доставали двугривенный или пятачок и бросали чудотворной:

— На чудо!

— За чудо!

— За живых!

— За мертвых!

А чудотворная пятаки собирала, «чудеса» творила, что ни год обзаводилась либо новым алмазом, либо новыми десятинами...

Такая маленькая, черненькая, старенькая...

— А с того, мой голубь, и пошло. Граф Капнист тут жил когда-то, еще и слобо́ды не было. А у графа Капниста была дочка. Кра-а-а-сива, мой голубь, дочка была да пригожа... И захворала молодая графиня хворью тяжкой. Не ходила она, сердешная: ноги у нее отняло... Сколько перебрали дохтурей! Куда только ее не возили! И в заграницу, и в Петербург, и в Полтаву... Не исцеляется графиня... И уже ей сделалось вовсе худо... Помирает графиня... Тогда говорит она близким своим:

— Дайте мне икону вон ту, приложусь я и помру!

Дали ей икону, что у графа в дому висела, она перекрестилась, приложилась... И исцелилась... Сразу ноги заработали, и руки сразу заработали...

— Так сразу, бабуся, и заработали?

— Сразу, мой голубь, и заработали... И с той поры пошли чудеса. И видимые и невидимые. Всякие чудеса пошли... Монастырь построили... Народу, народу кажен год... А она, милостивая, висит да чудеса творит...

— И до сих пор творит?

— Нет, теперь времена-то какие! Отобрали землю, богатство отняли!

— Разгневалась, что ли?

— Разгневалась, видно. Спаси нас, царица небесная, заступница наша милосердная!..

Не бывает теперь чудес в Козельщанском монастыре: земля отобрана, добро разное отобрано, а без земли да без денег трудно чудеса творить...

Впрочем, силы «господней» еще хватает, чтоб прокормить триста человек христовых сестер. И прокормить хотя и «скудно», однако, достаточно, чтоб и хвалу

всевышнему громогласно возгласить и выскочить за ограду или под ограду монастырскую, с молодым парубком обняться...

Настолько еще сила чудотворная действует...

На десятины, на алмазы уже, что и говорить, не хватает...

. . . . . .

Ладаном от монастыря пахнет.
Как от покойника...
Ищешь надпись: «Здесь монастырь почиет».

1925

«Гипно-баба»

Гипноз.

Вещь, как знаем, очень таинственная и далеко еще не исследованная.

Чудеса профессоров-невропатологов не один раз заставляли волосы подыматься дыбом и глаза широко раскрываться.

Все это такое непонятное, такое «потустороннее», такое диковинное...

И кто бы мог подумать, что где-то в небольшом селе, за пятнадцать верст от железнодорожной станции, живет человек, нагоняющий страх и на мужчин, и на женщин, и на малых детей своей таинственностью, никем и ничем не объяснимой силою, своим этаким страшным «сглазом...» «Неисповедимы дела твои, господи!»

Вот идет она — страшный человек,— идет по улице, путая ногами, опираясь на палочку, идет и клянет свою невестку: та вытоптала у нее траву, и она никак не отберет у нее полклуни, которую присудила ей районная земельная комиссия.

Простая такая баба, подумаете вы...

Вот сидит перед вами человек, пола, очевидно, женского, в свитке, в полотняной юбке, босая, с головой, укутанной в большой серый заплатанный и перезаплатанный платок, и смотрит на вас одним выцветшим глазом и рассказывает, причитая, о жизни своей безрадостной...

Простая баба, подумаете вы... Нет, граждане, не такая уж простая баба, это страшная баба, это «баба-

коровница», которая уже семьдесят лет с гаком пугает местное население...

Она такая баба, что, если встретите ее, значит, обязательно какая-нибудь беда с вами стрясется...

Она такая баба, что, если перейдет вам дорогу, лучше возвращайтесь домой: все равно несчастье будет...

Вот какая баба...

Кличка «коровница» ничего общего не имеет с ее таинственной силой: ее муж когда-то у барыни коров пас...

Таинственная баба...

Идет «баба-коровница» через площадь... А оттуда пастухи галопом летят, аж ветер шумит.

— Куда вы, хлопцы?

— Оббегаем, чтобы «баба-коровница» дорогу не перешла, а то телята все молоко повысосут.

— Обязательно повысосут?..

— Беспременно!

Так и знайте: повысосут.

— Чего это вы, Иван Демьянович, домой едете? Вчера ведь говорили, что в лес по дрова отправитесь на целый день.

— Я и ехал, но «баба-коровница» дорогу перешла. Вернулся домой: все равно или ветка прибьет, или опрокинусь по дороге, или кони понесут...

— Обязательно?

— Беспременно! Вот вы смеетесь, а я на себе проверил... За снопами поехал... Перешла она мне дорогу... А думаю, черт тебя побери, поеду... Поехал... И что б вы думали: опрокинулся... Опрокинулся и дышло поломал. Вот какая она...

И хоть кого расспросите о бабкиной силе, все в один голос:

— Таинственная баба! Или глаз у нее такой, или в каком другом месте та сила у нее сидит, а что сидит, так это точно... И не говорите...

И пошла демонстрация бабкиной силы: и оси ломались, и шкворни лопались, и ободья распадались, и дышла перекашивались, и лошади несли, и волы метались, и телята высасывали, и... и... и...

Бесчисленное множество примеров...

Силы у той бабки — неисчерпаемые залежи.

И направлена она исключительно во вред люду православному...

Сила у нее, что бы вы там ни говорили, от черта! Не иначе!

Я скептик. Я не верил и усмехался про себя, когда мне рассказывали о страшной силе «бабы-коровницы».

А оказывается, люди правду говорят: не смейся... никогда не смейся...

Не соврали люди.

Пришлось мне как-то поехать на почту...

Едем... Вот Андрей Васильевич и говорит:

— Черти «бабу-коровницу» несут!

— Будет что-то?

— Будет...

Так и вышло. Заехали мы в Песках в сельскохозяйственный кооператив колбасы купить... Взвешивает нам приказчик колбасу... Едва только отрезал, как она из-под ножа хлюп — и в мед!

И ели мы сладкую колбасу... А колбаса с медом — не булка с медом, сами знаете...

Я и говорю:

— Не «баба ли коровница»?

— Она! Хорошо еще, что не в деготь! Могла бы и в деготь плюхнуть...

Вот какая баба!..

. . . . . .

Гипнотическая баба... Гипнотизирует издалека и руками над вами не размахивает...

И гипнотизирует...

— А мы ей верим! Вот какие мы!

1925

И моего меда капля

По решению синода предложено приходам ознаменовать годовщину Октябрьской революции торжественной службой во всех церквах.

I

Событие историческое, что и говорить,— Октябрьская революция!

И если тезоименитство его императорского величества государя императора и самодержца и т. д. и т. д. отмечали всенародным молебствием, то, само собой разумеется, за Октябрьскую революцию возблагодарить отца и сына, а заодно уж святого духа, следует.

Итак, подписываюсь обеими руками и обеими ногами под постановлением синода...

Но.... есть, к сожалению, и здесь свое «но»...

Я думаю, что божественная служба в честь Николая не подойдет для Октябрьской революции...

Потому что, ну, сами подумайте, станут молиться. И за царя и против царя одна и та же молитва! Это «во-первых — раз»! А «во-вторых—два» — запутается бог.

— Что, скажет, за чудеса?

И может не принять молитвы. И может получиться не молитва, а холостой выстрел... И свечек понаставим, и ладаном покурим, а ни царствия тебе небесного, ни доброго здравия в делах рук и ног наших...

А по-моему, молиться, так уж молиться, чтоб было и «ниспослано», и, если нужно, «упокоено» как следует, и «подано»...

Следовательно, молитва должна быть соответствующая... Приспособленная к случаю.

Приспособим...

Это я так, к примеру. Моя цель — подать идею, а детали, мелочи всякие...— уже дело ВЦУ [1] или там собора епископов, что ли...

II

Возьмем литургию...

Начинать «Благослови, владыко!» уже не годится.

...Выходит дьякон, в красных ризах, затканных пятиконечными звездами, и возглашает басом:

— Про-о-о-ле-тарии всех стран, со-е-ди-ня-а-а-йтесь!..

Священник с алтаря:

— Да здравствует пролетарская революция ныне и присно и во веки веков.

Хор гремит во всю мочь:

— Да-а-а-а-ешь!

Начинается большая ектенья:

1. Коллективом господу помолимся!

Хор, разумеется: — Господи, помилуй!

2. За СССР, УССР, БССР, ЗСФР и прочие ССР господу помолимся!

(...Господи, помилуй!)...

3. За рабов божиих — ВУЦИК, СНК, Госплан, УЭС, ГПУ господу помолимся!

(...Господи, помилуй!)...

4. За махортресты, табактресты, кожтресты и прочие тресты, и за мыло-сало-содо-синдикат, и за жиркость господу помолимся!

(...Господи, помилуй!)...

5. «Ножницы», борьбу с самогоном, сокращение штатов, налоги, биржу труда, финотдел, УНИ [2] — Христу-богу предадим!

(...Тебе, господи!)...

6. Стабилизации золотого червонца, освобождения от налогов, товарных рублей, сто процентов прибыли, пятьдесят процентов снижения цен — у господа молим!

(...Подай, господи!)...

Потом, значит:

— Елицы оглашеннии изыдите, да никто же из огла-

---

[1] Высшее церковное управление.— *О. В.*

[2] УНИ — Управление недвижимым имуществом.— *О. В.*

шенных елико революционеры, паки[1] и паки коллективом господу помолимся!

Когда «изыдут», значит, оглашеннии, можно уже и за «Херувимскую» браться...

Вместо «Херувимской» лучше всего, если б духовенство с архиереем во главе вышло на середину церкви и бодро гаркнуло:

Мы молодая гвардия
Рабочих и крестьян!

Евангелие...

Ну здесь, пожалуй, можно взять первую главу «Азбуки коммунизма».

Концерт:

«Вставай, проклятьем заклейменный...»

«Многая лета» — оставить.

Кому «многая лета»?

Не старому, конечно, а всему новому...

...Что еще там?

Да остаются уже детали, самые мелочи, которые легко приспособить к празднику...

Я уже говорил, что это лишь наметка, только идея... Но, если ее сочтут достойной внимания, комиссия всегда может рассчитывать на мою помощь...

III

Вот еще что нужно не забыть.

Церемониал службы... На литургию следует пригласить т. Петровского, и т. Чубаря, и т. Ермощенко, и вообще всех наркомов, членов коллегий и т. п., отвести им почетные места и напомнить, чтоб прибыли непременно в треуголках...

А то приедут в кепках, и вся торжественность насмарку...

Кооперации и трестам можно явиться в цилиндрах, а правительству неудобно.

Делать, так уж делать.

А то — или бог молитвы не услышит, или Октябрю не угодишь.

1927

---

[1] Без «паки» невозможно.— *О. В.*

«Воскресение Христово»

О том, что Иисус Христос в конце концов воскреснет, человечество знало давно, так как в одной молитве ясно сказано:

«И воскресшего в третий день по писанию...»

Значит, событие настолько знаменательное, что «писание» его предвидело и предсказало за много веков до того часа, когда дева Мария родила от духа сына своего Иисуса...

Видно, поэтому воскресение Христа и явилось для людей такой неожиданностью, и многие люди — а среди них даже апостолы — не верили, в самом деле воскрес Иисус или не воскрес.

Итак, воскрес ли Иисус Христос?

Несомненно, воскрес!

В самом деле, если бы не воскрес Иисус Христос, да разве б мы готовились к этому празднику семинедельным «великим» постом?

Разве б мы целых 42 дня ели пустую редьку с квасом, чтобы потом налететь с раззявленным ртом на поросенка, на яйца, на колбасы, на ветчину, на куличи, на курицу и на индюка, на самогон да наливки и настойки Укргосспирта «довоенного качества»?

Воскрес, безусловно. И это великий праздник.

Воскресение Христово — праздник воскресения из мертвых, праздник, как утверждает христианская религия, жизни. Это любимейший и торжественнейший праздник в христианской религии.

И торжественнейший и любимейший он потому, что является символом жизни, символом претворения мертвого в живое.

Из-за этого самого претворения мы, христиане, колем на праздник больших свиней, режем маленьких поросят, бьем обухом массу быков и коров с ласковыми, покорными глазами, перерезаем горло маленьким телятам, кладем на колоды головы кур, гусей и индюшек и, размахнувшись большим топором, отрубаем с праздничным восторгом эти головы.

А потом вытираем горячую кровь с топора или с ножа, крестимся и религиозно провозглашаем, как после каждого «богоугодного» хорошо оконченного дела: «Слава тебе господи, слава тебе!». Богу же это дело угодно потому, что исполняем мы его, почитая воскресение из мертвых святого его сына.

...А вот и сам праздник...

Мы этих поросят, телят, кур, индюшек, ягнят — в кошелку и под церковь.

Там через кропило и кадило нисходит на них благодать божья, они «святятся»...

И как только батюшка пройдут около вашего кошеля и окропят вашего поросенка святой водицей, вы хватаете поросенка, яйца, куличи, жинку, Ваньку, Одарочку, бежите к возу, отвязываете кобыленку, скачете на воз:

— Н-н-но!

И галопом смалите к себе на хутор, приезжаете и, не выпрягая даже кобылы, бросаетесь в хату, швыряете в угол кнут и, восклицая «Христос воскрес!»,— опрометью за стол.

Жена, разматывая поросенка, отвечает:

— Воистину, Степане! Сейчас, сейчас! Запуталось окаянное порося! И яйца потолклись! Говорила тебе, не гони так, а то потолчем! А тебя черти гнали! Воистину воскрес!

— Да выбрось, к лихой године, битые! Давай быстрее!

Потом креститесь:

— Послал господь святой праздничек!

Одну чарку, вторую, третью, четвертую...

И с каждой чаркой:

— Христос воскрес!

— Воистину!..

— Христос воскрес!

— Воистину!..

Видите... Значит, это не брехня, что Иисус Христос воскрес из мертвых...

И каждый из вас, кто глубоко верит в воскресение Христово, ежегодно, после пасхи, просыпается на четвертый день и хриплым голосом обращается к жене:

— Палазю, дай сыворотки...

А выдув полбадьи сыворотки, говорит:

— Ф-ф-у-у! Будто из мертвых воскрес!

. . . . . .

Так что это не брехня!

Колите, режьте, бейте, гоните, пейте и ешьте, раз вы личность религиозная.

1924

Поспешайте, православные!

Не оставляет-таки нас господь милосердный своей лаской.

На Киевщине, около славноизвестного Борисполя, новое знамение господь послал... Верба заплакала святыми чистыми слезами...

Стояла себе зелененькая на болоте вербочка стоеросовая, и в темную ночку, святую и господнюю, треснула вербочка...

Из трещины той вербовой слезыньки потекли. Господние слезы...

И текут, и текут, и текут...

Православные, само собою разумеется, двинули на господние слезы к той вербочке...

Двинули и «исцеляются» от хвороб разных, потому господь милосердный уж если послал у нас на Украине чудо, то не так, лишь бы послать, а с определенной, сказать бы, производственной, программой... То ли глаза православным подремонтировать, или зубы, или лихорадку, или там какого-нибудь мертвого воскресить, или черта из Ивановой дочки вытурить так, что черт тот бедолашный пылью по дороге, только — мельк, мельк, мельк!.. И так вроде завоняло немного, и в балку. Только дымок закурился...

Бориспольская верба от глаз очень помогает...

Придет какая-нибудь бабуся, перекрестится разика три, помочит палец в вербовой слезе и по глазам, по глазам, по глазам...

И глаза у нее тогда мокрые... То были сухие, а то сделались мокрые...

Одно слово — чудо!

Вот такое диво около Борисполя... А чудо то господь послал за то, что бориспольцы не очень в школу ходят, выдерживают... Хотя и хочется ребенку в школу, а батько и мать (они же старшие, значит, и поумнее) не пускают. Вот господь и наградил их чудом.

Ну, значит, и возблагодарим творца за ласку его святую...

Возблагодарим и используем знамение господне на все сто процентов...

Мазать теми слезами только глаза маловато...

Нужно все мазать...

Чтобы от всего помогало.

Вот, к примеру, чирей у вас на спине... Но спина — штука большая, может слез не хватить.

Тогда делайте так. Задирайте юбки, разгоняйтесь, и спиной об ту самую вербу... Чирей ваш как рукой снимет...

Если голова болит, разгонитесь и головой — гэх!

Пройдет голова.

Только подоприте с другой стороны вербу оглоблей, а то собьете ее, так как, наверняка, у всех, кто к той вербе идет, голова болит.

Только не тяните время... Чтобы быстрее перестукаться об ту вербу головами, это будет лучше и вам и детям вашим.

1924

До каких же пор?

Народится такое синенькое, маленькое и пищит...

— Девочку бог послал...

— Девочку?

— Ага...

— Лучше бы хлопец!

Вот так и пойдет. Только и слышишь: «Лучше бы хлопец!»

И гусей пасет, и коров пасет, и лошадей в ночном. Да еще рушник или рубашку вышивает. А парень в это время цигарку крутит. И все-таки: «Эх, если бы хлопец!»

Вырастет, день-деньской по хате толчется, спины не разгибая.

А отец выйдет на завалинку, трубочкой попыхивает и жалуется соседям:

— Тебе, Иван, хорошо: два сына! А мне-то каково? Марина да Ульяна. Бабье войско!

Годы идут, а она все стирает, шьет, вышивает, прядет, варит... и ждет, ждет, пока какой-нибудь «принц» в картузе набекрень с папироской в зубах сплюнет и небрежно так процедит:

— Может, я тебя, Ульяна, посватаю... Еще не совсем надумал... Может, тебя, а может, Ониську... Погляжу еще...

Потом все же находится какой-нибудь «принц» на ее голову. И ходит по хате важный, как индюк.

— Наварила?

— Сорочку выстирала?

— А свиньям вынесла?

— А сапоги мне почистила?

— Ты мне не того... А то я тебя того...

А потом заводится и у нее маленькое, синенькое и пищит.

Она к «принцу»:

— Может, ты бы, Степан, ребенка подержал, пока я хоть причешусь.

— Ты его выродила, ты и держи. Оно мне без надобности.

И так всю жизнь!

Девчата! До каких же пор оно вот так будет?!

1926

Не подгадьте, православные!

Веселые времена нынче наступили в селах...

Храмовые праздники всюду пошли...

И воздвижение, и раздвижение, и всех пречистых, и покрова, и Семена, Михайлов, и Андрея, и Митрофана, и Кузьмы с Демьяном, и казанской, и астраханской...

Гуляй — не хочу!

Святые знали, когда и «воздвигнуться», и когда «успеть», когда и «омофором покрыть», когда и какой иконе чудотворной объявиться...

В уборку урожая никто из них не объявлялся... Никогда этого не было... Оно, возможно, и на небе как раз уборка урожая, где там тогда о «покровах» думать, когда нужно снопы вязать...

Отжался, отмолотился, отсеялся — вот тогда можно и за чудеса...

Вот когда народ отдыхает понемногу от трудов праведных, оно тогда самый раз чудо сотворить. Да и закрома полны, вот и перепадает «детишкам на молочишко» тем, кто около чудес ходит...

Вот нынче в селах во все колокола бьют, храмовые праздники справляют...

Так вы ж, православные, не подгадьте!..

Храмовать так храмовать...

«До положения»:

Чтобы знал бог, чтобы знали все святые, какие мы верные...

Поддержите веру православную на все сто процентов, а то хиреет она, сердешная.

Пейте так, чтобы сразу видно было, что вы веры святой не забыли...

Вот только то плохо, что долго в церквах в такие дни службу справляют... Если бы побыстрее. А то трудно выдержать.

Оно, положим, можно и до службы клюкнуть — так боязно: может неприятность произойти... Захочется, к примеру, подтянуть «Иже херувимы», а оно как начнет запевать:

И-и-и...

И-и-и...

И-и-и...

Пока до того «же» дойдет, можно забыть, о чем речь, и такое понести:

И хлеб печи,
И телят пасти,
Когда же мне, господи,
Василя найти.

Неудобно...

Вот одно только это и неудобство храмовых праздников...

А так — время подходящее, чтобы и икалось, и пелось, и чтобы из носа кровь капала...

Подходящая, одним словом, пора — «пострадать за веру православную»...

Валяйте!

1926

Как меня печать подвела

(Факт)

Сегодня наш день. Хоть один день в году, а все же наш. Целиком наш, со всем гамузом, со всеми потрохами. Сегодня можно о себе... О своих делах, о печати; что бы вы там ни говорили, а мы все-таки печать!..

Так, значит, о себе...

Сегодня, как на духу, расскажу вам, как меня подвела печать, то есть, печатное слово, как оно, это слово, положило меня на обе лопатки, как я вытаращил глаза, долго хлопал ресницами, а потом плюнул и выругался...

Так вот, слушайте. Имейте в виду, что это только сегодня и больше никогда никому я этого не расскажу. Ни за что на свете.

То, что когда-то случилось со мной в поезде, когда я в купе разговорился о литературе с каким-то незнакомым мне инженером, и тот инженер, перебирая украинских литераторов, меня персонально (не зная, что это я перед ним) так крыл, так крыл, что я и ерзал, и вертелся, и окно открывал (да еще поддакивал, так как считал неудобным самого себя защищать),— все это по сравнению с тем, как меня подвела моя книжка совсем недавненько,— мелочь...

Есть у меня одна юмореска: «Охрана здоровья народного». Вошла она в сборник моих «Сельских усмешек». Высмеиваю я там сельских «наркомздравов», бабшептух, а высмеивая, даю образцы их «лекарств», их мо-

литв разных от сглаза, от бешенства и от всего такого прочего...

Написал я ту усмешку когда-то и подумал:

«О! Добью я все же эти предрассудки! Пропали теперь бабки Палажки, потому как высмеял я их круто...»

И что бы вы думали?...

Недавно получил я письмо от одного библиотекаря из одного небольшого украинского города.

И пишет он мне о таком происшествии.

Приходит к нему в библиотеку старенькая бабуся и говорит:

— Дайте мне книжечку Остапа Вишни, ту, что там про баб-шептух написано.

«Удивился я,— пишет мне библиотекарь,— что такая древняя старушка и интересуется новой литературой...

— Зачем вам книжечка, бабуся?

— Перечитать хочу.

— Откуда вы знаете, что есть такой писатель и что у него есть такая книжка?

— Знаю. Дочка моя работает на кирпичном заводе, так она брала у вас ту книжечку и читала дома вслух...

— Так что, вам так понравилось, что еще раз перечитать хотите?

— Э, нет! Не то, чтобы она мне понравилась, а там такие хорошие молитвы понаписаны от болезней разных. Как брала дочка книжку, так у меня как раз бешиха была... А там молитва от бешихи такая хорошая! Как помолилась я тогда по той книжечке, сразу отпустило меня! А теперь меня колики донимают, да такие, что ни чихнуть, ни дыхнуть. Так там, говорят, и от коликов есть молитва, дайте, пожалуйста!»

. . . . . .

Ну?!

Как вам это нравится?!

Убил, называется, бабку Палажку! Высмеял!

. . . . . .

Я люблю печать!

Но на этот раз я плюнул и выругался!

Ну разве можно вот так подводить?

1927

Обновляются ли?

Часто спрашивают:

— Правда ли, что иконы обновляются и чудеса разные творят?

А как же! Конечно, правда! Обновляются. И очень даже часто обновляются. Целые церкви обновляются, не то что иконы...

Так вот — стоит-стоит себе церквушечка — и ничего, а потом вдруг как сверкнет-блеснет! — и прямо так и ослепит.

А как же это получается?

Ангел обновляет.

Чаще всего ночью это бывает.

Вот так — висит себе икона, ангел потихонечку подходит, берет тряпочку, немножечко мела или тертого кирпича и обновляет...

К утру икона — как новенькая.

Только ангелы-то сами теперь уж не такие, как раньше были. Раньше бывали они молодые, белые, а нынче постарели, бороды у них повыросли. Ангелы теперь либо ктиторами церковными служат, либо попами.

Так что все правда.

И чудеса такие бывают. Бывают, бывают, и не какие-нибудь, а настоящие!

Сам видел одно такое чудо, великое чудо!

Обновилась у одного человека икона.

Не было раньше в его закромах ни крошки.

А вот после «обновления» так и начало зерно в его амбар ломиться, так и полетели к нему паляницы и деньги, что уж и не вмещаются нигде, пришлось батюшке половину отдать!

Разбогатели оба: и батюшка и тот человек...

Разве ж это не чудо?

. . . . . .

Так что все это — истинная правда.

1923

Джунгли

Расскажу я вам, товарищи, сон.

А может, и не сон это, да только очень мне хочется, чтобы сон это был. Ну, в общем, пускай будет: снилось мне...

Снилось мне, будто на Харьковщине, верстах в семи от сельского центра, в двадцати — от районного, верст за сто от окружного центра, среди степи, в ложбинке хуторок притулился — дворов этак на тридцать.

В степи вьюжно, в степи буран, а в хуторе заметы, в хуторе тоскливо воют собаки и гудит в дымоходе-болдыре нечистая сила.

Проехав верст тридцать, весь в снегу, вымерзлый, с сосульками в носу, с задубелыми от холода пальцами, я как бы всовываюсь в хату к постояльцу того хутора, пятидесятилетнему гражданину УССР, что вместе с вами и со мною переживает тринадцатый год нашей революции социалистической.

Хата. Потом хатка деревянной перегородкой разгорожена на две хатенки.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Ну и метет!

— Да уж метет!

Разматываюсь и вижу: из второй хатенки в дверном проеме выглядывают десять детских головенок. Я даже разматываться перестал.

— Что это такое? — спрашиваю.

— Это наши дети.

— Сколько же вам,— спрашиваю хозяина,— лет?

— Пятьдесят восемь.

— А вам, тетка?

— Не знаю: то ли сорок, то ли пятьдесят.

У тетки под грудью гражданин месяцев так с пять или шесть.

Сосет что полагается и причмокивает...

Пятидесятивосьмилетний гражданин говорит:

— Это Алешка, меньшой наш... Шестой ему месяц пошел. А двух дочек уже замуж отдал.

— Не двух, а трех,— поправляет тетка.

— Разве три их?

— Знамо, три.

— Скажи на милость, а мне все сдается, что две.

— Трех выдали, две остались, да такие, что аж плачут — замуж!

А это все малышня. Вон Ульяна, то Дунька, а там Петро, Роман, Михайло, Митрофан, а это вот Ванька, за ним — Наталка, а то Галя... А это Алешка.

У Алешки выскользнуло изо рта это самое, и он громко заплакал.

— Цыть, Алешка, цыть! Да цыть же, говорю! Помер бы ты, что ли!

В болдыре гудит и высвистывает нечистая сила. Десятеро детей кашляют. Кашляют надрывно, взахлеб. Кашляют без передышки.

И в пароксизме кашля надрывного срывается с лежанки босой Ванька (а может, то Михайло, Митрофан, Наталка или Галя) и бежит во двор «до ветра».

— Да вы что? Так же погибнут дети! Босиком в такую лютую завирюху во двор?!

Мать:

— Да разве ж то во двор? Оно же только за порог, и назад.

Отец:

— Да леший их не возьмет! Перекашляются! Соседи и то диву даются: да что за дети, говорят, у Митрофана: и не умирают тебе и не болеют тебе...

— А в школу ходят?

— Не! Нема у нас школы.

— И все неграмотны?

— Все!

Меня начинает душить кашель.

И тогда под аккомпанемент раздирающего десять глоток кашля мы начинаем разговаривать.

Про все говорили. И про село и про город...

— Газеты читаете? (Отец умеет читать, когда-то отбывал службу в войске.)

— Не.

— А я привез.

Мать:

— Петр! Смотри, газетка! Вот накуришься!

Отец:

— Курят уже, сукины сыны!

Рассказываю о городе. Рассказываю обо всем, что в городе.

Мать:

— А скажите: и фасоля у вас на фунты? И горох?

— И горох у нас,— говорю,— на фунты и фасоль на фунты.

— О господи! Да разве ж фунтами насытишься?

Тогда мне рассказывают о самом наболевшем: о хлебе.

— Ежели бы не отбирали!

— А зачем он вам, коль излишек имеется?

— А так...

— Да и не отбирают же, а покупают.

— Так-то так, да вот...

Укладываемся спать.

Мать:

— Я б это вас и молочком попотчевала, да высосал клятый теленок. Как на грех и сегодня чисто все высосал и давеча...

Отец:

— Так смотрят, сукины сыны!

Петро:

— Привязывал же, да коротко, чтоб ему сдохнуть!

Митрофан:

— Теленка коротко привязал, а корову — длинно, вот он и высосал.

Ложимся.

На сон грядущий длинно рассказывает мне хозяин, как украли у него давешним годом десять мешков («да

новых же, новехоньких»), и как все ходили к ворожее, и как она на карты бросала да на зеркале ворожила и сказала:— И не ходите далече и не шукайте, а смотрите через две хаты.

И как в воду глядела.

После заснули.

Я не спал. Я слушал, как мучились в пароксизмах кашля десятеро неграмотных детей на тринадцатом году революции, и думал о культурной работе. О национально-культурной и интернационально-культурной. И по всем извилинам мозга моего плыла прекрасная фраза прекрасного поэта:

Темная моя отчизна!

И я высчитывал, во сколько раз толще оковы культурного порабощения оков социального порабощения. И когда упадут первые, если вторые упали тринадцать лет назад?

А наутро, еще не рассвело, приветствовал меня хозяин с добрым утром:

— Доброе утро вам! Пошел это я ночью до ветра, сходил, лег да подумал: нелегко вам там, в городе, жить, ежели все купленное! О!

А в степи буря, в степи вьюга, на хуторе тоскливо воют собаки, а в болдырях гудит нечистая сила.

1930

Чудо

— «Вербные слезы господни». Что такое «вербные слезы»... Вон в Лентратевке чудо свершилось. Вот это чудо! Такое чудо, что все эти «слезы вербные», все «обновления икон», «кровь господня» с креста калининского — так все это детские игрушки против лентратевского чуда. О!

— Расскажите, голубчик!..

— Слушайте... Как раз на Полупетра, после полудня, солнышко уже на вечернюю полосу наклонилось, выгнала Килина корову свою Лыску со двора. Поить выгнала. Гонит себе, покрикивает, хворостиной помахивает...

Ветерок небольшой повевает... И вдруг на дороге как завоет, как загудит, засвистит... Два черта за чубы схватились — такой вихрь. Как закрутило, закрутило, закрутило. Царица моя небесная... Как подскочит к Килине — да так ее юбку кадкой и поставит. И как крутанет ее на месте мельничкой и... подхватит вверх. Зажмурила несчастная женщина глаза, перепугалась и шепчет:

— Да воскреснет бог и расточатся врази его.

А оно ей в рожу как захохочет да как закричит:

— Хо-хо-хо! Не расточатся, Килина!

Она глаза мельк — и видит: Лыска, корова ее, так же вверх вихрем летит рядом с ней. Ревет и хвостом крутит...

— Прощайте, деточки, мои голубоньки! Ухватили черти вашу маму... За грехи, должно быть, за тяжкие...

И слезы у Килины из глаз — горохом.

И Лыска мычит, словно выговаривает:

— Прощай, телушка моя черная с пробелом. (Она в Юрьев день как раз телку рябенькую привела.)

И слезы у Лыски из глаз — фасолью.

Летят Килина с Лыской куда-то в неизвестность и горько плачут...

Вдруг Лыска как замычит яростно, как заревет... Глядит Килина, а что-то как ухватит Лыску за рога, как дернет — так и сорвало у нее рога. Сорвало, плюнуло на них и Килине на лоб приставило... Они так ко лбу и прилипли. А потом как ухватит Лыску за хвост и как потянет. Глядит Килина, а у коровы только кончик болтается. Крутит она так кончиком, как малярной кисточкой. Подлетает тогда что-то к Килине, разматывает каемку, стягивает юбку и хвост ей лепит. Прилепило хвост и как ухватит за чепец, сорвало чепец — и к Лыске. Натянуло на нее чепец и юбку и как загогочет, аж внутри у Килины похолодело. Хочет бедная женщина что-то крикнуть, а изо рта вместо слов вылетает:

— Мму-м-у!

А Лыска, слышит, по-человечески богу молится.

— Да воскреснет,— говорит,— бог и расточатся врази его.

Превратилась Килина в корову, а корова — в Килину.

Загоготало, завеяло еще сильнее и потянуло во двор... Килину в хлев заперло, а Лыска пошла в хату...

Стоит Килина в хлеву... Лечь бы — так навозу, навозу, навозу... Помету, помету, помету. Пройтись бы — тесно, и ноги вязнут. В яслях сечка и объедки из лебеды...

«Холера бы взяла,— думает она,— такую хозяйку, что вот так за коровой следит. Сама, должно быть, там на подушках разлеглась, а тут по колено в навозе топчешься. Не коров вам держать, хозяева неряшливые... Козу, а не коров, да и козы не стоите. Хозяйками называются. С чего я тут молока им дам...»

Только она так подумала, как вдруг двери скрип — и Лыска входит с подойником.

— Подвинься, чертовка. Ребра выставила.

И подойником по коленям.

А затем:

— Мыня-мыня-мыня.

«Господи,— думает Килина,— и когда уж она додумается без теленка меня доить? Ведь теленок только молоко портит».

Глядит Килина на Лыску, головой качает.

А та:

— Чего окрысилась?

И носком в подбородок...

Ишь какая!

«За что же,— думает,— бьешь? Что я тебе такого сделала?»

И даже заплакала.

Садится Лыска доить Килину... Сосков не помыла, не смазала...

Они грязные, потресканные, болят... Танцует Килина как на горячих угольях...

А Лыска ей кулаком под потроха:

— Стой! Глаза чтоб у тебя играли, а зубы танцевали! Стой!

Стоит Килина и плачет:

— Что, если бы я была хозяйкой? Никогда бы так с коровой не обращалась.

Вдруг как зашумит, как засверкает, как заревет, как крикнет:

— Ага?! Ага?!

И к Килине... Сорвало с нее рога, оторвало хвост. Не успела она и опомниться, как уже сидит под Лыской и доит ее, а Лыска по колено в помете...

Вот что было...

— Ну и что же?

Да ничего. Продала Килина Лыску, купила Рябую... Рябую теперь бьет...

— Не научило, значит?

— Не научило.

1924

Выбирайтесь!

**УСМЕШКИ КООПЕРАТИВНЫЕ,
ТОРГОВЫЕ И ПРОЧИЕ**

Выбирайтесь!

Так, значит, перевыборы?

— Да-а-а-а-а!

Есть о чем подумать!

Подходит это, братцы-кооператоры, такое времечко, что не каждый день и обедается, как обедалось, не каждую ночь и спится, как спалось...

Иной раз лежишь-лежишь, а потом как бросит тебя на кровати, будто сваи тобой забивают, раскроешь глаза, а в голове думка:

— Неужто ляпнусь?

И начинает тебе в голову лезть, как неотвязная муха летом:

— Там перехватил... Не надо бы тогда вот этого... А того вот тогда...

Высунешь нос из-под рядна или одеяла, глянешь, спит ли сынок-пионер, да и перекрестишься потихоньку:

— Господи, выбери меня в члены правления!

Трудное, беспокойное, одним словом, время.

А впрочем, ничего тут не поделаешь: выбираться надо...

И так надо, само собой разумеется, выбираться, чтоб ни в коем случае не «ляпнуться».

Особенно это трудно на селе...

С ревизионной комиссией еще управиться можно, ведь и ревизионная комиссия и правление, можно сказать, совместно ведут народ трудовой к светлой цели по испытанному пути, к социализму через кооперацию...

Стало быть, протокол ревизии, что, мол, «Кассовая приходо-расходная книга и наличность сходятся», будет

не очень трудно написать и торжественно зачитать перед общим собранием пайщиков...

А вот когда председатель собрания не менее торжественно объявит:

— А теперь, уважаемые товарищи, мы приступаем к следующему (обязательно «следующему»!) пункту (обязательно «пункту»!) нашей повестки, к выборам правления!..

Вот когда, говорю, председатель начнет это объявлять, то зубы, дьяволы, как полоумные, уже дробь выбивают.

А когда назовут вашу фамилию и председатель скажет: «Кто против?»,— тогда непременно подглядите в замочную скважину или в окно и, посмотрев, головой покачаете:

— Вот сукин сын, Петро Федорович! А ведь говорил, что «за» голосовать будет! Верь после этого людям! И только вчера десяток селедок ему послал!

Я вам скажу, что во время этих самых перевыборов такое может выйти, что потом хоть домой не возвращайся...

Да что уж там самочувствие! Даже пионер ваш, и тот может заявить:

— Не говорил я вам, товарищ папаша, что «отрыжка» у вас буржуазная... Вот и просвистались...

А жена еще добавит:

— Да какая там «отрыжка», когда только придет из лавки, так и икотка... Ик-ик-ик! Корпиратель! Завтра чтоб мне хлев вычистил!

И придется вам чистить.

Не скажете же вы ей, как раньше:

— «Хлев вычистил»?! У меня, может, как раз заседание правления, а ты мне «хлев»? У меня, может, как раз голова от межкооперативного альянцу кругом идет, а ты мне «хлев»?

Вообще этот момент способен вас, что называется, «уничтожить»...

Предупредить, значит, принять меры, значит, надо.

Уже за месяц до выборов надо, чтоб и шапка не слишком прочно на голове держалась, и глаза чтоб были поласковее, чтоб и язык только мягко стлал...

А сидя в лавке, приглядывайтесь...

Если баба на зуб материю пробует, вы говорите вслух:

— Вот перевыберемся, бог даст, а тогда ситец не больше чем копеек по пятнадцать будет... Я это в райсоюзе как накричал, так председатель райсоюза прямо сказал мне: «Если,— говорит,— вы,— говорит,— будете,— говорит,— председателем, так для вас,— говорит,— мы очень дешево материю отпустим... Потому ваш,— говорит,— кооператив,— говорит,— лучший в округе». Да-а! Так-то!

А если мужик в лавке, тогда разговор другой:

— Косы на весну, как буду председателем, ой и косы же приглядел! И сапожный товар подходящий... Мне дадут. Да только кто знает, кому здесь весной хозяйничать придется? Мороки тут не оберешься. И день и ночь на ногах, а есть еще такие, кто вроде и недовольны. А мне оно ни к чему. Только и всего, что хозяйство стоит.

Кроме того, не чурайтесь с пайщиками, как говорится... Как это?.. Кивайте головой да «будем здоровы»... Подготовка, как видите, нужна. Предвыборная, как теперь говорят, кампания...

Правильная «кампания» — гляди и не «ляпнетесь»...

В райсоюзах — тут уже полегче... Тут делегатам обед подходящий, чай, сахар... и... Как раз забыл, что еще надо...

И выборы пройдут как по маслу...

В центре... Ну, что мы сами себя учить будем? Знаем, одним словом, как...

. . . . . .

Выбирайтесь на здоровье!..

1925

Кандидатурия

(Научно-кооперативное)

Кандидатурия — это такая вроде бы болезнь, когда человек, проснувшись утром, вскакивает с постели, окидывает острым взглядом свою долговязую фигуру и, оглядев ее (фигуру) спереди и сзади, решительно заявляет:

— Выставляю свою кандидатуру!

Потом, не обращая внимания на мольбы верной супруги: «Вася, съел бы чего-нибудь, а?»— хватает портфель и мчится на площадь Тевелева (если это в Харькове).

Повстречали вы, скажем, этого человека:

— Здравствуйте! Ну, что слышно? Как поживаете?

— Выставляю свою кандидатуру!

И взгляд у него пронзительный, и вид твердый и уверенный, и осанка деловая и солидная.

Лучше ни о чем его больше не расспрашивайте.

Лучше почтительно поклонитесь, дайте дорогу, скажите этому человеку: «Пошли тебе, боже!» — и идите, куда вам надо.

Потому что человек как бы слегка заболел, он точно не в себе, и ничего вы больше от него не добьетесь...

Потому что он

— выставляет свою кандидатуру...

Кандидатурия — болезнь сезонная...

Наблюдается она ежегодно, как раз тогда, когда

проходят съезды многочисленных кооперативных организаций...

Принимает она тогда характер пандемический, но так же быстро и проходит... Кончаются съезды, затихает и кандидатурия, чтобы через год вспыхнуть с удвоенной силой.

Проходит пандемия — и люди, еще недавно в острой форме выставлявшие свою кандидатуру, снова становятся людьми хорошими, людьми симпатичными, крепко спят, отлично едят, и с ними можно даже на масленую по блинам пройтись и в преферанс перекинуться.

А во время съездов и не суйтесь.

Кандидатура — это особое нечто в человеке, теоретически еще мало исследованное...

Но практика свидетельствует, что в жизни определенной категории людей она играет огромную роль...

Кандидатура у человека существует для того, чтоб ее в определенное время и в определенном месте выставлять... И именно в определенное время и в определенном месте...

Пусть у вас будет кандидатура наисолиднейшая, но если вы ее, например, выставите вдруг на самой людной площади, ничего из этого не выйдет. Три дня можете простоять с выпяченной кандидатурой, никто даже и не заметит.

Надо, выходит, знать, когда именно и как именно выставлять эту кандидатуру.

Много радости приносит кандидатура человеку, но иногда не меньше причиняет и горя.

Бывали случаи, что человек выставлял свою кандидатуру так, что она заслоняла все выставленные с нею рядом. Если издали поглядеть, покажется, что видишь одну только эту кандидатуру, а все остальные под ней, как под зонтиком...

И что же?

Приходили «голоса» и вытаскивали задние, невидимые кандидатуры, а выпяченная стояла недвижно до

конца съезда, а потом неловко как-то начинала озираться, покашливать, чихать, а там бочком, бочком и вскакивала в своего хозяина...

А когда кандидатура вскакивает обратно в тот организм, который ее выставил, это очень болезненно... Что-то тогда к сердцу будто подкатывает и в груди подпирает... Человек теряет аппетит, недели три его лихорадит, а потом он идет на должность заведующего отделом.

. . . . . .

Мораль?

Да никакой морали.

1924

А ну, хлопцы, не поддайся!

(Как сельскохозяйственную выставку устраивать)

1. Показывать так показывать

Показывать так уж показывать!

Выставлять так уж выставлять!

Такое показать, такое выставить, чтоб, как приедешь на выставку, все только:

— Ш-ш-ш-ш! Ш-ш-ш-ш!

— Вот, мол, привез! Вот это привез! Это экспонат! Это да!

Тут, скажем, рожью или пшеницей в три сажени вышиной никого не удивишь, потому что, наверно, какой-нибудь американец (а американцы на выставке будут!) приволочет рожь в четыре, да еще с половиной, сажени...

Тут свинья в двадцать пять пудов весом не в диковину, потому как в той Америке, говорят, есть такие свиньи, что с церковь величиной...

Тут, братцы, такое надобно на выставку представить, чтоб у американца глаза на лоб полезли да «цилиндер» подскочил.

Такое туда надо, чего и у американцев, и у англичан, и у других там заграничников не было, нет и не будет...

2. Что ж у нас такое есть?

Много, видимо-невидимо у нас и в сельском хозяйстве и в кустарной промышленности такого, о чем, верно, за границей и не слыхивали...

И это в каждой области сельского хозяйства!

Ну, прямо какую ни возьми!

И в земледелии, и в пчеловодстве, и в скотоводстве, и в молочном хозяйстве, и в птицеводстве, и в свиноводстве, и... и...

3. Земледелие

Наверное, заграница или какое-нибудь наше культурное хозяйство привезет пшеницу, у которой стебли, как тростник, а зерно — что слива... Да еще и табличку нацепит, что вот, мол, пятьсот пудов двадцать два фунта четыре золотника та пшеница с десятины дает...

И будет это стоять, ручки в брючки, сигарой попыхивая, с презреньем на всех поглядывая:

— Что, видели? А ну, мол, чем похвастаете? Что у вас на Украине есть?

Да знаете ли вы, что у нас на Украине такая штука есть, просто «убить» того американца может...

И ручки он из брючек выдернет, и сигара выпадет у него изо рта...

Он вам пшеницу-тростник, а вы ему «зáкрутки» на ниве, чтоб ведьма ниву не топтала.

А тогда:

— Что, взял? А дозвольте, господин американец, вас спросить, чем вы свою ниву оборониге, если, к примеру, шенгереевская ведьма из зависти всю ее вытоптать вздумает? А ну, скажите! Что, может, искусственным удобрением? Суперфосфатом?

Вот и «убили». Уже он и словечка не вымолвит!

Нечем крыть!

4. Борьба с засухой

В этом отделе вас, конечно, ошарашат и диаграммами, и картограммами, и когда под зябь пахать, и когда пар поднимать, и когда рыхлить, и как сеять, да как боронить, чтоб как можно больше влаги в грунте сберечь...

А вы можете себе ходить, табачок понюхивать да потихоньку посмеиваться...

Потому что вы не забудете привезти самое главное средство против засухи...

Вы только возьмете с собой попа, дьяка, кадило и кропило.

И:

— А ну-ка, батюшка, покажите, будьте добренькы, ученым людям, как мы с засухой боремся!..

И тут же продемонстрируете молебен «о ниспослании дождя».

«Убили».

Ваша взяла.

5. Пчеловодство

Будут тут и усовершенствованные «даданы», и «левицкие», и еще много другого.

Будут тут центробежки всякие, и маточники, и рамки...

И пчелы итальянские будут, и кавказские, и вятские...

А самого важного для пчеловодства, уверяю вас, никто не привезет.

Никто не привезет иконы святых Зосимы и Савватия.

А вы привезете!

И опять сразите наповал. Какая же может быть стоющая пасека без святых Зосимы и Савватия?

6. Скотоводство

Ох и коней же на той выставке будет! И ардены, и першероны, и арабы, и английские чистокровки, и орловские рысаки!

Да все выхоленные, да все вымерянные!

Ну, куда вам со своим Васькой с ними равняться!

Затрут!

Но вы и тут не падайте духом.

У вас и в этой области есть такой козырь, что вы прямо вдрызг разобьете своих противников.

А знаете, что это?

Дохлая сорока.

Да вы обведите в воздухе круг привязанной к тычку

дохлой сорокой и обратитесь к разным там культурникам:

— Что, мол, из того, что ваши першероны и от холки до репицы и от холки до бабки вымеряны? Да что у них по двадцать разных свидетельств о породе имеется? А если к вашим выхоленным да вымерянным вдруг домовик в конюшню заберется да начнет целыми ночами верхом на них гарцевать? Чем вы, мол, его отгоните?

— ???

— То-то и оно! И посдыхают ваши выхоленные да вымерянные! А у меня — вот!

И еще раз обведите круг дохлой сорокой!

— Что, взяли?

7. Молочное хозяйство

В этом отделе увидите вы сыры: и швейцарский, и голландский, и кавказский...

И сгущенное молоко здесь будет, и сепараторы, и маслобойки...

Да чего только здесь не будет!

А у вас что?

Масло?

И у них есть масло, да еще лучше, чем у вас!

Творог?

А у них что, нет хорошего творога?

А вы привезите им свои изделия молочные, такие изделия, что ни в каких Голландиях не найдешь!..

Привезите вы на выставку горшок вареников.

Вот это изделия!

Да сразу все замолчат!

8. Птицеводство

Тут, что и говорить, кохинхинами, да плимутроками, да лангшанами разными не переплюнешь...

Потому что дело это у них лучше поставлено, чем у нас...

Однако и тут не след поддаваться!

И не поддадимся!

Не поддадимся, если привезем на выставку курицу, что петухом, стерва, закукарекала!

И тут же можно продемонстрировать, как у нас на Украине такой курке голову ржавым топором на пороге рубят...

Ведь коли закукарекала курка петухом, так и знай: либо пожар случится, либо баба помрет...

А за границей о таких курах и не слыхивали!

Вот и здесь победа будет на нашей стороне!

9. Кустарные промыслы

Ну, тут, конечно, вы и сами уже догадываетесь, что надо везти?

Первачок... Да куб медный да змеевик добрый, чтоб знали, какого совершенства мы достигли в этой кустарной промышленности...

На винокуренном заводе такого не выгонят!

. . . . . .

Вот что надо везти!

И будет у вас медалей... медалей... медалей...

И похвальные листы будут...

1924

Громкоговоритель

Эх, и жизнь же, дорогие товарищи, приходит!

Эх, и дышать же нам будет легко и радостно!

Эх, и благословим мы и землю и небо — весь мир благословим за радость, за тишину, за отдых наболевшей души нашей...

А все наука! А все радио!

До чего только не дойдет проницательная мысль человеческая, до чего только она не додумается!

Среди площади — здание. Это ВУЦИК. А на крыше этого здания большая труба... А из трубы речи сыплются, музыка гремит, песни слышатся...

Это громкоговоритель...

Заседание идет где-то на двадцатой улице, а вы у ВУЦИКа стоите и все прекрасно слышите... и слышите даже за три, за пять кварталов!

А все наука! А все радио!

Вы только подумайте, куда мы идем, куда заворачиваем!

Вот вы сядьте да и подумайте...

Ликвидировали вы неграмотность... Кооперацию завели. Записались в МОПР, Доброхим, ОАВУКи, Тапуки. Землеустроились... Мелиоризировались. В сельском хозяйстве интенсифицировались... Засевооборотились на шестиполье... Затракторились... Кобылу свою заарденили, корову засимменталили.

Сели, почесались и сидите...

А потом к жене:

— Ну-ка,— говорите вы,— Октябрина, поеду я на базар да и куплю громкоговоритель!

— Поезжай, Ким Вуцикович, поезжай! Уже давно пора! С ним, с этим громкоговорителем, легче на свете жить...

Поехали вы и купили...

Вот тут-то и начинается ваша жизнь, спокойная и радостная...

Засадили вы, например, огородили бахчу, или посеяли в поле хлеб, или поспевают у вас в саду вишни...

А птица пакостная, наседает, выклевывает... Не набегаешься, не накишкаешься...

Пристроили вы себе в саду или на огороде (одним словом, где нужно) свой громкоговоритель...

Сидите в избе и читаете «Нову громаду» [1].

Прочитали одну страницу, и к трубке:

— А киш, чтоб вы подохли!

А оно из громкоговорителя как гаркнет на огороде или в саду, на бахче:

— А киш!

Птица врассыпную.

И бегать не нужно и кишкать не нужно...

Арбузы, например, созрели...

Пристроили громкоговоритель в шалаше и идете домой.

А так часов в двенадцать проснулись — и в трубку:

— А куда ж это вы,— как говорится, распрасукины сыны, га? Лови, лови, лови! Держи, держи, держи!

Пастухи, как груши, с бахчи...

А вы перевернулись на другой бок, «свят-свят-свят» проговорили и спать...

Ни бегать не нужно, ни набивать ружье солью...

Трактором пашете. Громкоговоритель в избе... Поднялось солнце, время обедать... Сразу в трубку:

— Октябрина, неси галушки!

И ехать не нужно, времени терять не будете...

. . . . . .

Эх, и жизнь же будет! Потому — великая вещь радио!

1925

---

[1] «Нова громада» — украинский журнал.

Берегите леса!

Насаждайте леса!

Берегите леса!

Не губите деревьев! Лес — наше богатство.

Лес теперь наш! Крестьянский теперь лес! Народный теперь лес!

Берегите свое добро!

Без леса погибнет хозяйство! Земля высохнет!

Правильное лесное хозяйство спасет нас!

Вот лозунги «Недели леса»...

Трудновато!

«Насаждайте леса!» Это значит: бери лопату, копай яму, сади туда дерево, оберегай его, скотину не подпускай...

«Не губите лесов!» Это значит: не руби деревьев! Не кради! Есть на то земельные комиссии, распределяющие лес среди населения! Есть земельный закон, указывающий, как пользоваться лесами таким образом, чтоб и леса не гибли и население было удовлетворено...

Трудновато!

Вот если б такую неделю объявили:

«Руби лес!»

«А ну, кто скорей!»

«Сколько ни вырубишь, все твое!»

Вот бы поработали!

Целый месяц, и день, и ночь рубил бы, ей-богу, и про обед бы забыл... и жена бы рубила...

Да что жена! Ваньке шестилетнему купил бы маленький топорик — пусть хоть хворосту нацокает!

А потом стал бы среди двора, а на дворе под самую крышу рядышком: дуб, берест, ясень...

Стоял бы только да покашливал...

Высохли бы речки, высохли б луга, потрескалась бы земля, и занесло бы песком поля и нивы!

А я сидел бы на своих берестках среди моря песку и курил бы трубку...

Подрос бы Ванюша, сел бы рядом на бересток, поглядел бы на батьку и покачал бы головой...

— Ну и дурак же ты, батя,— сказал бы,— зачем же ты леса повырубил?!

И тут бы как раз кстати крикнуть:

— А вырежь-ка мне, старуха, палку: я ему покажу, как отца «дураком» звать!

— Где ж я тебе,— скажет старуха,— вырежу, когда все леса повырублены?!

А Ванька прыгал бы да приговаривал:

— Дурак батя! Дурак батя!

...И ничего с ним не поделать...

1924

«Стребиловка»

> Некоторые из сельских кооперативов совершенно не знакомы с рыночным спросом и вместо жестяных или железных изделий заготовляют галантерею вплоть до... корсетов и шляп.
>
> *(Из газет.)*

Ну как его писать?

...Утро... Солнце на небе светит... Голубое небо... По улице проходит стадо... Пастух поет... играет на сопилке. Ветер то дохнет, то не дышит... Звонят к заутрене... А звон малиновый, и слышно только: гу-гу-гу! Собаки лают...

Одним словом, село.

А в селе — «Единое потребительское общество. Магазин»...

Впрочем, сроду такого чуда в селе не было — это я пошутил...

В селе есть «потребиловка».

Это в лучшем случае.

А чаще всего — «стребиловка».

— Вот тут она у меня сидит...

«Вот тут» — это значит «под грудью» или «в печенках».

. . . . . .

— Здравствуйте! Бог в помощь! С пятницей!

— Здравствуйте!

— Говорила я этому сорвиголове: «Не ставь, когда

пьешь, кружку на солнце: заржавеет!» А ему, сукиному сыну, разве это в мыслях? Ему — комсомол, ему в бога не верить! Вот и получилась дырочка! Вот видите! И течет! Так я это к вам: нет ли у вас такой самой? Это еще старик купил на ярмарке в Котельве, когда еще коронация была, с тех пор и пили. А теперь вдруг — дырочка! Хорошая кружка, да вот течет!

— Так-таки и нет, бабушка! Другого чего отпустить можно, а кружек не держим... Корсет для вашей фигуры не подойдет ли?

— Корсет?!

— Купи, Анисья (это из компании, что вечно в потребиловке толчется: «Нет ли, мол, новостей каких?»), а то у тебя талия не гнется! Французских, брат, привезли! Зашнуруешь — прямо шансонетка, если кто со стороны посмотрит! Петр тогда к корове под ручку водить будет!

— Срамник! Внучки уже, гляди, с парнями спят, а ты все со своей болтушкой поганой! И не попрыщит же, прости меня, царица небесная троеручица!

— А то, может, шляпу купила бы? С перьями! Натянешь, как барыня будешь? Я своей купил, да вы разве поймете?! Купил, так даже блестит, думал в церковь повести, а она возьми да подложи яйца под наседку!

— Да замолчь...

— Не ндравится! Это, брат, нам из города шлют! Под панов подгоняют! А вы народ необразованный! Кузьма купил корсет да и порезал на шлею для кобылы! А что бы старуху засупонить — лет на двадцать помолодела бы!

. . . . . .

Спасибо кооперации! На селе не скучно!

1923

Как управиться с землей

Раньше спокойнее было... И спокойнее и легче...

Была земля... Много было черной, как вороново крыло, земли...

Лежала она на Украине гонами и перегонами, десятинами и акрами...

И были там крестьяне...

Жили они на земле украинской хуторами, селами, городами и местечками...

А надо всем этим, над крестьянами и над землею, был бог всеблагой и всеправедный...

И видел бог, всеблагой и всеправедный, что тяжело с этой землей возиться, нелегко за этой землей ухаживать, обрабатывать ее, обсевать и унавоживать...

А бог всегда был за бедных, всегда интересы горемык отстаивал.

Ибо еще в писании сказано:

— Если, мол, хочешь в царствие небесное,— отдавай все, что есть у тебя... Ибо легче верблюду сквозь игольное ушко пролезать, чем богатому в царствие небесное!..

И отдал бог всю землю помещикам:

— Пусть, мол, богатые заботятся о земле и думают о ней...

И распоряжались землей графы Бобринские, графы Браницкие и Терещенки с Харитоненками, да Лизогубы со Скоропадскими...

Легко было украинскому крестьянину... Не болела от дум голова — было кому позаботиться, чтоб на земле и сеялось, и веялось, молотилось, мололось, и елось...

А теперь — земля наша: сами и распоряжаться должны...

Ну и хлопот! Совещания, советы, конференции...

Потому — земле надо порядок дать...

Распорядиться землей надо... Землеустройство наладить.

Как его наладить?

Лучше всего, конечно, нарезать землю узенькими полосками... Для мужичков — большое удобство... Пашешь, к примеру, или косишь на своей ниве, а рядом кум косит... Надо тебе закурить или табачку понюхать — перегнулся слегка набок и сразу с кумом чуть не целуешься...

А потом надо следить, чтоб одна полоска в одной стороне, другая где-нибудь версты за три, третья за речкой, четвертая за мельницей.

Тогда «сам» на одной будет работать, жена—на другой, сын — на третьей, невестка — на четвертой...

Одним словом, всем работа будет... Без работы никто сидеть не будет... «Коллективная» будет работа...

Кому же какую землю дать?

Ну, вот вы, к примеру, заврайземуправлением. А у вас, в вашем районе, кума. Какой ей нарезать земли?.. Ясное дело!.. Нарезаете под самым огородом, чтоб недалеко ей было ходить работать на этой земле... Приедете как-нибудь (где там вырваться: хлопот-то, хлопот!), а она жнет... Вышли за овин, закрывшись от солнца рукой:

— Кумушка-а-а! Ау!

Пять минут — и кума дома! Мигом тут и вареники, и пирожки, и печенье!

А нарежете где-нибудь верст этак за семь, за десять,— как вы ее оттуда вызовете?..

Или, к примеру, жена красноармейца...

Этой так можно и верст за десять полоску дать... Красноармейцы должны привыкать к большим переходам...

Это будет так называемое землеустройство в соответствии с местными условиями.

Теперь возьмем хотя бы агропомощь крестьянам. Где строить агробазы, агропункты, устраивать племенные

хозяйства, семенные пункты, показательные поля, опытные поля?..

Где? Ясно: возле Харькова, невдалеке от Киева, Одессы. Чтоб агроперсонал не скучал вдали от большого города... Постройте агробазу где-нибудь возле Шенгереевки, верст за сорок от железнодорожной станции да за двести от более или менее порядочного города... И скучно... Может быть, не самому агроному скучно, так его жене, взрослой дочери...

Все это надо принимать во внимание при оказании агрономической помощи нашему крестьянству...

А кредитование?

Кому выдать ссуду? Емельке, имеющему полторы десятины песку и полкоровы, или Петру Кондратьевичу, который на двадцать пять десятин покашливает и на сером в яблоках жеребце в церковь ездит?

Петру Кондратьевичу. Человек положительный, зажиточный и в бога верит...

Коллективизация...

Кого объединять? Опять-таки. У Петра Кондратьевича — двадцать пять десятин, у Свирида Карповича — двадцать пять, у Ивана Филипповича — двадцать пять. Есть что объединять. Вот и объединяйте...

А что толку от Емельки, да Дмитрия, да Афанасия с полутора десятинами да с пеньковыми шлеями?

. . . . . .

Да, если хорошо подумаешь, много хорошего можно сделать!

1924

Он такой... он может...

Таких бед натворил в одном селе трактор, что хотели за попом да за хоругвями бежать...

Трактор хотя и называется «Запорожец», но это ничего не значит: такую штуку может выкинуть и «Запорожец», и «Фордзон», и всякий другой.

Ну, купили трактор...

Ну, привезли...

Ну, испытали: работает хорошо...

Отвезли механика на станцию, сказали ему спасибо, помахали шапками — поехал механик.

Приехали домой.

— Садись теперь ты, Иван, на трактор. Посмотрим, как он у нас поедет! Ты ж там, небось, присматривался, куда его этот самый механик вертел?

Сел Иван...

Покрутил Иван...

Трактор крякнул, вздрогнул и попер...

И попер!

Сидит Иван, а трактор едет...

Плетень... Трактор через плетень... Плетень лежит... Овин. Трактор на овин... лежит и овин...

Огород... Трактор на огород... идет да знай покрякивает...

Капуста... Чешет по ней трактор, только головки хрустят...

Тут уж бабы не выдержали:

— Спасите!

Да за колья... Да за трактором...

Трактор ухмыльнулся да как чесанет по огороду...

— Бегите,— кричат бабы,— за попом, не то пропал огород!

Не знаем, прибегал ли поп с хоругвями или нет, а только посчастливилось как-то Ивану — дернул за соответствующую пружину...

Трактор и стал...

Стал, смотрит на Ивана, головой качает и что-то говорит...

А что он сказал, о том спросите у Ивана...

1925

«Праздник урожая»

Празднуем мы это, значит, «День урожая»...

Подсчитываем, значит, много ли добра за этот год приобрели... Чего нам уродило, чего мы накосили, чего намолотили да в закрома ссыпали...

Эх, и задаются же хозяева на сельскохозяйственной выставке (а выставки ведь по всем селам будут организованы) и рожью, и пшеницей, и арбузами, и стригунами, и телятами... Да уж всем задаваться будут...

— Ай да пшеница у меня!

— Ай да овес у меня!

— Вот рожь — так рожь!

Или выведут стригуна или теленочка, да такого, что чуть не смеется, и стоят да поглаживают:

— Выхоли, мол, ты такого!

И уж тому, у кого ничего на выставке нет, вот даже тут припечет: такая его зависть возьмет...

Больно ему, горемычному, будет выставку ту осматривать.

А то еще кто-нибудь спросит:

— А ты, Иван, почему не выставил? Сколько у тебя пудов ржи на десятине?

— Сорок пять!

— А у меня сто сорок пять!

Вот даже тут припечет!

Так вот что: пусть вам не припекает. Пусть вам не будет горько... Отбояриться всегда можно. Только он скажет:

— У меня сто сорок пять!

А вы ему сразу:

— На пару́?

— На пару!

А вы ему тогда:

— На пару! На пару, брат, у кого хочешь уродит! Ты без пара попробуй, будет ли сто сорок пять! А сеял чем?

— Сеялкой!

— А унавоживал?

— Унавоживал!

— А еще задается! А я и не унавоживал, и руками сеял, и зерно на зерне...

И задерите голову и важно так отойдите:

— Вот, мол, каков я!

Вот он и выкусит...

Это ничего, что у него на сто пудов на десятине больше, так зато вы ничего не делали, работали, как и дед ваш работал... У деда на том свете косточки не переворачивались, греха на вашей душе нет...

И так везде...

Увидите стригуна или теленка хорошего:

— С заводским случал?

— С заводским...

— Чего ж ты хвастаешь! Если б у тебя от Иванова чесоточного жеребца такой стригун вылупился, тогда б я удивился!..

А так...

. . . . . .

Одним словом, не поддавайтесь! Нигде не поддавайтесь!.. Кройте всюду! Кройте тракторы, кройте коллективы, все кройте...

Ведь в самом деле: с помощью машин и науки можно добиться урожая...

А ты попробуй так: царапнул борозду, сыпнул зерна, заказал молебен — и все...

А как уродит, тогда и задавайся!

1925

Овцеводство

«Овцеводство» — это значит разводить овец...

А овца, как вы знаете, очень полезное животное: дает молоко, дает шерсть, дает овчины, дает баранину, дает ягнят, а ягнята дают смушки, жареных барашков и шашлык...

Немалая польза от овец, и выращивать их — прибыльное для хозяйства дело.

И выращивают хозяева овец...

Выращивать овец — дело не мудреное.

Пасти их нетрудно, и стричь легко, и кормить их зимой не большое дело, ибо ест овца самое плохое сено и пережевывает и бурьян и солому...

С шерстью возни немного: постриги, перемой, расчеши, спряди, сотки... И все...

А с «бараниной» да «жареным барашком» не работа, а игра: бери и ешь...

Вот и выходит, что овцеводство — дело не тяжелое и не хитроумное...

Только одна штука есть в овцеводстве, которая до того морочит голову, до того мучит овцевода, что он не в силах выдержать:

— Зарежь, а то умру! Да ей же богу, лягу тут и умру!

Штука эта — баран.

Нужен он для твоего десятка овечек на каких-нибудь два-три дня, а держи его весь год!

Не будешь держать — ягнят не будет...

Будешь держать — корми его, ирода, круглый год...

Да еще б ничего — кормить! Нет, ты уследи за ним, чтоб он на шермака чужих овец не покрывал.

Вот в чем закавыка!

Ты держишь барана, а пятьдесят хозяев не держат, на твоего надеются... Пойдешь к ним:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Мой баран в стаде ходит... Так надо бы, чтоб по-хорошему... Ягнята ведь и у вас будут, а кормить мне одному! По тридцати копеек от овцы — тогда пусть ходит...

— Что вы!.. И за что там по тридцати копеек?

— Как за что? За ягнят!

— И так будут!

— Так знайте, что не будет ягнят!

— Да что вы...

Тут и начинается...

«Воспрепятствовать!..»

* * *

— Жена, шей барану фартук! Не хотят платить? Что это за народ такой!..

И шьется фартук на барана...

Идет баран утром в стадо, как «чистая горничная». В фартуке...

Шиш у вас будет, а не ягнята!

Приходит баран домой..

Тяжело дышит баран, лоб у него мокрый, рога словно набекрень, фартук на боку, ноги волочит...

Навоздержался...

. . . . . .

— Привяжи и не пускай! Не пускай, в хлеву пусть стоит!

Привязали барана...

— Пойди, подкинь барану сена!

А на площади как раз овца заблеяла.

Баран — «прыжки в вышину»! На приз! Ясли по хлеву, как автомобиль, разъезжают!

Хозяйка с сеном, а он ее:

Бац!

Летит хозяйка из хлева, а за ней — сено, за сеном — баран, за бараном — ясли...

Отвяжи, а то убьет!

Цок топором по привязи, и баран, как жеребец, через заборы, через огороды — на площадь!

М-м-ме!

. . . . . .

Зарежь, а то умру! Ей же богу, умру!

* * *

Так вот, самое трудное дело в овцеводстве — это держать барана и не пускать его к чужим овцам!

А остальное пустяки!

1925

Ужасы

Газет не читаю по причине перегруженности работой и слабого здоровья.

(Из письма.)

Не читаю, знаете... Не читаю... Работы много, а главное, действует как-то нехорошо. Слабею... Придет газета, так до того иногда, знаете, хочется просмотреть, и не могу... Ну не могу и только!

Только примешься — руки дрожат, в жар бросает, на глаза слеза набегает... Посинею весь и брошу...

А то как-то схватил свежий номер, едва развернул и: «Оккупация Рур...» про себя промолвил, а оно меня в правый пах примерно так пальца на два в сторону от пупа как шпиганет! Побледнел весь... Пот с меня так и льется... Жена уж и бутылку с горячей водой на живот и лоб уксусом натерла — не берет... Вертит меня ветряком по дивану... Я и то и се... И что бы вы подумали: аппендицит... Газетный аппендицит. Такая болезнь желудка...

— Не ешьте,— говорит врач,— недели три твердой и слишком горячей пищи.

Вот что было. Только и спасался нежинскими огурцами... Они, знаете, не слишком твердые и не горячие... А то хоть пропадай...

Да что, если вам все рассказать, право, не поверите...

Лег я однажды после обеда отдохнуть (работы

ведь уйма — сами, небось, знаете!), взял себе газетку (рискнул-таки!) и развернул... И стало меня ко сну клонить! Да как! Вот уж и на заседание бежать надо, а я сплю. И если бы еще спал, как люди спят... А то что почудилось?! Будто все коммунальные банки соединились в один огромный-огромный. И у здания этого банка будто восемь с половиною ног... И подбегает оно (это здание) ко мне и лезет на меня... Лезет, душит меня и кричит:

— Газета! Газета!

Просыпаюсь, а передо мной жена:

— Газета,— говорит,— вокруг шеи обмоталась, чуть ты не задохнулся!

Боюсь газеты! Не читаю...

1926

Ага, будешь?!

— И не пил и много не наедался — только мисочку затирки и съел,— а такое вот приснилось... Как кричал, как стонал во сне, лучше и не вспоминать...

— А что стряслось, Кондрат Иванович?

— Да такое стряслось, такое приключилось, что как вспомню, так и млею... Под сердцем только — дерг-дерг-дерг, в голове туман, и за притолоку, чтобы не упасть, хватаюсь.

Помолился я богу и лег... в кладовке на кожушке... Недолго и ворочался... И вот, пускай бог простит, снится мне, будто я — моя же Мура, будто я, не про вас будь сказано, корова... А моя Мура вроде не Мура, а будто я — Кондрат Стерня... Идет Мура к хлеву, берет веревку, привязывает меня и ведет поить. А оно — январь, холодно — птица падает...

Иду я к колодцу — реву... Замерз, как березовая почка... Реву:

— Не пои меня холодной водой, не то околею...

А она не понимает... Тычет мордой моей в корыто, а там не вода, а лед...

Напился — реву, потому, чувствую, замерз, совсем замерз...

Ведет она меня в хлев, привязала к яслям, кинула сечку, поддала коленом в живот:

— Ешь, черти бы тебя взяли!

А в хлеву ветер аж гудит!.. Как дунет, так словно в тебя какой-то черт сто иголок воткнул... Топчусь я на месте и:

— А та-та-та! А та-та-та!

А потом как зареву:

— Ой, спасите! Ой, кто в бога верует?!

Идет моя Мура в моем кожушке, в валенках и в кроличьей шапке.

— Чего ревешь?

— Да помилуй,— говорю,— разве можно скотину в таком хлеву в такие лютые морозы держать?! Пропаду! Ей-богу, пропаду!

— А я,— говорит,— пропала? Я три года, чтоб тебя волки съели, мучаюсь в этом хлеву! Три года меня трясет, как в лихорадке! Подумаешь, барыня какая!..

И кнутом — хвать!

— Стой, стерва! Замерзла! А, испачкалась... И-и-и... Косолапая.

И по поджилкам кнутом — хвать!

И матюком меня, матюком...

. . . . . .

Глядь, а жена уже и доить меня идет. Хочу сказать:

— Палазя! Это я! Что ты делаешь? Что ты делаешь?

А она уже садится...

Только хотела за сосок ухватиться, я и проснулся.

Так поверите, весь мокрый... И дрожу... Перекрестился.

Да вам только и рассказал...

. . . . . .

Обмажу на зиму хлев, обложу соломой, приделаю двери... А то, будь оно неладно, чуть было не спятил.

. . . . . .

Ага?!

1924

«Сельская юстиция»

Авторитет народного суда на селе громаднейший... Обращаются к нему и старые, и малые, и средние... Обращаются так, что эти два человека, которые постоянно в суде сидят, судья и секретарь, плавают в «жалобах», «заявлениях» и «прошениях»...

Бегают их глаза едва ли не по всем статьям уголовного, и семейного, и процессуального кодексов, и судят они ежедневно с утра до вечера, а в перерыв говорят:

— Хотя бы перекусить чего-нибудь, что ли? Пообедаем, вероятно, уже вечером!..

Это советский суд. Заведенный, установленный, законный и действующий на основании революционных кодексов...

Но есть еще в селе «кодексы», существующие до сих пор, хотя начала свои они берут от тех пор, когда был разодран от мотни до горла святой благоверный и великий князь Игорь.

Одним словом, «кодексы» эти очень давние, но их еще в селах придерживаются, и хоть не большую, но некоторую роль в сельской юстиции эти «кодексы» играют.

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО»

Главнейшим параграфом «семейного права» являются дела «гречишные»... Дела о том, что называется «скакать в гречку». Литературно этого понимать не следует... Это вовсе не значит, что идет-идет человек, увидит гречиху, разгонится и — прыг!..

Это совершенно не то.

Гречка в данном случае — символ...

Вот, к примеру, что значит гречка:

— Поведу это коней в ночное!..

— А может, дома останешься?

— Нет, поведу — нужно, чтобы напаслись!

— Ой, Иван!.. Хватит тебе этих коней водить! «Кобылу» пасешь, трясця[1] тебе и твоей кобыле!

— Ну-у... Пошла-поехала!..

Вот здесь уже пахнет «гречкой»... Тут уже заинтересованная половина тенью за Иваном крадется, так как учуяла, что кони пасутся в лесу, а Иван в «гречке»...

Изловить, разумеется, несложно...

«Гречка» с мужской стороны карается: Ивану «трясця» во все его печенки и разные слова специфического значения... «Гречке» — на ворота деготь и окна вдребезги... Если это не помогает, тогда «волосяной суд». Распускаются у «гречки» волосы, впутывается в те волосы правая рука, и производится вихрь с криком:

— А-а-а-а!

«Гречка» со стороны женской карается смертным боем.

В последнее время это утихает, так как:

— В женотдел пойду, харцызяка ты нерукотворный!..

«УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС»

Главнейшие статьи «уголовного кодекса» суть: конокрадство, копнокрадство, рыбокрадство, овцекрадство, курокрадство, бакалеекрадство, садокрадство и вообще крадство...

К о н о к р а д с т в о карается смертным боем. Характерная особенность этой кары в том, что она налагается коллективом, гуртом, скопом:

— Бей и ты!

— Не хочу!

— Бей, а то и тебе то же самое будет. Отвечать, так всем...

И бей, значит.

Заканчивается кара в большинстве случаев «высшей мерой социальной защиты»:

---

[1] Т р я с ц я — лихорадка.

— На свалку!

Помехой этой статье служит милиция: не дает бить...

Копнокрадство (красть копны)... Обвиняемый стоит:

— Да я!.. Да я!..

— Клади, ирод!

— Да я... Да я...

— Клади, говорю, копны на воз!

Обвиняемый накладывает на воз копенки.

— Сложил?.. Давай гнет!.. Ложись наверху!..

И прочно притягивается гнетом обвиняемый... Аж косточки пищат...

— Гей!..Езжай, идол!

Рыбокрадство (вытрясти верши)... Обвиняемый стоит.

— Раздевайся!

— Да я...

— Раздевайся! Ныряй десять раз подряд!

Ныряет...

— Одевайся! Домой!

Эта кара употребляется ранней весной, когда ледоход...

В теплое время кара другая: кара веслом или вершами.

Овцекрадство. Обвиняемый одевается в невыделанные овечьи шкуры и под оркестр из ведер, чугунов и прочих «духовых инструментов» на рысях проводится по селу.

Бакалеекрадство. Кара такая же, как в предыдущем случае, но вместо овечьих шкур обвиняемый обвешивается сумками, мешками, пакетами, обмазывается дегтем, обсыпается сахаром, солью, мелом... И вдоль села. А по ведрам и чугунам только: «Трам! Трам! Трам!»

Курокрадство... Гибнет не обвиняемый, а курица, разбитая вдребезги на голове обвиняемого.

Баштанокрадство... Арбузы, дыни. Кара колом, иногда вилами... Старый способ, о котором еще цыган рассказывал:

— Ну, что ты скажешь, сила божия: раз сверкнула, а на спине три синяка...

«Сверкнул» его дядько вилами-тройчатками как раз под молнию...

Садокрадство... «Соленая» кара... Ружье заряжается солью и «пужается»... щемит очень долго и очень-таки щемит... После этого и груши и яблоки очень соленые...

А вообще «крадство» карается главным образом методами физического воздействия.

«ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС»

Объектом гражданских споров в большинстве являются нивы и межи...

Приговор пишется чаще всего навильником и люшней на ребрах обвиняемого.

* * *

Забываются эти «кодексы» уже, из моды выходят... Не так часто уже вы их отыщете...

Однако они есть и до сих пор.

И очень часто они смешиваются с настоящими судебными советскими кодексами... Только тогда «обвиняемый» обычно выступает как истец, а бывший «судья»— как ответчик...

Сидит в большинстве случаев бывший «судья».

1925

«Подкачала»

Расскажу я вам, братцы, какая трагическая история произошла в одном сильно кооперативном городе...

Старинный такой был (да и сейчас, положим, он есть) город... И кооперация в том городе цвела пышно и раздольно... Да, было там все, чему положено быть в каждом сильно кооперативном городе...

Так вот... Был, значит, такой, как видите, город...

И бросили в том городе однажды лозунг:

«Женщину в кооперацию!»

Его, этот лозунг, и подхватили:

— А ведь правда! «Дорогу женщине»... «Каждая кухарка должна уметь управлять государством»... Надо, братцы, и нам! Проведем!

А в городе том жила да была женщина, учительница, что очень кооперацией интересовалась и не плохотаки в кооперации была осведомлена... И в общественной жизни города женщина эта немалую роль играла: она и по детским домам, и по охматмладу, и по «каплям молока»... энергичная и умная...

Можно назвать даже имя: Екатерина Петровна Григоренкова ее звали...

И покатилось в кооперативных кругах:

— Екатерину Петровну в члены правления райпотребсоюза! Ее!

Избрали...

На первом же заседании нового правления кто-то и предложил:

— А что, если нам Екатерину Петровну в заведующие торговым отделом?! А?!

Мужчины сразу между собой:

— Шу-шу-шу-шу!.. А давайте!!

И назначили.

Екатерина Петровна согласилась:

— Что ж! Торговый, так торговый! Попробуем!

И взялась Екатерина Петровна руководить торговым отделом райпотребсоюза в сильно кооперативном городе...

Дело большое, дело серьезное: торговые операции на сотни тысяч, склады, кладовые... Миллионное имущество...

Села Екатерина Петровна за свой стол, посмотрела на накладные да на дубликаты.

— Не подкачай, Катерина! Ты первая в этом городе!

И стала работать...

Работает неделю, работает другую... Ничего, дело помаленьку идет...

Но вот правление:

— Собирайтесь, Екатерина Петровна! Поедете, надо большую партию кожи закупить!

— Поеду, раз надо!

Поехала... Через неделю назад...

— Уже?

— Уже!

— Купили?

— Купила...

— Почем за пуд?

— 36, лучшего дубления!

— Как? Мы же по 39 брали...

— Посчастливилось, значит, дешевле купить...

— Может быть, сорт не тот?

— Нет, высший!

— Гм! Посмотрим!..

Посмотрели — сорт действительно высший...

— Гм... Не забудьте же, Екатерина Петровна, отчитаться в бухгалтерии... Сколько вы на поездку потратили... Гостиницы там, извозчики, носильщик, обеды, дорога...

— Да ерунда... Только на билеты железнодорожные да на подводы, что товар везли... Остановилась у знакомых, ездила трамваем, а больше пешком. Сегодня же напишу отчет...

— Гм... (Это — один член правления.)

— Гм... (Это — второй член правления.)

— Гм... (Это — третий член правления.)

— Гм... Гм!.. (Это — бухгалтер.)

А помощник бухгалтера, так тот прямо запротестовал:

— Это против инструкции!.. На расходы по поездке должен идти по инструкции такой-то процент... А тут никакого процента нет... Не по закону... Такой отчет и утвердить, по-моему, нельзя... Надо в центр, как центр...

Инцидент!

Неприятно Екатерине Петровне, что из-за нее бухгалтерия кувырком пошла.

Однако ничего, работает...

Зашла на склад...

— Сколько у вас сахара? — спрашивает у заведующего.

— 600 пудов.

— А нельзя ли перевесить?

— Можно...

Перевесили.

— Сколько?

— 620! А правильно — 600, потому что те двадцать из усушки, утечки и утруски набрались...

— Запишите, что у вас на сегодняшнее число не 600, а 620 пудов!..

— Как?! Инструкция... Не могу ж я против инструкции...

— Запишите...

. . . . . .

— Гм!.. (Это — один член правления.)

— Гм!.. (Это — второй член правления.)

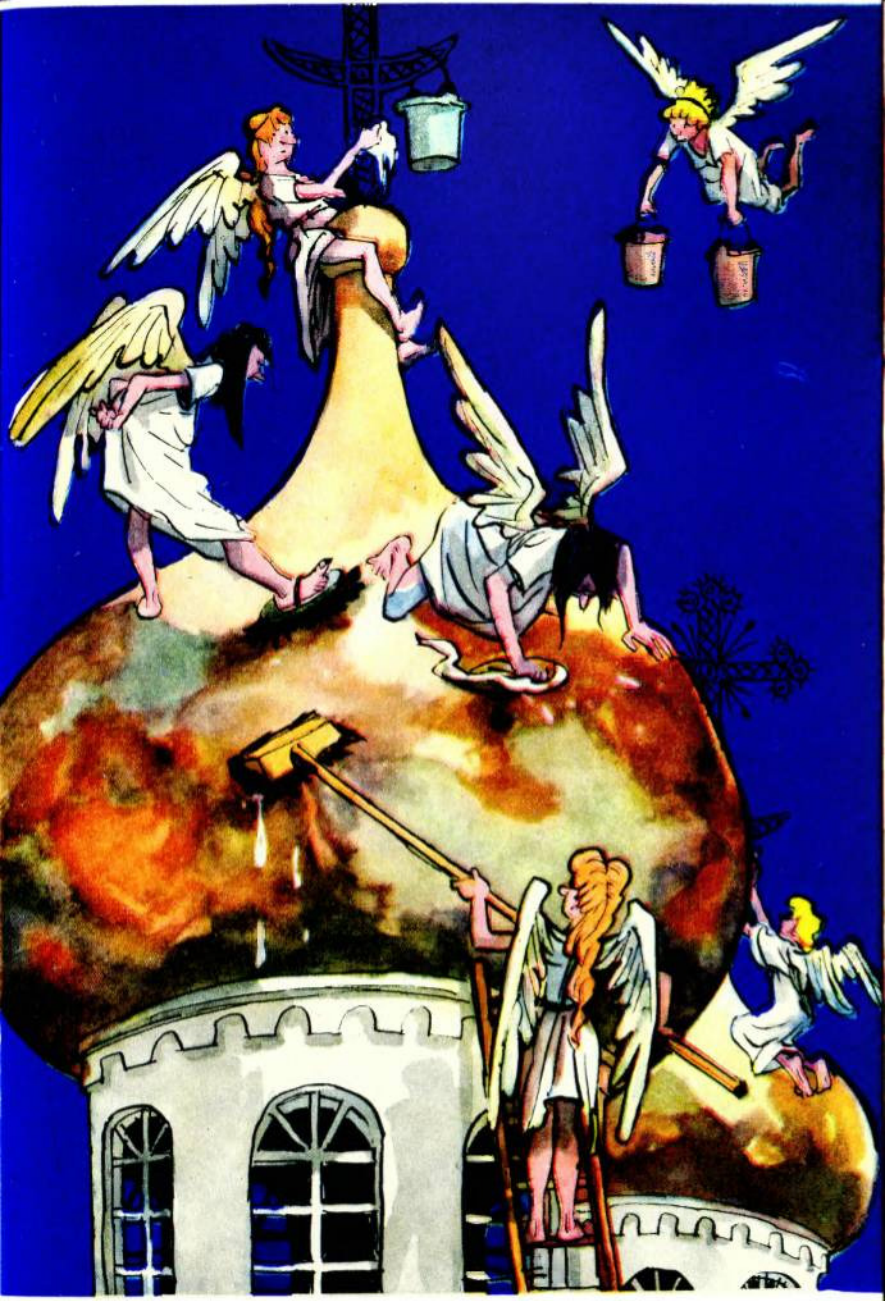
— Гм!.. Гм!.. (Это — бухгалтер.)

А помощник бухгалтера, так тот прямо запротестовал:

— Это против инструкции... По инструкции на усушку, утечку и утруску положен определенный процент... Это записывать нельзя... Надо в центр, как центр...

Инцидент...

— Екатерина Петровна! Мы тут, члены правления, посоветовались между собой и решили просить вас взять



«ОБНОВЛЯЮТСЯ ЛИ?»



«ДЕЛА НЕБЕСНЫЕ»

на себя культурно-просветительный отдел... Работник вы очень хороший и чрезвычайно для нас полезный... И мы вас ценим. Но для такого дела, как торговля, опыта у вас еще маловато... Поработаете, поприсмотритесь — и прекрасный из вас выйдет кооператор-оператор... Вы не сердитесь... Интересы дела...

— Да нет... Я ничего не имею... Мне все равно, где работать.

Встретил я как-то Екатерину Петровну.

— Ну, как живется-можется?

— Подкачала, голубок! Нет опыта. Учусь! Присматриваюсь!

А теперь давненько уже не видел Екатерины Петровны... Как там она — не знаю... И в газетах что-то не слышно о ней... На одну только заметку наткнулся:

«Где женщина в кооперации — там растрат не наблюдается...»

А про Екатерину Петровну ничего не нашел.

1926

Трудные времена настали

(К женскому съезду)

О доле женской. Каких-то семь лет промелькнуло, а глядите, сколько перемен! Да каких перемен...

Возьмем женщину.

Жила она и радовалась...

Подрастет, выдадут замуж, очипок[1] наденет, колыбельку повесит, веревочки в колыбельке прочные, сиди себе и подвывай потихоньку:

Ой ну гойда, гойда,
Чужая мать пройда,

А наша люба
Не идет никуда,

Будет дома сидеть
На Оришечку глядеть.

А-а-а-а-а!
Люли-люли-люли,
Котику дули...

На следующий год чуточку не так... Уже вместо Оришечки:

На Ивасика глядеть...

На третий год:

На Килиночку глядеть...

На четвертый:

На Андрейку глядеть...

[1] Очипок — чепец.

И только иногда бывало, задумается женщина, когда батюшка учудит какого-нибудь Акакия...

— И такое батюшка повыдумывал. И как тут петь — такое чудное имя дали...

Утром встала, за курами присмотрела, какая из них с яйцом... Свиньям вынесла, корову подоила, потом к печи. Летом одна работа, зимой — другая.

Живи себе и радуйся...

Воскресенье бог пошлет — в церковь сходила, свечку прилепила, домой пришла — дома пироги, капуста и вареники...

А после обеда кумушка приходит:

— Не почесать ли голову, кума?

— А я вот к вам собиралась, голубушка... Новую гребенку старик на базаре купил...

— Ложитесь, кума...

И так хорошо... Лежишь себе на лавочке, у кумы на коленях... А летом — в саду под вишней, на рядне... А кума почешет новой гребенкой, волосок к волоску кладет... Лежишь себе, дремлешь, а на голове только — тр-р-рись, тр-р-рись!

И так мило, и так спокойно!

Волосы длинные, ухоженные...

Когда муж придет, собьет очипок, схватит — так есть за что ухватиться...

Жили, точно в карты играли...

И до старых лет доживали...

Бабушками становились, внуков качали и старенькому на воскресный день рубашку стирали...

Хозяйничала уже или дочка, или невестка...

А старик, бывало, придет, поглядит:

— Где же, старушка, твои шелковые волосы? Не за что уже ухватиться...

— Э, старик, не те годы! Поистрепались мы с тобой!

— Поистрепались, старенькая, поистрепались...

...И мужья уважали...

— Вот у меня жинка! Вот жинка! Ноги мне помоет и воду ту, если я захочу, выпьет!

— А у меня муж? Век прожили — «врешь» никогда не сказал... Только утром встанешь, матюкнет и недоуздком огреет — и больше ничего. И уже внуки есть. Живем и до сих пор, как бог приказал...

Было когда-то — минуло...
И к чему теперь идет, к чему оно и поворачивает?
И в комитет бедноты...
И в сельский Совет...
И в кооперацию.
И во Всеработземлес...
И в женотдел...
И в партию...
И в ликбез...
И в охматмлад...
А муж чертом:
— Я за тебя, что ли, за курами буду присматривать?
— А яйца ешь?
— Яйца? Яйца — дело десятое! Но чтобы я проверял, которая с яйцом, чтобы я маралася, да пусть они сдохнут!
Трудные времена настали...
Не успеешь в ликбез заскочить, а он, чертова образина, клуню откроет, сядет:
— Цип-цип-цип-ципу-у-у!
Зайдут бедные куры, а он доской — тр-р-рах! И тогда:
— За курами смотри, охматмладка ты делегатская! В клуне почти все снопы побили... Зажарь вон тех троих,— это я их из клуни вытурил!..
Или ребенка в помойную лохань посадит и в крик:
— До каких пор ты по собраниям будешь шляться? Дети вон в помойных лоханях плавают, а тебе все революция?! Ой, Наталка, зудят у тебя волосы! Ой, зудят!..
Да махнешь только рукой.
— Зудят, да не тебе чесать...

. . . . . .

Трудные времена настали...

1926

Дед Матвей

РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ,
НАСТОЯЩЕМ
И БУДУЩЕМ

Земля — Луна — Марс

Недалеко то время, когда можно будет побывать на Марсе, на Луне и т. д.

(Из газет.)

Мы практики...

Мы, само собой разумеется, не против того, чтобы побывать на Луне, или на Марсе, или даже на Сатурне и на Нептуне...

На Луну, к примеру, это не тяжело... Лететь пять дней всего. Это — немного.

Зарядят вас в ракету (в ракетах, говорят, туда будем ездить), выстрелят, к примеру, в понедельник, а в пятницу вы уже с Луны знакомых на Земле ручкой приветствуете:

— Здравствуйте! Уже тут!..

А вот на Марс сложнее. Двести пятьдесят шесть дней на Марс надо лететь.

Восемь с половиной месяцев... Тяжеловато малость... Это еще если у тебя в пути никакой загвоздки не случится, не зацепишься там за какое-нибудь созвездие Плеяд или Ориона... А то и целый год придется лететь, пока на Марс доковыляешь...

Довольно долго все-таки... Хотя во время революции и приходилось из Харькова в Киев месяца четыре иногда ехать, но мы об этом уже позабыли — это раз, а во-вторых, это тебе не восемь месяцев...

И к тому же вы были у себя дома. На станции можно было и яичко какое за кожух выменять, а тут —

дорога неизвестная, харчи надо брать с собой... А ежели подсчитать, сколько нужно одного хлеба на двести пятьдесят шесть дней брать, и соли, и сахару, то выйдет так, что придется в одну ракету садиться самому, а за тобой десяток ракет с продуктами будут свистеть...

Да еще, боже сохрани, посмеется кто-либо из механиков и «зарядит» продукты сильнее, чем вашу ракету, и получится так, что вы еще только к Луне подлетаете, а ракета с бубликами уже чуть ли не около Венеры... И кричать некому:

— Перехватите, товарищи!..

Да что тут говорить: на первых порах немало будет всяких неудобств...

Потом оно, конечно, наладится...

Когда по дороге на Луну, на Венеру и на другие планеты помельче будут продуктовые ларьки, тогда не так страшно...

Долетел, разрядился из ракеты, забежал, перекусил и заряжайся дальше...

А пока все с собой придется брать.

Наши практические предложения по этому поводу такие.

Прежде чем совершать рейсы в межпланетном просторе и на всякие планеты, следует по пути:

1) Открыть продуктовые ларьки.

2) Открыть столовые общественного питания, при одном только условии, что там быстренько будут подавать есть, а то ракета — не лошадь и не трамвай.

3) Не мешало бы к Луне и пивной бар прикрепить.

4) На Венере (к ней сто двенадцать дней ехать) больницу с родильным отделением открыть, а то в дороге всякое может быть...

С первой партией высадить на Марсе социально опасный элемент. Оно хоть и пишется, что марсиане народ культурный, да кто их знает — никто ведь их не видел... Это же только догадки... Прилетишь, возможно, вылезешь, а земляки с Марса подскочат, мигом тебя на палочку и шашлык из тебя и зажарят.

Доказывай тогда, что ты с добрыми намерениями.

1924

Почините же, пусть вам счастье!

Ой и дорога! Ну и шлях! И побей же тебя лихая година! На Загибайловку и не тыкайся!

— А куда поедем?

— Видно, придется на Трясучку...

Хоть и двадцать верст круг дадим, зато доедем... А на Загибайловку и не думай...

— Двигаем, значит, на Трясучку...

Думал за день управиться, а придется, вероятно, с неделю...

Вот такой разговор в каждом селе на «крестопоклонной» неделе у каждой калитки услышите...

Потом чешется потылица, крутится цигарка, зажигается и сплевывается:

— Эх и дорога! И-и-и, до чего же клятая! И что ты в белом свете поделаешь?! Ну, никак ты того, волчьего овражка не перепрыгнешь...

— Так-то так... То овражек!.. То такой овражек, что если размоет, нет тебе никакого спасения... Когда-то я как вляпался, так дергал-дергал, дергался-дергался, а потом за ножик, да по гужам — р-р-раз! А сам на кобыленку: «Но!» И то насилу выдряпался... Оглянулся. «Прощай,— говорю,— мой воз!» Добрячий воз был...

— Да, действительно... То овражек!..

— Здравствуйте! О чем гомоните?

— Да все про дорогу! Про волчий овражек!

— Про овражек, говорите? Действительно, овражек! Пропала и у меня пара колес... То овражек!

— Придется, брат, как я думаю, круг давать. Далеконько, что говорить, но ведь овражек...

— Да, видно, так. Ничего уж не поделаешь. Выходит — придется.

— А тут вот уж как некогда... Неделю извел на этот овражек,— а мне бороны чинить!

. . . . . .

И так ежегодно!

А оно и дела-то всего, что починить тот шлях требуется.

1924

Про свиней, про поросят, про колбасы, про потроха и про разные очень вкусные вещи

1. Что такое есть свинья

Свиньей называется такой человек... (Стойте-стойте! Не туда заехал... Вот так всегда, едва про свинью начнешь, так кого-то из знакомых и вспомнишь...)

Свиньей называется такое животное, которое имеет четыре ноги, одно рыло, один винтиком хвост, пару ушей, любит, когда ей кричат: «Паць-паць-паць-пацю-у-у». Очень не любит, когда на нее гаркнут: «Чу-чу, чтоб ты подохла!»

Вот это есть свинья.

Свинья хрюкает, чем отличается от собак, так как собака гавкает... Кроме того, между свиньей и собакой есть еще одна большая разница. Собаку обычно зовут или Лапко, или Рябко, или Бровко, а свиней никогда так не зовут. Свиней зовут Чушка, или Рябая, или Белая...

Раньше к свиньям относились невежливо, насмехались над ними. Что, мол, с нее спросишь, если она свинья? Свинья — и квит...

А потом, как пригляделись, как взвесили, как подсчитали — мамочка ты моя! Не свинья, а банк. Настоя-

щий тебе банк или кооперативное кредитное товарищество, куда можно вкладывать все, что у тебя есть лишнее, а оно тебе растет, а тебе с него проценты прут.

2. Почему свинья в барыни попала, а барыня в свиньи

Почему?

Ну, где же вы такую барыню найдете, чтобы ты ее так кормил, а она тебе во-о-от такую корысть давала?

Попробуйте найти такую барыню, чтобы она вам за 10 лет вместе со своим барином дала 40 000 000 (сорок миллионов) поросят!

Найдете?

Да никогда в жизни!

Хотя оно, положим, паны, когда еще имели экономии, тоже плодились очень здорово, но какая из этого корысть была?

Только и было, что паненята из централок воробьев по селу стреляли и народ православный пугали... Или, допустим, разве из того пана смальца натопишь?

Вот то-то и оно!

А добрая свинья да красивый русый молодцеватый хряк, как хорошо подсчитал один профессор, за 10 лет могут дать приплода 40 000 000 свиней.

Вот и сравните их с паном и с барыней. И выйдет, что свинья — барыня, а барыня — «свинья». Что хряк — барин, а барин — «хряк».

Разумеется, что барыня — «свинья» в прежнем понимании, если так на свинью смотреть, как когда-то на нее смотрели.

Если же взять прибыль от настоящей свиньи, то далеко до нее барыне.

От панов отделались — заводите вместо них свиней. Свинья на землю не позарится, четвериками ездить не будет, работать на нее нужно значительно меньше, чем

на пана, а корысти от одной свиньи куда больше, чем от всех панов на белом свете.

3. За что же эту свинью хвалят

А как же ее не хвалить?

Допустим, купили вы свинью. Не свинью, а поросенка. Замешали ей мешанки там или чего другого, раз несколько вынесли, глядь — уже подсвинок.

Не успели вы того подсвинка в саж засадить, вот уже и покрова, вот заговены на филипповку, не успели оглянуться, и три недели филипповки промелькнули, а ваш «подсвинок» уже в клетке не умещается.

А перед рождеством вы уже всем семейством на «подсвинке» сидите, «давите», «смалите», скребете и начиняете...

Жена бегает, будто именинница, а Васько орет:

— Тату, мне хвост!

Килинка визжит:

— Мне уши!

Кум бутылкой из-за тына помахивает:

— С колбасами, Кондратович!

А вы прямо будто князь: ни подхода к вам, ни приступа.

Ведь все ж таки: липовый — бочонок сала — пудов этак на пять (куму вы говорите: «Да может там с полпуда и содрал! Паршивый поросенок такой, зачучвиренный». Обязательно так скажите, а то одалживать будет, лихая година), колбасы четыре жаровни, потроха, полная макитра внутреннего «сдеру», четыре окорока, ножки, голова, почеревина... Так ничего тебе не пропало зря... 85 процентов живого веса свиньи идут на пользу. Только 15 процентов (кости) и выбрасываются... Да и то уже после того, как холодца мисок восемь стоит в погребе, первого дня дожидается.

Вот что значит ваш «подсвинок».

Да как же ее не любить, если ни конь, ни корова, ни овца, ни коза никогда не дадут вам того, что дает свинья?!

4. Вот чего только не забывайте

Не забывайте того, что наивыгоднейшие свиньи не простые, а породистые свиньи...

Простые свиньи — «необразованные» свиньи... Корми его, пичкай его, а оно худое и худое.

Если же добрую породистую кормить, то так сатану разнесет, что лежит, будто арба.

Заводите, значит, породистых свиней.

Есть еще одна порода свиней... Это так называемые «свиньи собачьи».

Вы их не разводите, но если вам кто-то скажет, что держать свиней не выгодно, так вы ему тогда смело и загните:

— Иди ты к свиньям собачьим!

Вот для чего такие свиньи.

1924

Как у дядьки Кондрата гусеница штаны съела...

(Чистёхонькая правда)

Расскажу — так не поверите...

Как-то взял Кондрат в кооперативе три с половиной аршина черкасина.

Не черкасин, а прямо тебе «всех скорбящих радость».

Палажка как увидела — так и припала:

— Тату, это мне на корсетку!

— Не будет, Палажка, дела! Штаны мне будут! Черкасин добрый, сошьют, чтоб на спаса было-таки в чем и в храм выйти... И отстань, не приставай, потому что хватит мне в домотканых красоваться... Это такие штаны, что еще и тебя будет в чем замуж выдать... Годы идут, в этих штанах меня и похороните...

И понес к портному.

— Ось! Смотри, Пилип, крои по совести, потому — черкасин...

— Так то уже нас не учите,— говорит Пилип.— Вам как? В галифе попустить, или в шагу?

— Попускай в шагу, чтобы не терло... Пуд дам, да, может, еще если накапает, то и чарка какая перепадет.

Одним словом, сшились штаны. На роговой пуговице, сборка в сборку.

Надел Кондрат, полюбовался, присел, поднял правую ногу, поднял левую — ни за что не задевает.

«Свобода» всюду, как после революции.

— На, старая, спрячь в сундук... На спаса надену...

А ты, Палазя, не огорчайся... В саду уродит, продадим яблоки — будет тебе корсетка... Прячь, старая, прячь, и тебе кубовая юбка будет... Уродит — и будет... Полдесятины сада — хватит и на корсетку и на юбку.

. . . . . .

А гнездышки на яблонях в саду — прямо в глазах рябит, на каждой веточке...

— Поснимать бы их, что ли, старик?

— Пусть! Хай немного потеплеет... Там после крещения еще немного святой воды осталось... Покропим, оно и не возьмет... Болтает черт знает что!..

. . . . . .

Потеплело... Сбрызнули освященной водой...

Гусеница от «святой» воды заворошилась да как чесанула... Сначала ела листья, а то уже за веточки взялась...

Стоят не яблони, а кострица..

. . . . . .

Уродило... Не яблоки, а сплошные «дули»...

— Так ты что же, старая собака, себе думаешь? В новых штанах прохаживаться? А я тебе «гимназией» в святой церкви буду светить?

— Ишь вы какие! Себе так черкасиновые штаны сшили, а у меня из кофточки локти вылезают. А Петро вчера сказал, чтобы я себе «вот это» чем-нибудь прикрыла, а то сквозь кофту повыскакивают. Не могли в домотканых походить?

. . . . . .

— На! Забирайте мои черкасиновые! Берите! Нате и домотканые! Пейте мою кровь!

. . . . . .

И стоял Кондрат в саду без штанов. Смотрел на яблони и головой качал:

— И чтобы было пообирать!

1924

Первое путешествие

Не совсем хорошо уже помню, куда именно предполагалось путешествовать: в Америку к индейцам или в Африку за слоновыми клыками и за шкурами леопардов и львов, но путешествовать решено было обязательно...

Очевидно, сначала нужно было посетить остров Робинзона, пожать руки правнукам Пятницы, после высадиться из лодки на африканском берегу, настрелять слонов, бегемотов, львов, леопардов и тигров, подразнить палкой крокодила, фыркнуть на боа-констриктора — и только тогда со слоновыми клыками и со звериными шкурами прокатиться на лодке через Атлантический океан к Америке, посетить хижину дяди Тома и посмотреть, как Ястребиный Коготь сдирает с бледнолицых скальпы.

Из Майн-Рида и Фенимора Купера перечитали мы абсолютно все, что было в волостной библиотеке и в окрестных школах; случалось иногда выкрасть или попросить через горничных книжку и у барина.

Собрались мы в Африку и в Америку сначала втроем: я, Панько Верба и Омелько Канда.

А когда встал вопрос, с кого Ястребиный Коготь будет сдирать скальп,— решили взять Сашка Кендюха, неуклюжего и неповоротливого маменькиного сыночка. Никто из нас его не любил, так как в школу он не приходил, а приезжал с хутора. На переменке он всегда

вытаскивал из мешка колбасу или жареного цыпленка, тогда как мы завтракали хлебом с огурцом или луком.

— Возьмем Сашка! Как дойдет до скальпа, мы вытолкнем его, пускай с него сдирают, у него голова здоровая и волос жесткий.

Сашко согласился. О скальпе мы ему, понятно, не говорили.

Сашко был полезен еще и тем, что имел возможность набрать на дорогу сала, хлеба, яблок и даже денег. Он нам признался, что знает, где бабушка прячет кошелек, а у бабушки было не меньше пяти рублей!

Пять рублей! Черт знает куда можно было заехать на пять рублей, да еще с салом, хлебом и яблоками.

Не только в Африку, но и за Африку, и даже туда, где Суматра, Ява, Борнео, Целебес, Сандвичевы, Курильские, Кольский, Канин, Апеннинский, как в географии мы учили...

Карты в школе не было, поэтому как скажет, бывало, учитель:

— Начинай сверху!

И начнешь:

— Кольский, Канин, Скандинавский, Ютландский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Таврический, или Крымский.

Полуострова в Европе.

То же самое с островами:

— Корсика, Сицилия, Сардиния!

— Ну, дальше,— нажимает учитель.

— Суматра, Ява, Борнео, Целебес.

— Дальше!

— Крит! И тот... как его там... Берингов пролив и тот... Грин... Грин... Гринляска!

— В угол!

Так что географию мы знали...

Лодку мы наметили украсть у деда Пидсотка на озере,— дед Пидсоток там сети ставил, карасей ловил,— ночью перетащить к речке (речка звалась Ташань), поплыть по Ташани до Ворсклы, по Ворскле до Днепра,

по Днепру в Черное море,— ну, а морем путь уже прямой, как на ладони, в Дарданеллы, Босфор, из Босфора немного вправо, в Бабэльмандебский пролив, а оттуда уже до Африки «как до соломы».

Сашко Кендюх натаскал булок, сала, яблок, спичек, соли... Все это мы припрятали в глинище за кладбищем.

Был конец мая.

Однажды темной ночью, когда дед Пидсоток расставил на озере сети, мы тайком перетащили его лодку с озера на речку.

Той же ночью, задолго до рассвета, мы должны были дать стрекача, но Сашко Кендюх никак не мог добраться до бабушкиного кошелька: бабушке в ту ночь не спалось, она все кряхтела и кряхтела и задремала только под утро.

Пока Сашко следил за бабушкой, мы с Паньком и Омельком перенесли из глинища в лодку продукты и кое-какую одежду.

Уже светало, когда прибежал, запыхавшись, Сашко.

— Шесть рублей! — выпалил он.

— Ого!— крикнули мы и давай скорей укладываться. Не скажу, почему в тот день нечистая сила сорвала деда Пидсотка ни свет ни заря,— кажется, базарный день в местечке был, и дед решил пораньше очистить сети, чтобы первым со свежей рыбой на базар явиться.

Подошел дед к озеру, нет лодки...

Дед юрк туда-сюда, а от озера через луга к речке по траве след, где мы лодку тащили (вот какие мы были мудрые, как следы замели!), дед по следу к речке, и только мы хотели оттолкнуться, как Пидсоток:

— Куда это вы, висельники, а?

Ну, мы из лодки, как лягушки,— прямо в воду! Воды в речке было по пояс... Я успел ухватить булку. Бабушкины шесть рублей были зашиты у Панька в поясе... Мы бегом лугами до Ясенового... Это такой лесок за селом с глубокой балкой посредине. Засели в балке, в густом орешнике, сидим, сопим.

— Что дальше делать?

А чертов дед Пидсоток поднял шум на все село:

— Ишь, сукины сыны! Острожники, изуверы, башибузуки! — Разошелся дед, чуть ли не все село собрал.— Чьи?

Дед всех узнал и всех выдал...

Матери наши каждая по-своему:

— Ой, боже мой!

И каждая начала искать что-нибудь длинное и увесистое...

— Где же они? Дайте мне моего! — Каждая мать ударила руками о полы.

— Подались в Ясеновое! — пыхнул трубкой дед.— Нет, вы смотрите, люди добрые, лодку украли! Как бы я тогда сети ставил?! А? Вот разбойники! Поймаю — изничтожу!

— Куда ж это они собрались? — плача, спросила моя мать.

— Куда бы ни собрались, а конец один — острог! — махнул рукой дед Пидсоток.

Матери опять:

— Царица небесная! Ой, дайте мне моего!

Дед Пидсоток выбросил из лодки на траву одежду и все наши запасы.

— Забирай, чье оно тут есть! Да помогите лодку к озеру перетащить! Ишь, хлюсты, сколько травы истоптали! Беритесь! Ревете тут! Смотреть за лоботрясами нужно лучше, чтобы не хныкать потом! Матери!

Взялись наши матери за лодку и вместе с дедом перетащили ее к озеру...

Двое суток сидели мы в Ясеновом, в балке... А потом вечером пошли домой.

Мать очень плакала, а отец поучал, как из дому удирать в путешествие...

Фантазия, помнится, зародилась у меня в голове, а отец выбивал ее совсем из другого места. Вожжами...

Панько и Омелько тоже садились на скамейку потихоньку, осторожненько и при этом морщились-морщились.

Через неделю наведался из хутора Сашко Кендюх.

— Ну как? — спросили мы его.

— Два кнута на мне отец изломал! Очень сердился! — рассказал Сашко.

— А бабушкины деньги? Шесть рублей?

Панько отдал деньги Сашку, еще когда мы в Ясеновом сидели.

— Подбросил бабушке там, где она кошелек прячет. Бабушка думает, что она вытряхнула его, когда в субботу деньги на свечку брала...

Так закончилось наше путешествие в Африку за львами и в Америку, где мы собирались посмотреть, как сдирают индейцы скальпы с бледнолицых.

Давным-давно это было...

Было это чуть ли не в то лето, когда короновался на царство последний российский император и когда староста гонял всех в церковь, чтобы вымаливали «многая лета» царю.

Не очень горячо, видать, молились тогда за царя и императора, ибо лета ему вышли не такие уж долгие, а главное — последние для него и для всей его династии.

1926

Дед Матвей

Во-о-он там, у пшеничных копен, дед Матвей гусей пасет...

— Здоровы были, дед Матвей!

— Здравствуйте!

— Как живете?

— Ничего себе!

Только дед Матвей «ничего себе» не скажет, а говорит дед Матвей о том, как живет он, по-своему...

Очень уж «круто» говорит дед Матвей... Вообще дед Матвей говорит чрезвычайно «кудряво», и после каждого выражения, после любого слова дед Матвей «загибает» и «загибает» так, как никто вокруг «загнуть» не способен...

Великий дед в этом деле архитектор: у него столько этажей, с такими карнизами, с такими узорами, что не разговор у деда Матвея, а кружево, «богом», «душой», «Христом-богом» и «матерью» вышитое...

Еще с детства как начал панов честить, так до сих пор...

Пусть и панов давно нет, но не отвыкать же деду Матвею в 73 года!..

— Вот как вышвырнул меня батько под плетень еще вот таким, я встал да как пошел, как пошел!.. А было мне тогда... Был, как говорят, не подросток, не парубок... И такого я на своем веку насмотрелся и наслушался... И ничего, не свалили. Живой. И жить буду еще, так как наша теперь взяла...

. . . . . .

Дедова теперь взяла...

Стоит дед Матвей среди поля, а справа у него Псел, а перед ним луг... И луг, и поле, и Псел, и все вокруг теперь «наша взяла».

Стоит дед Матвей, на дрючок опирается... Невысокий дед Матвей, в белой жилетке, в белых полотняных штанах, в черном картузе, на брови надвинутом, и смотрит дед Матвей на все четыре стороны своими уже незоркими глазами... И ноги у деда Матвея уже немножко колесом, и хлопают деда Матвея по икрам короткие голенища. Дед Матвей в сапогах, так как:

— Э! Колется! Стерня колется!

А сколько эти подслеповатые дедовы глаза поперевидели за 73 года, сколько эти дедовы немножко колесом ноги повыходили, сколько эти дедовы потрескавшиеся руки перетаскали, а сколько эта спина у деда Матвея повынесла!..

Может быть, поэтому очи его теперь слезой омываются, так как:

— Не вижу уже теперь, трясця его матери, как когда-то видел! Левое слезой берется и закисает!.. Говорят, розовым цветом промывать. Промывал — не берет... Мне бы вот крашанку [1], я бы в пять секунд вылечился... Из крашанки такое лекарство знаю, что намажу — и все... И прошло...

Может быть, поэтому и ноги у деда Матвея немножечко колесом, так как:

— Не побегу уже теперь, как когда-то бегал. Гусыню, бывает,— издохла бы она,— не догоню!.. Вот так...

И руки уже у деда Матвея не так косу тащат, и спина у деда Матвея уже не так ловко сгибается и выпрямляется...

Только дух у деда Матвея, как и прежде:

— Да не покорюсь, ей-богу, не покорюсь... А как увижу неправду, смотри мне, для неправды у меня вот этот дрючок выстроган... Так и порешу!.. Враз!..

* * *

И поработал же я, если бы ты знал. Ей же богу, не меньше чем вон ту гору труда вытрудил... Как пошел

[1] Крашанка — яйцо.

это из-под плетня на Таврию, к пану овец пасти... Хвайн — пан назывался...

— Какой Хвайн, дед Матвей? Может, Фальц-Фейн?

— Ну да, Одивард Иванович... Два их было: один Одивард Иванович, а второй Илья Иванович... Полей у них, полей да степей!.. Станешь — не видать тебе ни конца ни края... Скота того, скота, а овец — тьма-тьмущая!.. Четыре года по тем степям гонял... Потом на Черноморье подался... К казакам... Косарем там был...

Даст, бывало, хозяин стакан горилки:

— Катай, Матвей!

Да возьмешь косу — как пойдешь, как пойдешь вдоль, а хозяин стоит и только рукой махнет, где поворачивать... Тогда вольные степи были — сколько кто закосил, то и твое... Только никто за мной угнаться не мог... Сколько же я этой травы степной положил! И все вот этими руками... Да и домой вернулся... Тридцать три года в экономии у пана Корецкого протолкался...

— Тридцать три года?

— Тридцать три года, как одну копейку... И на отработку и на срок... И зимой и летом... И в дождь и в снег. А пан бешеный. Выйдет в поле и матюгами, матюгами... Ну и матерился же, сукин сын! Бывало, материт, материт, а я молчу. А потом я ему:

— Кончили, барин?

— Кончил.

— Так теперь я начну.

И к нему:

— До каких же пор ты, раз... издеваться будешь?

Да как возьмусь, как возьмусь!.. Он матюгами, а я еще крепче. Тогда он как загремит:

— В тюрьме сгною сукиного сына!

— Тюрьма,— отвечаю,— наша! Для нас тюрьма! Что пугаешь! Да приду же я когда-нибудь из тюрьмы, век там вековать не буду! А ты куда денешься? Изожгу! На пепел изожгу!

Тогда он на коня, и ходу...

Четверо нас таких было... Один из Федоровки, один из Песков, один из Броварок, а я из Маниловки... И никому мы не спускали.

Говорил тогда пан:

— Из каждой слободы по сукиному сыну!

Но боялся меня пан! Ей-богу, боялся!

Довелось и в тюрьме сидеть... Приказчика едва не убил!.. Эх, и бил же!

— За что?

— За неправду бил... На отработку снопы возил... Тяжкая была отработка. Даст пан десятину, а ты ему за одну эту десятину три десятины выкоси, свяжи, свози и сложи. А баба моя тогда вот этой дочкой тяжелая ходила... А снопы, как гири... А скирды под облака... Я на скирде, а баба снопы с арбы кидает... Побросай снопы, если она вот-вот рассыплется!.. А он, приказчик, значит, ходит, гадина, и все ему не так, все ему не так!.. Забрался на скирду и давай то, что я сложил, разбрасывать... Столкнул я его со скирды и сам за ним. Да как насел — бил, пока хотелось. Судили меня — выкрутился... Нашли, что приказчик неправильно поступил... Не смирялся я! Никогда не смирялся!.. Меня уже тогда называли... Как же это оно?.. Ливоруционером меня называли... Я и тогда этого ждал. Я знал, что оно будет... Вот это будет, что теперь пришло... Революция... А уже как пришло... Ни единого раза в сборне[1] не пропустил... Да все думаю: «А что бы пан сказал, если бы был живой...» Пропал пан еще до революции. Помер... Вот хожу на сборню, слушаю. Нет панов. Нет даже посмотреть. А я тридцать три лета и тридцать три зимы подряд вот этими руками пану за шкуру сало закладывал. Вот как было. А теперь наша взяла... Хожу это и радуюсь... Вдруг говорят: «Гетман»... Вдруг: «Немцы». И к нам заявились... Бьют. Неужели, думаю, пропало все?.. Пришли немцы, собрали нас на площади, а сами вокруг... Что же, думаю, будет?.. С ними и наши каратели... Уже кое-кого били... Стоим мы... А я к ним:

— А позвольте,— говорю,— спросить, как вас атитуловать?

Заметил я, как один у них спросил:

— Куда вы, товарищи, едете?

А они его в четыре нагайки как взяли:

— Товарищи, говоришь?!

Клочьями мясо с него рвали...

---

[1] Сборня — сельская управа.

Так вот я и спросил, как их атитуловать — господами или благородиями.

Один подскочил да нагайкой меня по ногам.

— Аратар! — говорит.

«Бей,— думаю.— И тебя когда-нибудь ударим!»

Сколько они тогда народа перепороли! Буржуи выдавали...

А потом снова наша взяла...

Было, всего было. И все-таки наша сверху...

А как Махно как-то раз под пасху в село ворвался... Поплакал я тогда... Савку моего едва не зарубил, идол!.. Восемь человек тогда в щепки потесал!.. Приехал как раз Савка из Красной Армии. Взял ребенка и пошел к куме. А махновцы и прискакали... А он приоделся, побрился... Известно, из армии пришел...

Они к нему:

— Документы?!

А у него тогда был документ, что он на курсы назначен...

Забрали они его с ребенком в штаб. А мы и не знали. Сидим у соседа на обеде: жена у него как раз умерла... Вдруг прибегает баба:

— Савку вашего забрали!

Сорвался я с невесткой и в штаб. А штаб в Верхней Маниловке. Бежим с невесткой... А невестка, хоть и с ребенком — так молодая же, а мне уж куда бегать! Бегу, а под грудью горько мне, горько... Не добежал до штаба, вот примерно как до нужника, и упал... Подхватился и опять бегу... Прибежали...

— Савку моего,— прошу,— отдайте! Один он у меня! И дети малые!

Махно сидит у стола, а около него костыли... Мы с невесткой к земле припадаем и плачем, плачем... Вдруг входит какой-то адъютант. Головища у него, как вот бывает собачонка кудрявая.

— Потесать,— спрашивает,— батько?!

И тут:

— Собирайся! В поход собирайся!

Удирать, значит, нужно...

Махно к Савке:

— Твое счастье. Иди!

А тот, кудрявый, и говорит:

— Может, батько, хоть арапников всыпать?

— Не нужно! Собирайся!

Выскочили мы с Савкой.

А восемь человек хороших хлопцев в щепки порубил.

* * *

Рассказывает дед Матвей о жизни своей... И люльку курит и сплевывает... И в голосе деда Матвея слышится сила какая-то земляная...

Пережили. Все пережили.

— А скажи ты мне, что оно за «шехпалка» такая? Откуда оно пошло?

— Это, дед, нам на село помощь, чтобы из темноты быстрее выбрались... Рабочие в городе сознательнее нас, вот и взялись за шефство, чтобы нам помочь...

— Вон оно что! Значит, я тоже за «шехпалку» был. Над лазуретом... Взялось наше село лазурет содержать... Вот меня и назначили... Собирал я яйца и возил в Кременчуг, в лазурет... Там солдаты из Красной Армии поранятые лежали... А почему меня назначили? Потому, что у меня, брат, не попасешься. У меня, брат, черта с два к карману прилипнет... Все, брат, до крошечки, в лазурет! Было так, что не досчитались в комитете пятнадцати крашанок... Когда смотрю, а они под шкафом... Я туда, а они с дырочками... Хлопцы говорят:

— То мыши, дед!

А я говорю:

— Чтобы мне этих мышей больше не было! А то головы раз... И поотрываю. Для ранятых собрано, ранятым и должно быть.

У меня не попасешься!..

Нагрузил воз и в Кременчуг, в лазурет... Привезу.

— Здоровы были!

— Здравствуйте, дедушка!

— Воспитания вам привез!

Встаю и иду в палату... А дохтур за мной. Подхожу к больному; лап за тухляк:

— Перемените, потому негодящий!

Подхожу к другому: лап.

— Переменить!

А я новые тухляки привез...

Вношу хлеб, вношу яйца.

— Ешьте, товарищи ранятые!

А дохтур:

— Так нельзя, дедушка. Им по назначению есть полагается.

— Как,— говорю,— нельзя? Пусть едят и поправляются. Ешьте! Чтобы все при мне поели!

— Нет,— говорит дохтур,— так нельзя... Мы выдадим им сколько нужно.

— Ну,— говорю,— выдавайте. Только чтобы все до щепки им было выдано!

— Да не беспокойтесь.

Хороший дохтур был...

— А чего,— говорю,— дух у вас в лазурете тяжеловатый? Прибирать нужно!

Сразу же помыли, карбол-кислотой побрызгали...

— Вот это,— говорю,— так. Так и должно быть!

Ходят они за мной, слушаются.

«Шехпалка» я — ничего не попишешь.

* * *

Правду люблю. Разорву, если не по правде... Вот в Полтаву ходил, на суд, ходил за правду.

— Как же так?

— А так... Лесники обыск в селе делали... Все село трясли. Дерево, что ли, искали... Приходят ко мне:

— Здравствуйте, дед!

— Здравствуйте!

— Можно ли у вас обыск сделать?

— Почему же, можно,— говорю,— а из Манжелии, из района, у вас мандат на обыск есть?

— Нет.

— Так идите,— говорю,— откуда пришли!

Один ко мне... Замахивается.

А я его метлой.

Подали в Манжелию, в суд... Не берет ихняя.

Тогда они в Полтаву...

Приходит повестка... На суд в Полтаву. Я за палку, за торбу — и в Полтаву... Приходю... Сидю в суде. Когда вот?

— Матвей Деревянка!

— Тут,— говорю,— здесь я.

— Пожалуйте за решетку...

А там сбоку помост такой и решетка.

«Ну,— думаю,— заграбастали!..»

— У меня,— говорю,— и хлеба нет, а вы за решетку...

— Ничего,— говорят,— пожалуйте...

Стал я, на решетку оперся. Ничего. Стоит хорошо...

Сидят они: вот так — трое, так — один, а этак — один... Напротив них — я...

— Ну,— спрашивают,— отец, расскажите, как дело было.

— Да как было дело. Вот так и вот так дело было... Пришли, а я их послал.

— Как же вы их, отец, послали?

— А разве,— спрашиваю,— здесь можно сказать так, как я им сказал! Ничего мне за это не будет?

— Говорите чистую правду, как было.

— Идите вы, говорю, к... Так я их послал!

Они так и попадали.

— Ничего,— говорят,— отец. Посылать умеешь!

— Кто знает,— говорю,— умеет ли еще кто-нибудь так, как я умею.

— Ну, а вилами-тройчатками бил?

— Разве там написано «вилами»?

— Вилами!

— Брехня,— говорю,— метлой!

— Ну,— говорят,— садись, отец.

Ушли они в совещательную. Вышли.

— Идите, дедушка, домой! Напрасно они вас по судам таскают...

А я им:

— Как же я,— говорю,— пойду домой, если у меня и хлеба нет?

Тогда они:

— Нате вам эту, дедушка, бумажку, и идите в комфуз [1]. Там все вам дадут.

Дали они мне бумажку не больше этого пальца... Пошел я в тот комфуз и прямо к окошку... Вдруг один дядько из Ганновки:

---

[1] Комфуз — комхоз.

— Чего это вы здесь, дед Матвей?

— Так и так,— говорю.

— Поедем,— говорит,— а то вы здесь три дня проходите. Видите, сколько здесь народа у окошка...

Забрал он меня.

Сплел я ему за это две корзины.

* * *

— За правдой не только в Полтаву пойду. Далековато Харьков... Вот бы мне рублей семь, я бы к Петровскому! К самому Петровскому!

— А чего, дед?

— Дела есть. Такие есть дела, что только к Петровскому. Ни к кому иному!.. Мне сказано, что Петровский — этот разберется...

— А что такое, дед?

— Дохтура нет, фершала нет... Разве это порядки?

. . . . . .

И стоит дед Матвей на стерне у пшеничных копен и вдаль куда-то смотрит...

* * *

Если приедет дед Матвей в Харьков и «загнет» где-нибудь, не составляйте на него протокол.

Шестьдесят пять лет над дедом Матвеем издевались, а теперь, когда правда показалась, хочет дед Матвей, чтобы была правда во всех узеньких щелях, чтобы на месте трудового пота крестьянского, что землю озерами покрыл, всюду чтобы правда цвела...

Везде и всюду!..

1925

Вот такая мать...

Жила да была себе в селе вдова старенькая, а у той вдовы старенькой да был себе сын удалец, молодой молодец...

Вдова себе жила да жила, до старости лет дожила, а неграмотность так и не ликвидировала.

— Куда уж нам? Пусть помоложе!..

И хотя была та вдова неграмотная, а любила, как муж ей вычитывал, бывало, о пришествии, или про Серафима Саровского, или про мироточивую голову чудотворную.

Подопрет, бывало, она подбородок ладонью, склонится и слушает.

Любила вдовушка написанное послушать...

Помер старик.

Подрос сын-удалец, молодой молодец и стал в сельсовете делопроизводителем.

Придет, бывало, сын-удалец, молодой молодец домой с делами, сядет за стол, на палец поплюет и бумажки разные переворачивает...

А старая вдова на краю стола сидит, пряжу прядет конопляную.

— Почитал бы ты, сыночек, мне о чем-нибудь интересном! Как старый помер, никто уже мне не читает, а сама я не врежу...

— Что же я вам, мамо, почитаю? Нет же у нас ни про пришествие, ни про Серафима Саровского, ни про мироточивую голову чудотворную...

— Нет, сыночек, нет!.. Еще старый, царство ему небесное, покурил, когда той бумаги не было... Ты почитай

хоть что-нибудь... Пишете же вы там, в сельсовете, вот бы ты мне и почитал, что̀ вы там понаписывали...

— Так мы, мамо, протоколы пишем.

— Вот ты мне и почитал бы тех протоколов, а я бы послушала...

— Ох, какие вы, мамо!.. Ну, слушайте, коли вам так захотелось. Вот вам один протокол.

Слушали:

О том, что в школе окна повыбиты.

Постановили:

Принять решительные меры.

— Стекол, значит, сыночек, в школе черт-ма?

— Ну да, мамо!

— Что же вы там решили?

— Принять решительные меры.

— Ишь, как теперь!.. А по-моему, вот так было бы лучше: «Вставить стекла в школьные окна».

— Так это по-вашему... Ну, слушайте дальше:

Слушали:

О культурно-просветительной работе.

Постановили:

Принять решительные меры к углублению культурно-просветительной работы на селе.

— Ишь как!.. «Принять решительные меры к углублению»!.. Ох уж мне эти «решительные меры»!.. Разве нельзя написать толком, что̀ нужно сделать, чтобы эту самую, как там ее... работу наладить?

— Да, что вы, мамо, понимаете?

— Вот я говорю, что не возьму в толк, что вы там понаписывали.

— А как бы вы хотели?

— А так... Что нужно сделать, то и напишите, а не отписывайтесь, лишь бы отписаться...

— Конкретная вы, мамо, женщина.

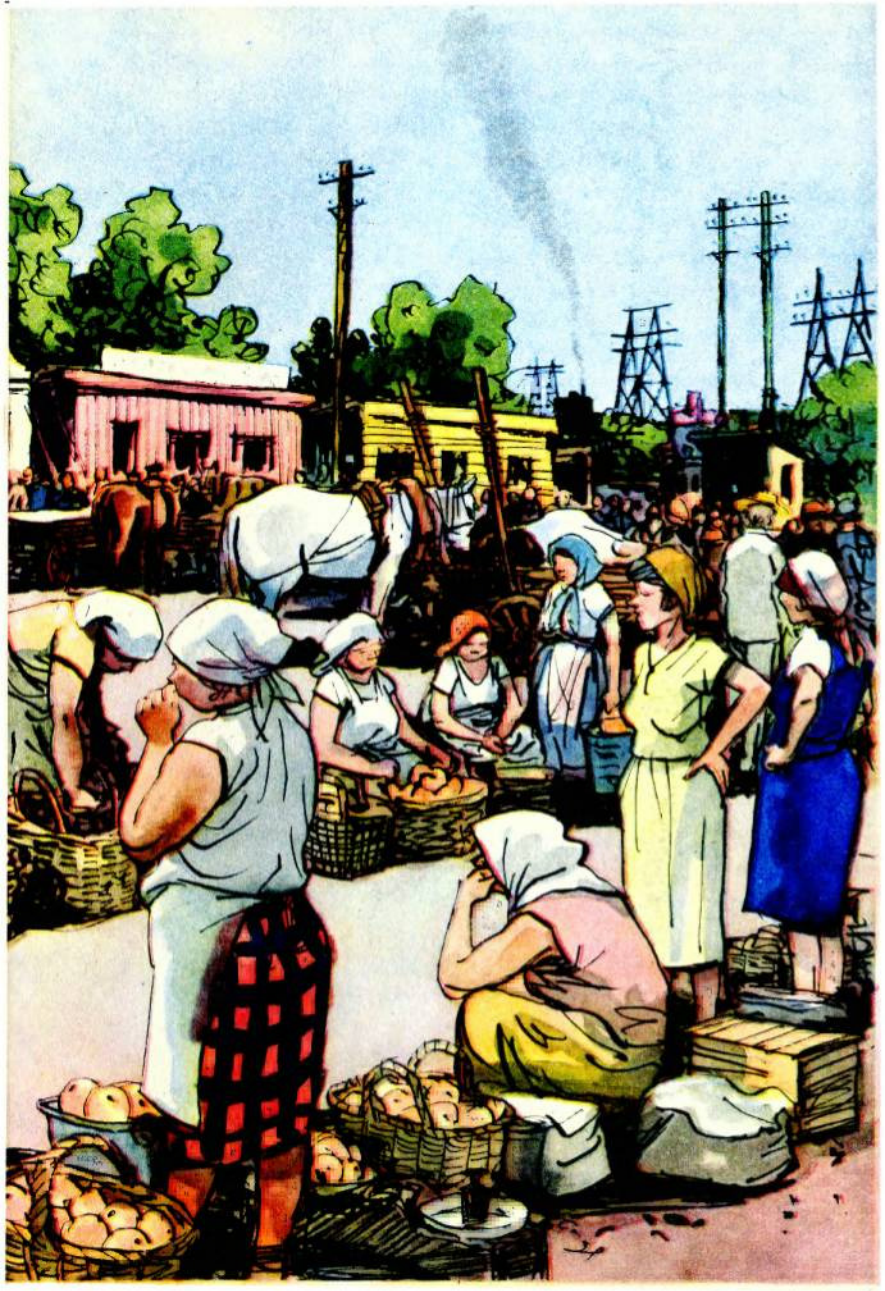
— Не знаю, какая я уж там, но пишите толком, а то и слушать не буду...

И отвернулась...

1926



«ДЕД МАТВЕЙ»



«ЯРМАРКА»

Радио

Самым длинным радио у наших родителей было, когда один стоял на одном берегу Ворсклы, а другой на другом и:

— Подай перевоз!

А теперь видите, что получается? Мы тут, в Харькове, газету читаем, а вы где-то в Шенгереевке или в Бирках стоите или сидите себе и слушаете. До того уж с этими газетами дошло, что и глазом водить по бумаге не надо! Сама в уши лезет!

А теперь уж вот до чего доскочили! Уже выдумали такую штуку, что можно не только слышать, как мы тут говорим, но можно и посудачить друг с другом.

Оришка где-то свеклу пропалывает, а Андрей за семь верст забор городит. Пополола, пополола, а потом к аппарату:

— Андрийко, придешь вечером?

А Андрийка в аппарат:

— Опридильонно.

Хорошая это штука, такие аппараты!

Но надо вам сказать, что изобретен еще и более удивительный аппарат. Такой, что я бы никогда не разрешил его распространять. Такой аппарат, братцы, выдумали, что и подумать страшно. Благодаря ему, благодаря этому нововыдуманному аппарату, видно, что делается за хатой, где вы сидите. Вы понимаете, что̀ это будет? Сидите вы в хате. Захотелось вам смотаться куда-нибудь... Куда? Да то уж ваше дело, куда. Жинке вы говорите, что пойдете на очень важный пленум.

А сами вышли и шмыгнули, куда вам там захотелось... А жинка к аппарату. И видит, с каким вы там пленумом заседаете!..

Пришли вы домой. Ну, вы же понимаете, какая уже будет после того пленума дискуссия?!

Этот аппарат, безусловно, вредный.

Те все аппараты: громкоговоритель, приемники, радиотелефоны,— те полезные аппараты. А это — это язва!

Так вот до какой жизни, значит, мы с вами дожили. До радиожизни. И если уж повыдумывали такие аппараты, что за сто верст можно будет все видеть и слышать, то выдумают и радио на любой случай жизни. По радио будем ходить, сапоги скидывать, спать... И есть будем по радио. Прямо в аппарат жинке:

— Пообедай, Марина, одна, а мне пусти по радиоволне борщу на три вольта и вареников на пять, потому как идти обедать мне некогда.

Хорошая будет жизнь!

Будем только сидеть и в волны играть...

1927

«Так мы ж народ темный»

(Конспект трагедии)

В Азовском море, на дне оного, растет трава зеленая, «комкой» именуемая...

Травка она приятная, нежная и мяконькая, не «кусается» так, как наш кушир проклятый, а как заберешься в нее, она только щекочет... Щекотуха трава!.. Хорошая трава!..

И вот как вырастет она, волны ее морские качают, с корня срывают и выплескивают на берег, где и ложится она вдоль берега зелеными мокрыми «колбасами»...

Больше всего прибивает ее к берегам азовских кос— Денисовой (Обыточенской) и Бердянской...

Тогда приходят люди православные, выгребают комку на берег, на песке ее растряхивают, солнце ее припекает, просушивает, и становится она сухая-сухая, да мягкая, да скрипучая...

А после того ее собирают, складывают в тюки, как сено, и прессуют особыми машинами...

А потом уже отправляют во все концы СССР нашего, где из нее матрацы делают, подушки делают, и всякую мягкую мебель делают, чтобы граждане мозоли себе не натирали, когда после «трудов праведных» ложатся или садятся отдохнуть...

Хорошая трава комка, полезная и высоко котируется на рынке нашем советском...

Уже в Бердянске, к примеру, там же, на месте, по полтора целковых за пуд комки платят.

Сидим мы как-то на Денисовой косе, на берегу, и смотрим на скорлупу яиц морской птицы, что энергично несет яйца для яичниц православного населения, на косе обитающего... А скорлупа эта, когда яичница уже изжарена, выкидывается в море, чтоб не видел никто, как уничтожается морская птица на Денисовой косе...

Сидим и только крякаем, видя, как у нас природа «охраняется».

Подплывает баркас, а на баркасе пять загорелых «гражданов» с усами под носами (кое-кто с седыми) и железными вилами в руках.

— Доброго здоровья! — говорят граждане.

— Здравствуйте! — говорим мы.

— На охоту?

— Нет, так... Посмотреть, что да как тут на косе... А вы?

— А мы комку собираем...

— Ну, присаживайтесь, закурим...

Сели, закурили.

— Так комку, говорите, собираете?

— Комку собираем...

— Что же у вас: артель или как?

— Какая там артель? От хозяина.

— Ну и что?

— Да что! «Горек, сестрица, наш хлеб...» Где ж его тут много заработаешь, когда и выгреби, и высуши, и собери, и спрессуй, а тебе по пятнадцать копеек с пуда за всю эту работу заплатят!..

— А кто же у вас этот самый «хозяин»?

— Да Гальперин какой-то из Харькова...

— А что ж это за Гальперин такой?

— А мы, что ли, знаем, а мы, что ли, видели его? Живет себе в Харькове, а мы тут работаем... Здесь у него уполномоченный... Иногда приезжает из Харькова посмотреть, вот и все...

— Ишь, какой Гальперин! Сидит в Харькове, а вы тут собираете!

— Эге!

— А почем этот Гальперин продает комку, что вы для него собираете?

— А мы знаем? Может, по целковому, а может, по полтора... Она недешева...

— А вы для него по пятнадцать копеек собираете?

— Эге!

Тут уж (из песни слова не выкинешь) в спокойную нашу беседу начали встревать, с нашей (признаемся!) стороны, слова, которые никак нельзя запечатлеть на бумаге... Нехорошие слова начали встревать.

— Так что же вы,— говорим,— не можете сами того сделать, что делает Гальперин? Не можете сколотить артели, чтоб не кормить Гальперина?

— Да знаете...

— Что знаете?

— Да Гальперин заплатил за аренду четыре тысячи и еще машины...

— А вы этого скопом не могли разве сделать? Разве вам Наркомзем не пошел бы навстречу, не дал аренды в рассрочку?

— Разве нет у вас комбеда, который мог бы на себя это взять? Нет кооперации? Вы стоите, чешете затылки, а Гальперин в Харькове не на комке, а на перинах спит?!.

— Так-то оно так! Да мы ж народ темный?!.

— Темный вы народ?!. Как Гальперину (трах, трах, трах!) на перину зарабатывать, так «не темный», а как на себя — «темный»?!.

— Так-то оно (трах, трах, трах!) так! Правильно!

— А потом скулите, что «жисть чижолая».

— Ну что вы с нами сделаете, коли мы такие. Эх (трах, трах, трах!), «жисть»!

— Только это мы и умеем: я на вас «трах», вы на «жисть» «трах», а Гальперины на перинах спят!..

И еще одно. На Денисовой косе, говорят, комки ежегодно собирают около сорока тысяч пудов. Посчитайте, сколько Гальперины смогут приобрести перин из-за того, что «мы ж народ темный». И не забывайте, что для того, чтоб комку собирать, даже «света» особенного не надо: комка сама растет, сама на берег ложится, а ты только сгребай да прессуй...

Так даже и для этого «мы народ темный» (трах, трах, трах!).

1926

Ярмарка

I

Еще и не сереет на дворе перед рассветом, а под дверью, как из громкоговорителя:

— На ярмарку! Вставайте!

То Еремей Васильевич на своей паре подъехал к школе.

На ярмарку нужно двинуться заранее, так как до нее двадцать верст, а приехать туда нужно так, чтобы и место выбрать, и стать как следует, и не проворонить ни одной минуты на этой самой ярмарке...

Кое-кто еще с вечера двинулся на волах. Так, чтобы по дороге еще и скот попасти. И будет он тогда на ярмарке как налитой, и цены ему тогда не будет.

— Н-н-о, детки!

«Детки» бегут, крутят хвостами, громыхает «ход» — печенка, губы и зубы прыгают.

— Н-н-о! А-вона! А-вон-а-а!

«А-вона» бежит над полем, а колосья царапают по самому «храпу», ну «а-вона» и дергает.

Щелк кнутом... «А-вона! А-вон-а-а...»

...На ярмарку!

Благословило на свет. Показало солнце свое заспанное лицо, ударило лучами по лугам, по степям, по садам, по левадам.

И видно, как до самого того леска, куда только глаз достает, потянулись дорогой возы...

И на лошадях, и на волах, и на коровах... Арбы, возы, возки... С клетками, с сеном, с соломой... А на во-

зах и куры, и овца связанная, и теленок... мычит, пытаясь подняться... А за возами и жеребята, и телята, и коровенки с привязанными к хвосту телятами.

— Гей! Цоб! Цобе! Н-н-но!

На ярмарку!

Идут, идут, идут, идут...

И дорога уже не дорога, а громадная пестрая змея, живая, извивающаяся, не спеша ползет она вон за тот лесок.

И где голова ее и где хвост, неизвестно, ибо протянулась она уже за лесок, а хвост ее за бугром, там где-то, позади.

Наш воз выскакивает из этой змеи, оставляя ее то справа, то слева, громыхает по комьям... Шелестят потревоженные травы...

— Здорово, Петрович! И вы на ярмарку?

— А как же! Здравствуйте!

— «Голландку» свою ведете?

— Вот именно!

— Заливает молоком?

— Заливает!

— Не продешевите ж!

— А это уж как придется...

Визжит на возу поросенок, привязанный веревкой к «драбирке» [1]. Мечется, бедняжка, и не знает, что сегодня он уже не обыкновенный поросенок, а объект домашнего бюджета...

. . . . . .

— Ишь! «Барина» повезли!

«Барин» в клетке. Откормленный боров. Клетка высится на бугре, словно купол на церкви, а они «барин», разлеглись и нервно хрюкают...

— Сколько за «барина»?

— На ярмарке спросишь!..

Течет река крестьянских возов... На ярмарку!

Идут маниловцы, идут броварцы, васильевцы, поповцы, федоровцы, хуторяне...

Идут, идут, идут, идут...

И вся эта пестрая змея, эта разноцветная лента,

---

[1] «Драбирка» — боковая часть арбы.

переехав Псел, разливается по площади, сливается с теми, которые уже устроились, и кричит и лошадям, и волам, и коровам:

— Тррр!

Приехали...

. . . . . .

Площадь заливается человечье-коровье-воловье-овечьей массой; масса эта расплывается, расплывается и с одной стороны докатывается до Псла, а с другой, третьей, четвертой — туда, где рожь, склонившись, ждет косы...

А там уже шатры, балаганы... Еще вчера, заранее, их понапихали, и они, словно пузыри, выпячиваются среди пестро движущейся толпы...

Площадь запружена.

Запружена арбами, возами, «бедами» [1], лошадьми, коровами, овцами, волами, телятами, горшками, мисками, курами, шерстью, мешками, хмелем, смушками, материей, сапогами, конфетами, пряниками, квасом, пивом, русской горькой, гребенками, косами, шкурами, ремнями, котелками, пряжей, платками, полотном, дегтем, керосином, старой одеждой, сорочками, юбками, скатертями, щетиной, бочонками, рогами, шпанскими мухами, воском, медом, патокой, таранью, сельдями, колесами, ходами, стеклом, яйцами, запасками, плахтами, пирогами, салом, мясом, колбасой, жареной рыбой, дерюгами, сундуками, гвоздями, молотками, свиньями, торговцами, цыганами, барышниками, людьми, детьми и слепцами...

...И все это движется, дышит, курит, говорит, кричит, ругается, мычит, блеет, ржет, гикает, жует, зевает, кувикает, крестится, божится, матерится, клянется, пахнет, смердит, воняет, кудахчет, квохчет, жарит друг друга по рукам, играет на гармошке, на скрипке, причитает, пьет квас, ест тарань, рыгает, икает, «будькает» [2], лущит семечки и кружится на карусели...

А надо всем этим оглобли, оглобли, оглобли...

Это возы подняли кверху оглобли и орут:

---

[1] «Беда» — двухколесная повозка.

[2] Будем здоровы! — пожелание при выпивке.

— Тор-р-р-гуем!

Вон на оглобле свитка кричит:

— Вот где мы!!

Вон сито зовет к себе своих покупателей:

— Сюда идите!

Там колесо зацепилось спицей за стоймя поставленное дышло:

— Мы тут!..

. . . . . .

Идут, идут, идут, идут!..

— Держи цоб [1]! Цоб держи!

— Цоб! Цоб! Да цоб же, чтоб тебя волки съели!

— Держи цоб! Цоб держи!

— Трррр!

За ярмо зацепилось...

— Черти тебя прут на чужие ярма! Видишь, что стою...

— Ты что же, один на ярмарке?

— А ты один?

— И я не один!

— Так что ж тебе объехать нельзя, что ли?

— Ты что же, один на ярмарке?

— А ты один?

— И я не один!

— Говорил, держи цоб!.. А тебя черт на ярмо попер!..

— Ты что же, один на ярмарке?

— А ты один?

— И я не один!

— Назад! Назад! Трррр-назад!

— Разъехался тут на всю ярмарку!

— Ты что же, один на ярмарке?

— А ты один?

— И я не один!

— Цоб иди, гей!

Расцепились...

* * *

Гудит... Гудит... Гудит...

И в гуде том, как в аккомпанементе грандиозного органа, плывет однообразный речитатив:

---

[1] Цоб — окрик при управлении волами.

Дайте милостыночку, мий батечку,
Дайте нам христа ради!
Дайте, божой та праведной души християни...
Дайте, возлюбители, ненько моя, дай христови...
Дайте, наследители, батечку, милосерднии...
Дайте нам, душа спасеная,
Хоч единая душечка милосердная...
Дайте, помимо йдучи, слово чуючи,
Що в рученьках, мамочко моя, та й маючи...
Родителив, кревных та й померлих споминаючи...
Душечку свою в теле та й спасаючи...
...Дайте од трудов своих,
Од сили чистой...
Дайте од трудов своих,
Од праци вирнои...

А аккомпанемент гудит, гудит, гудит, временами переходя в бешеный рев...

Вот он, затихая низким рокотом, покатился по площади...

Минута, две, три...

И вдруг — трах у самого уха:

— Ветошь! Бабы, ветошь! Вот ветошь принимается, за ветошь деньги вынимаются! Вот ветошь! Бабы, ветошь!

. . . . . .

— Квасу! Холодного, душистого, сладкого, сладкого! Квасу!

. . . . . .

— Рубль поставишь, два возьмешь! Налетай! Налетай!

. . . . . .

— Красная выграеть, черная програеть...

. . . . . .

Загудело, загудело, загудело... Снова загудело...

И трещит и рвется теноральный бас профундо у рыжего слепца со скрипкой в руках и со слепой партнершей рядом, пытающегося перекричать этот шум грустным псалмом о том, как

Ночь прийшла тогда к Мессии
З ароматом у руках,
Йшли печальнии Марии
З безпокойством у серцях...

Гудит ярмарка...

Бегают лошади, кричат торговцы, хохочут девушки, кружится карусель....

А орган на карусели хрипит, свистит, и меж балаганов, меж возов, меж телят вырывается песня купца, который

Полюбил всей душою дивицю,
За нее готов жысть всю й отдать...

А под эту сипло-хрипящую песню и парни, и девушки, и дети радость себе «накручивают»...

— За пятак! Только за пятак!

. . . . . .

Ярмарка!..

. . . . . .

II

Отчего так трагически-безнадежно мычат волы на ярмарке?

Попадешь на воловье-коровье-овечью половину и отовсюду тебе:

— М-м-у! Б-е-е! М-е-е-е!

Вот, к примеру, стоит рыжий или серый, или рябая или гнедой, поглядит вокруг себя и вдруг:

— М-м-му-у-у!

— Б-е-е-е!

— М-е-е-е!

То ли они поддерживают всеобщий ярмарочный гул, то ли не хотят к другому хозяину переходить. Или, может быть, еще какая-нибудь причина?

А овцы...

Такое маленькое существо, а как «мекнет», так словно внутри у него радио сидит... И резко так, пронзительно...

— М-е-е!

Как выстрелит...

Одно только «ме-е-е!»

* * *

И рыжие, и рябые, и гнедые, и серые, и черные, и мышиной масти, и лысые, и круторогие, и безрогие...

И быки, и волы, и бычки, и годовалые телята, и коровы, и яловицы, и телки, и телочки, и молочные телята...

И у возов, и у ярем, и на руках у хозяев, и у шестов...

Просто так: в земле кол, у кола корова, а возле коровы привязанный к хвосту теленок...

И хозяина не видно... «Соло»-корова...

Вот только когда кто-нибудь подойдет, ткнет палкой в корову:

— А эта сколько просит?

Тогда неизвестно откуда вылезает шляпа или картуз и кидает куда-то в поле или на Псел:

— Пятьдесят!

. . . . . .

А волы-то какие!

Ну разве чуть поменьше моста через Лопань [1]!

Стоит возле воза, жует жвачку и свою воловью думу думает...

О чем он думает, серый с такими огромными рогами?

А ведь думает о чем-то!

Может быть, и у него есть свое, воловье:

«Европа или «просвита» [2].

Может быть, и он видел где-нибудь в Кременчуге трактор и теперь меланхолически смотрит куда-то вперед, и по бороздам его мозга ползет мысль:

«Так ведь это я скоро уже совсем не нужен буду?»

И обиженно:

— Му-у-у!

Думает серый вол серую думу воловью.

Думает, пока придет некто незнакомый ему, стегнет его кнутиком и к хозяину:

— А что за эту пару индюков?

— Прошу триста!

— Триста, говоришь?

— Говорю, триста!

— Долго считать надо!

— Скажите, сколько, чтоб меньше считать пришлось...

И начинается...

---

[1] Лопань — река в Харькове.

[2] «Европа или «просвита»» — литературно-политическая дискуссия 1925—1928 гг.

Дергают серого за язык, раскрывают ему рот, берут за рога, сжимают горло, меряют кнутиком от копыт до холки, тянут за хвост, щупают под хвостом...

— Триста, говоришь?

— То, что слышишь...

— А ну, поводи!

— Можно и поводить....

Серого отвязывают от воза:

— Гей!

— Тихо-тихо веди! Не гони!

— Да хоть и не смотри! Идут, как часы...

— Такими «часами» моя бабушка к могиле шла.

— Поговори!..

— А сколько, ежели делом?

— Я и говорю делом!

— Нет, ты делом говори!

— Говорю ж, триста!

— А за сто восемьдесят ты их не отдашь?

— Походи еще!

— И похожу!

— И походи!

— Да ты не отворачивайся! Деньги даю...

— Знамо дело, не черепки!

— Хорошие деньги даю! Ты и не думай!

— Я и не думаю.

— Так сколько же? Двести берешь?

— Нет! Если уж хочешь, так вот двести восемьдесят! Вот...

— Да что ты «двести восемьдесят»... Помолись богу!..

— Помолимся!

— Двести берешь? (Бац!) [1].

— Двести восемьдесят! (Бац!)

— Берешь, говорю, двести? (Бац!)

— Да ты делом давай! (Бац!)

— Да ты делом и проси! (Бац!)

— Да ты на волов посмотри! Караси, а не волы! В ярме, как дети! Конфетки! Бери за что хочешь, подлезь под них, как сестра родная! Ребенка не тронут, а ты «двести»?!

[1] Обычай хлопать друг друга по рукам, когда сговариваются о цене.

И опять тянут серого за хвост, раскрывают серому рот, сжимают горло, щупают под хвостом, берут за холку, гладят по шее.

Ходят вокруг него, осматривают...

— Богу помолись! Двести двадцать! (Бац!)

— Меньше семидесяти пяти не будет! (Бац!)

— Не будет? (Бац!)

— Не будет! (Бац!)

— Пускай стоят!..

— Пускай стоят!..

И отошел от серого незнакомец... Отошел и из-за четвертого или пятого воза кричит:

— Берешь двести двадцать?

— Нет, не беру!

— Бери, а то за печенку тебя возьмет!

— Пускай берет!..

И опять стоит серый возле воза, думает думу воловью, пока опять:

— Сколько за этих телят?

— Триста!

И т. д. и т. д.

Может быть, поедет серый домой, может быть, на другой хутор поедет или в другое село...

А может быть, попадет серый к тому «панку» с тоненькой длинной палочкой в руке, в пиджаке и с золотым кольцом на пальце, и получится тогда из серого в Тиволи «беф-строганов».

Стоит серый, жует...

* * *

И коровы стоят... Стоят те именно коровы, которые «заливают молоком»...

— Сколько за эту «немку»?..

(«Немка» серая, вымя мешочком и в помете.)

— Шестьдесят!

— Тьфу!

— Собаке под хвост!

Не сошлись, значит! Коротко, но решительно...

. . . . . .

— А за эту «мадам» сколько б вы хотели?

— Восемьдесят!

— Немного и хотите.

— Так вы ж посмотрите: картина — не корова.

— Так-то оно так! Только иная девка, как посмотришь в лицо, так хороша, что хоть воду с лица пей, а там, поглядишь, она и твердовата!

— Да, это уж, как знаете...

— Да-а-а! Надо бы меньше просить!

— Да-а-а!

. . . . . .

— Сколько за ребенка?

«Ребенок» — черненький, кругленький, годовалый теленок с малюсенькими рожками...

— Двадцать семь!

— Пускай дите подрастет!

— Пускай растет!..

. . . . . .

И молятся, и крестятся, и хлопают по рукам, и водят перед покупателем, и божатся, и доят...

Покупают — продают... Продают — покупают... меняют...

А кругом:

— М-м-м-у-у!

— Бе-е-е!

— М-е-е!

. . . . . .

* * *

. . . . . .

...Балаганы... Улица из балаганов...

Балаганы с мануфактурой, с сапогами, с квасом, с конфетами, с пряниками, с таранью, с сельдями, с ремнями, с железом.

Трепещет красной вывеской «Ларек»...

Развеваются красные флаги над маленькими вывесками:

«Остаповское единое потребительское общество».

«Поповское ЕПО».

«Федоровское ЕПО»...

Меж балаганов живой поток — не протолкнуться...

— На брюки, на юбки, на сорочки!..

— А это крепкое?

— Зубами не разорвешь.

— А почем?

— Тридцать пять!

— Ну и дорого ж!

И тянут этот самый ситец и на зуб пробуют, советуются, советуются, советуются...

Тут больше платков, кофточек, безрукавок...

«Бабье» царство...

— И вы здесь? Здравствуйте!

— Здорово!

— На юбку?

— Нет, это я Федьке на сорочку...

— Почем?

— Тридцать пять...

— А я вот гостинца детям...

«Гостинцы» завернуты в цветные бумажки, с хвостиками на обоих концах и так и тянут к себе, так и тянут...

— Почем?

— Три копейки штука...

— Э-э-э!

— Есть и по две на копейку! А эти по пяти на копейку...

— А вот по двадцати! Берите эти: сладкие и хорошие!

— Давайте!

. . . . . .

Звенят котелки, звенят косы, дребезжат гребенки...

— А сколько за эту гребенку?

— И вы, кума, гребенку покупаете?

— Покупаю!

— Бери, тетя, вот эту гребенку!

— Маловата она... Мне бы такую, чтоб и вошь убить и прясть...

— Бери эту! Этой и тигра убить можно!

— И еще чтобы гладенькая была!..

— Эта сорок!

— Да ну вас!

— Бери меньшую, дешевле будет!

. . . . . .

Возле кос старики... Позванивают, позванивают, позванивают...

Строгают одну о другую...

— Что-то они все не такие...

— А вам какие нужны?
И опять!
— Дзень! Дзень! Дзень!
Полдня косу выбирают...
— Дзень! Дзень! Дзень!

. . . . . .

— Вот яйца! Сюда яйца! Вот тут яйца!
— Ветошь! Ветошь! Бабы, ветошь!
— Неси курицу! Сюда курицу!
— Квасу! Вот квас! Только в Москве и у нас!
— Рубль поставишь — два возьмешь!
— Добирайте тарань! Тарань добирайте!

. . . . . .

Дайте мылостыночку, мий батечку,
Дайте нам христа ради!
Дайте, божой та праведной души, християни...

Хрипит орган. Визжит скрипка...
А теноральный бас профундо с тоненьким беспечным сопрано рассказывают православным:

. . . . . .

Птыця воздух наполняла,
Беспрестанно все летала
И крылами трепетала,
Хвалу богу воздавала...

. . . . . .

Ярмарка!

. . . . . .

III

— Бе-ррр-е-ги-и-сь! Поберегись! Поберегись!
— Н-н-но! Н-н-о!
...Щелк! Щелк!
— Эх, арабская!..
— Н-но! Поберегись! По-о-берегись!
— Да не бей, не бей! Шагом ее, шагом!
— Не дергай!
— Прррробеги!

. . . . . .

Лошади... Кобылицы... Стригуны... Жеребята... Ад...

Ни одного человека без кнута...

Сперва кнут, а потом человек...

Свист кнутов, щелканье, крик...

Только и слышишь:

— И-ги-ги-ги!

— И-и-и-и-и!..

— Трррр! Трррр!

И щелк, щелк, щелк!

Водят, гоняют, запрягают, проезжают...

Это «Молись богу», «Крестись!» — нервное какое-то, резкое, бешеное...

— Говори!

— Г-о-о-о-во-ри!

Это «говори» — не простое слово «говори», а сумасшедший крик...

— Говори! Го-во-о-ри!

Бешено бьют по рукам, с надрывом, широко размахиваясь, так что боишься — вот-вот оторвется рука и покатится под колесо.

— Го-во-ри! Да го-во-ри же!

. . . . . .

— Что ты в зубы смотришь? Ты на нее посмотри! Ты смотри, что она ест?! Хворост!.. Хворост!.. Трет зубами!.. Как камнем перетирает!..

— Да...

— Да что ты «дакаешь»? Что ты «дакаешь»?.. Чтоб меня черви ели, если она у меня что-нибудь, кроме соломы, ест!.. А ты «дакаешь»!..

— Ты посмотри на нее!.. Ты смотри, как идет! Идет как?! Ты на пятки смотри! Все четыре пятки показывает!.. Вон куда смотри, а то в зубы смотришь!..

— Ну и худа ж она!

— Слова нет, лошадь отощала. А ты думал, сладкая у нее жизнь! Если б тебя погонять верст двадцать и потом на солому поставить, ты бы подпрыгивал?!

— Да...

— Да ты ее хоть на куски руби! Клади пятьдесят пудов и не дрогнет! А ты в зубы!.. Ну?!

— А сколько ж ты хочешь?

Крестьянин держит на поводу свою белую... Она подобрала заднюю ногу, отвесила нижнюю губу и дремлет...

— Дашь тридцать?

Это, значит, лошадь и тридцать рублей додачи... Меняются...

Возьми «токмо»...

«Токмо» — мена так на так...

— Что ты мне «токмо»? Ты смотри, что ты держишь!.. Нищего держишь, и «токмо»!..

«Нищий» равнодушно махнул хвостом...

Цыган подбегает к лошади, разжимает ей челюсти, вытягивает язык...

— Тут же во рту, господи прости, как в заднице!! А он «токмо»... Го-о-о-вори! Делом гово-о-ори же!

— Хочешь пять?!

— И то деньги!

И хлопают ладони, летят наземь шапки, висит в воздухе «мать», бегают лошади, щелкают кнуты, режет ухо:

— По-о-о-берегись!!

Это на главной лошадиной аллее, где цыгане, где барышники...

Рядом стоят возы, возле возов подсыпана земля для того, чтоб лошади стояли на возвышении,— тогда они виднее, стройнее...

Какая-нибудь «арабская» пробегает меж двух стен едко-жгучих кнутов и, подбежав обратно к возу, тяжело дышит...

Тут неопытного крестьянина так облапошат, что, приведя нового коня домой, он кричит:

— Спасите!

И ведет его на другую ярмарку, где перед ним молятся, крестятся, пробегают с лошадью, скачут, сбрасывают с него шапку, жарят его по ладони, показывают ему зубы, ноги, холку...

Крестьянин смотрит, крестится, бьет по рукам, говорит:

— Двадцать пять!

Ведет домой, а приведя, осмотрит и:

— Спасите!

И ведет на третью ярмарку...

Потом уж у крестьянина ни коня, ни денег...

Всучат ему «ревуна», а с ним и смех и горе...

«Ревун» — это лошадь с больными легкими. Когда стоит на месте, она вполне спокойна. А промчишься

на ней быстро верст десять — она начинает реветь (задыхается!), как бык.

Видная лошадь, и немного додачи дал...

«Обманул»,— думает крестьянин.

Скорее на воз и рысью домой!

Домой примчался...

— Трррр!

А лошадь ему:

— Б-е-е-е!

— Ой, спасите! Тр-р-р!

— Б-е-е-е!

— Ой, боже мой!

— Б-е-е-е!

. . . . . .

Здесь не найдете обыкновенных коней...

Не кони, а:

«Лев»!

«Орел»!

«Литой»!

«Орлище»!

«Ветер»!

«Юнкер»!

Нет здесь и обыкновенных кобылиц...

«Птица»!

«Буря»!

«Скала»!

«Одна во всем мире»!

Вот вам, например, «Лев»...

— Да это ж не конь, а «Лев»... Ты посмотри только!

Идет этот «лев»: задние ноги у него циркулем, а из глаз течет какая-то слизь, и ребра сквозь кожу выпирают.

— По-берре-гись!

«Лев» бежит, задними ногами за землю цепляясь...

. . . . . .

Вот вам «Орел»...

На ходу на заднюю, на левую:

— Рубль двадцать! Рубль двадцать!

— Конь действительно прихрамывает... Засекся в дороге! А лошадь хорошая! Хозяйская лошадь! Орел!

А у «Орла» этого левое бедро на четверть выше правого...

«Орел»...

. . . . . .

Вот запрягли «Птицу» проехать. «Птица» мастью под гречиху и худая-худая-худая...

Под хвостом у «Птицы» целая пропасть: так ее втянуло. Взнуздали «Птицу». Завязали «Птице» хвост у самой репицы.

Чтобы все было видно! Как идет! Как бежит!

— Н-н-но!

Щелк!

А из пропасти у «Птицы» только — чвирк!

— Н-н-но! (Щелк!)

А оттуда: чвирк!

С «примочкой» бедная «Птица». «Примочка» — это такая болезнь у лошадей, нервная, что ли: когда их стегнешь кнутом, у них непроизвольно выделяется моча.

Щелк!

Чвирк!

— Вот так так! С фонтаном?! Н-н-о!

Бедная гречишная! А ведь и она когда-то на лугу весело ржала!

Бегают «Орлы», «Львы», «Юнкера», «Ветры», «Птицы», «Скалы», «Бури»...

Кусают их безжалостные кнуты... Они подскакивают, спотыкаются, кашляют...

. . . . . .

— Да ведь это жеребец! С ним возни много... Кабы он выхолощенный...

— Возни много?! «Жеребец»?! А если б тебя выхолостить? Ты не туда смотри, а на грудь смотри!.. Гора!..

. . . . . .

Это конь? Мне бы жеребца!

— «Жеребца»?! Да с ним, с чертом, возни сколько!.. Глаз с него не спускай! Ты на коня смотри! Это ж конь, а не щенок!

— Что и говорить, конь добрый! Только отчего по нем «гречиха» пошла? Говорят, что это кровь порченая, если словно гречихой осыпало...

— И какая там кровь!.. Кобыла была серая, а «делопроизводитель» под гречиху... Вот и гречиха... Серым он

в мать, а вот теперь от отца гречиха стала проступать... От «делопроизводителя»... Вот!..

. . . . . .

— Купили, Петрович, кобылу?

— Да, купил...

— Сколько дали?

— Отдал свою рыжую, одиннадцать додачи, полкварты и пять пудов пшеницы будущего урожая...

...Сколько стоит кобыла, скажите уж вы!

* * *

. . . . . .

— По-о-берегись! По-о-берегись!

— Н-н-о! Н-н-о!

— Э, эй! Э, эй!

...Бегают кони, бегают цыгане, суетятся цыганята, лают под цыганскими возами собаки, щелкают кнуты, ржут кони, ржут жеребцы...

А в воздухе «бог» с «матерью» переплетаются...

. . . . . .

Ярмарка!

. . . . . .

...Солнце жжет...

Так жжет, словно оно с квасниками «в доле»...

Просто сверлит тебя лучами и льет в грудь, в живот, в голову этот бешеный жар...

И квас дуешь, и под воз лезешь, и бежишь к реке Пслу, срываешь с себя одежду, прыгаешь в воду и полощешься вместе с лошадьми, с коровами, с волами...

А от реки и к реке тянут на веревках рогатый скот, ведут на поводу лошадей:

Купать! Поить!

И отощалое, подавленное криком животное охотно бредет в воду, останавливается, жадно пьет воду и отмахивается мокрым хвостом от мух...

И от хвоста этого по Пслу брызги летят, словно от поповского кропила...

А над рекой Пслом, на площади, торг идет...

Собственно, больше крика, чем торга.

Потому что:

— Ну, как с волами?

— Тихо. Купца нет... Так вот сами меж собой перекидываемся... Если бы со стороны деньжища, дело бы пошло!..

— А лошади?

— Да и лошади... Что ж лошади?.. Цыгане и барышники калечью меняются, а хозяева повыводили — так попробуй, укуси! Денег у крестьянина немного, время как раз перед урожаем, где ты этих денег наберешь?..

— Нет сурьезного купца. Дело идет к осени... К зиме будут продавать, тогда и награбастаем подешевле...

. . . . . .

Рыба идет... Мануфактура понемногу... Разные предметы хозяйства... Мелкие вещи... Шерсть идет... Смушки рвут из рук. Хватают кур из корзин... Яйца... Пряжу...

Тут и крику меньше и дела больше...

. . . . . .

Уже солнечные лучи падают несколько наискось...

Кругом стихает...

Под возами, под арбами сидят группки, закусывают...

Летят вверх пробки из-под русской горькой.

Стоят бутылки, тряпкой заткнутые: это собственного изделия...

Это магарыч.

— Будем?

— Будем!

— Пусть же ваша гнедая быстро бегает и исправно водит жеребят!

— Дай боже!

Булькает из бутылки в рот беленькая и разливается по жилам, и покраснеет человек, осовеют у него глаза, и говорит он громче и быстрее машет руками...

Под хмельком...

. . . . . .

Вот уже и домой двинулись.

Запрягают лошадей, запрягают волов...

— Домой...

Потянулась пестрая змея от реки Псла в степи...

. . . . . .

Оживает «точок».

Это там, где лошади... Отвязывают от возов лошадей и выводят на дорогу между рядами возов.

«Точок»...

— Эй, охотники менять, налетай!

— Кому буланую?

— Кто серого возьмет?

— Берегись!

— Н-н-о! Н-н-о!

— Берегись!

— Говори! Го-во-ри!

— Бац! Бац! Бац!

Посреди «точка» уже «матери», «матери», «матери»... Ибо немало уже таких, что хлебнули... Намагарычились...

— Бац! Бац! Бац!

— По-о-о-берегись!

Агония...

Еще час, и ярмарка затихает...

«Точок» пуст... Барышники, кому поближе к дому, запрягают лошадей...

Кому далеко — собираются ночевать...

Ведь и завтра ярмарка!

Купцы складывают товары. Вечереет...

Возле цыганских шатров поблескивают костры, готовят ужин...

Не слышно слепцов... И только орган на карусели умоляет Ваньку:

Бросай, Ванька, водку пить,
Пойдем на работу:
Будем деньги получать
Кажную субботу...

Затих орган...

Вечер...

* * *

И вот уже ночь...

Темная ночь, черная ночь, мрачная ночь...

В такую ночь цыганские шатры — лирика, а цыгане — поэзия...

В такую ночь печальная цыганская песня, та песня, которую поет черноокая Галя возле Яшкиного шатра, так звучит:

А-а-а-а! А-а-а!
А-а-а-а!

Тягучая, как степь, песня, и кажется, что и эта песня дышит волей... И слушаешь песню эту грустно-тягучую и забываешь, что черноокой Гале есть до смерти хочется и что ее отец, «Яшка», пьян и возле шатра Галину мать «матом кроет»...

Вот такая-то ночь...

Тогда черные цыганята, сверкающие из-под возов голыми животами и свистящие носами, кажутся потомками вольных жителей степей, а худая, истощенная цыганка, жгущая вшей на костре, кажется той, которая пламенно распевает:

Туса-туса-туса
Мы камам чи-чо!
Я люблю вас горячо...
Эх! Туса-туса-туса!..

Черная ночь... Чародейка-ночь...

. . . . . .

То ли ночь, то ли звезды, а может быть, пустой желудок выгнал Ваньку, молодого цыгана, из-под воза и:

— Галя! Повеселее!

И рванулось тогда из молодой груди быстрое:

А-та-ра-ра-рай-ра!
А-та-ра-ра-рай-ра!
А-та-ра-ра-рай-ра!
А-та-ра-ра-рай-ра!

А Ванька мелкой дробью зачастил вокруг огня...

Идет, словно плывет, а огонь лижет ему голенища, а из груди его рвется:

— Эх! Да! Пашел!

И чешет Ванька вольную цыганскую, и руки его в такт по голенищам частушечки выбивают:

— Тра-та-та!

И соскакивают с возов взъерошенные люди, почесываются, становятся вокруг костра, хлопают в ладоши, поводят плечами, притопывают в такт ногами...

А-та-ра-ра-рай-ра!
А-та-ра-ра-рай-ра!

— Эх, пашел!

— Молодец, Ванька!

А Ванька плывет вокруг огня, и только ноги у него ходуном ходят, а стан, как струна...

— Эх! Эх! Эх!

Садит Ванька каблуками... Садит с восторгом, садит с жаром, будто там, на земле, вокруг огня, горькая доля его простерлась, будто там, в траве, его бедность притаилась, его недоедание, недосыпание, лишения, истощившие молодую жену его, грязь, покрывающая его маленьких детей, кашель его больных «запалом» и «козинчатых» лошадей...

— Эх! Эх! Эх!

Рраз! Ррраз!

Каблуками! Каблуками! По бедности, по горькой, по цыганской доле каблуками!

* * *

Погас костер...

...Тихо на площади...

...Пусто на площади...

Маячат в темноте балаганы. Сереют цыганские шатры...

Лежишь посреди площади, под головой ворох сена, а над головой огромное черное сито, в миллионах миллионов мест звездами прожженное...

...Заржала лошадь...

Щелкнул кнут...

Заматерился цыган...

Залаяла собака...

Тихо...

Спать!..

* *

. . . . . .

...Тррр! Стой!

Хлопаешь глазами, а солнце в самом рту у тебя своими лучами ковыряется...

— Вставай, ребята!

И опять едут, и нокают, и гекают, и цобкают, и цобекают, и тпрукают, и божатся, и крестятся...

Второй день...

В голове колокольный звон, волочатся ноги, смыкаются глаза...

— Домой! Скоро ли домой?

— Скоро!

— Го-во-ри! Го-во-ри!

— Бац! Бац! Бац!

А в голове только:

— Дзень! Дзень! Дзень!

* * *

— Запрягай! Домой!

Бегут кобылицы, скачет сзади рыжий жеребенок... Домой!

Наярмарковались...

А навстречу поддувает легкий ветерок, ярмарочный шум из головы выветривает.

— Н-о-о!

. . . . . .

— Берегись! Раздавлю! Эх! Мать-мать-перемать!

— Свят-свят-свят!

Глядь назад, а с горы туча пыли катится, и из тучи той во все стороны рассекает воздух:

— Мать-мать-мать-перемать!

То катит Алеша... Намагарычился по горло. Стоит на возу на коленях, держит в одной руке вожжи, в другой — кнут и колотит кнутовищем свою пару гнедых лошадок...

— Н-оо! Раздавлю! Всех подавлю... В деда мать!

— Стой, Алеша, а то и в самом деле раздавишь!

— Берегись! Алеша едет! Алеша всех раздавит, потому Алеша, брат,— на весь округ барышник! Алеша, брат,— культурный барышник!.. Алеша, брат, умнее всех! А ну, найди умнее меня! Ага! Не найдешь, брат! Алеша всех окрутит! Во где окрутит! Видишь? Но-о-о! Н-о-о, лошадки! Берегись!

Лошади, «нно»! Алеша падает на возу навзничь, лошади садятся на зад, Алеша лбом ударяется в передок, лошади — впереди, Алеша — навзничь, лошади — назад, Алеша — вперед...

— Н-о-о!

Взяли у Алеши вожжи, усадили его на возу.

— Погоняй помаленьку...

Едет «на весь округ барышник» и правой рукой в воздухе крутит.

«Всех окручу! Видишь, вот пара коней — пропью! Хочешь? Поворачивай, все пропьем! По-в-о-ра-чивай! Пускай все знают, как Алеша гуляет! Н-о-о!

— Сиди, Алеша, а то свяжу!

— Н-о-о! Ты знаешь, кто я? Я, брат, не дурак! Я не дурак! Ты на коней моих посмотри! Были у тебя когда-нибудь такие кони? Н-о-о! Вот лошади! Радость, а не лошади! — И смеется Алеша, заливается, перекидываясь на возу...

— Стой! Тррр! Стой, говорю я тебе, потому этот гнедой больной! Он издохнет! Стой, не гони, потому лошадь больная! Хороший конь, но больной...

И плачет Алеша, и слезы ручьями текут, капают грязными каплями на синюю рубашку Алеши.

...Заснул Алеша... Упершись лбом в шкворень, стоя на коленях, спит Алеша...

Громыхает воз, бьется лбом Алеша о шкворень...

Смотришь и не знаешь, кто кого прикончит: то ли Алеша лбом железный шкворень сломает, то ли шкворень разобьет Алеше лоб...

Едет с ярмарки «культурный» барышник...

Едет, а штаны у него мокрые, и с воза ручеек течет...

— Алеша, воз плывет! Утонешь!

— А?! Н-о-о!..

Проснулся и вновь свалился...

Наярмарковался Алеша...

. . . . . .

Дома...

И на другой день в голове еще:

— По-о-берегись!

— Го-во-ри! Го-во-ри!

— Но-о-о!

— Квасу! Ветошь!

— Бац! Бац! Бац!

. . . . . .

Ярмарка!

. . . . . .

1925

Староста

Еще разок вспомню один момент.

На берегу Псла, далеченько от района, еще дальше от округа и ой, до чего ж далеко! — от столицы Украинской Советской Республики пасутся на стерне гуси.

И стоит на этой стерне у подошвы копны старенький дед Матвей.

Деду Матвею семьдесят три года...

Дед Матвей немало бед на своем веку изведал, немало за свои семьдесят три года труда вытрудил...

Деду Матвею теперь ничего по хозяйству не поручают: он только гусей пасет, потому что больно уж стар дед Матвей.

Но дед Матвей никак не может примириться со своей старостью, никак не может дед Матвей равнодушно взирать на непорядки «обческие»...

Стоит дед Матвей и гусей пасет...

— Здравствуйте, дед Матвей!

— Здравствуйте!

— О чем задумались?

Долго стоит дед Матвей, на посох опираясь...

И потом вдруг:

— Эх, мне бы зараз рублишек семь...

— А зачем вам семь рублей?

— Зачем? Да я б это враз до Петровского...

— По какой надобности?

— Как это по какой надобности? Дохтура нету.

Фершала нету... Только до Петровского! Тот все разберет! Тот всему порядок даст!

. . . . . .

Да, товарищи...

Пятьдесят лет жизни.

Тридцать лет революционной работы.

Все это так.

И время уважительно, и работа уважительна...

Но прожить пятьдесят лет и проработать на революционной работе тридцать лет так, чтобы далеко за пределами округа, за сотни миль от столицы, над Псломом, стоя в поле среди жнивья в момент повседневной жизни, восьмидесятилетние деды Матвеи поминали вас с чувством глубочайшего к вам уважения и непреклонной в вас веры,— так прожить — это...

Да вы сами знаете, что́ это значит!

А так прожил и так проработал всеукраинский староста Григорий Иванович Петровский.

Проживите вы так!

1928

Дело это весьма запутанное

Хоть и запутано оно, дело это, однако характерное...

Речь вот о чем...

В селе Недогарки, Александрийского округа, на Екатеринославщине, есть председатель сельского Совета Пятак.

Это еще не все...

Пятак прибыл в Недогарки из другого села, где у него (у Пятака) остались жена с ребенком...

И это еще не все...

Прибыл Пятак в Недогарки, а в Недогарках вдова живет...

«А у той вдовы»,— как в песне поется... У той вдовы... Вообще как у каждой вдовы...

Одним словом, а может, и не одним словом, а несколькими словами — Пятак и вдова... Вдова и Пятак...

И это еще не все!

А жена прослышала... Явилась и, как существо эмансипированное, начала бить...

Голову сельского Совета Пятака она, жена его, публично «дискредитировала» в кровь, что называется...

Потом за вдову взялась...

Потом снова за голову сельского Совета...

Потом снова за вдову...

Вообще, можно сказать, прорвала фронт, как говорится, «на стыке» и разгромила голову на голову, а вдову окружила и кричит:

— Подожгу!

Голова гоняется за своей женой с кулаками на глазах «вверенного» населения, но жена «применяется к местности» и на другой день опять в атаку...

Так и это еще не все...

Это простенькая батальная картина, которая очень развлекает недогарчан и вселяет в них большое уважение к власти на местах...

А вот теперь начинается все!

Председатель сельсовета Пятак созывает заседание Совета, и на этом заседании протоколируется следующее:

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

15/I 1925 г.

Слушали:

Разбор заявления т. Пятака
о его раздорах с женой.

Постановили:

Т. Пятаку дать гражданке Карлич формальную расписку о том, что он с ней не хочет и не будет жить и не иметь ее за свою жену, а, основываясь на словесном заявлении гр. Карлич о том, что она не будет делать никаких скандалов и в случае ее появления с намерением сделать какой-либо скандал арестовать и направить в райисполком на расследование.

Председатель *Пятак*
Секретарь *Феденко*

Пришлось ли сельсовету арестовать председательскую жену и направить ее в райисполком, или, возможно, она испугалась такого постановления Советской власти и прекратила бой — неизвестно...

Но председатель Пятак этот протокол направил в высшие инстанции как документ, подтверждающий, что заседания Совета у него бывают и что на этих заседаниях решаются дела государственные...

А теперь и спрашивают нас:

— Имеет ли право председатель ставить такие дела на рассмотрение в официальном советском учреждении?

Дело запутанное...

В инструкциях о работе сельских Советов об этом ничего не сказано.

Лично я склоняюсь к тому, что такой председатель, как Пятак, имеет право, так как есть особая категория людей, для которых закон не писан!..

Спросил я одну бабусю, каково ее мнение об этом деле. Она сказала:

— Мало била! Такого голову надо сильнее бить!

1925

Под парусом

НЕМНОГО ПРИРОДОВЕДЕНИЯ,
ГЕОГРАФИИ, ЭТНОГРАФИИ
И КУРОРТОЛОГИИ.
ДОРОЖНЫЕ ОЧЕРКИ
И «КРЫМСКИЕ УСМЕШКИ»

Степями таврическими

(Путешествие)

Таврические степи...

Кто из люда нашего не знает их?..

Степями этими безмежными когда-то запорожские казаки-всадники скакали, потом чумацкие возы степными шляхами скрипели, за солью да за таранью гейкая, а потом...

Потом залились степи пшеницей буйною, расцвели селами да хуторами, табунами коней, отарами овец, стадами скота рогатого...

И не скачут уже теперь по ним казаки запорожские, не скрипят возы чумацкие...

Трактор тарахтит в степях в таврических, электричество мигает, пробегают авто, сусликов да орлов степных распугивая...

МЕЛИТОПОЛЬЩИНА

Ровно... Так ровно, как на ладони... Так ровно, что не обо что взгляду вашему удариться, и летит этот взгляд на десятки верст — и вперед, и назад, и вправо, и влево — и только изредка наткнется в голубой мгле на крест церковный и задержится там...

Там-там, где тот крест торчит...

— А сколько же верст вон до того креста? До церкви?

— Да верст, вероятно, двадцать!..

На двадцать верст взор ваш степные просторы охватывает...

Ровно...

Стол перед вами, зеленый пшеничной скатертью застланный...

Тарахтит арба-мажара, рысцой качаются кони, рассыпает битое стекло песни жаворонок, плавает в голубизне орел-степовик, шарахаются в норы суслики перепуганные...

Ищешь где-то над дорогой хотя бы кустик спорыша нашего... Нет...

Вдоль шляха не спорыш, а синец степной бледненькой синькой с листа брызжет...

А вокруг пшеница зеленеет...

Растет труд крестьянский, хозяйское око радуя...

И нет деревца тебе нигде, нигде ни кустика...

Степь...

. . . . . .

* * *

Село Покровка... Ново-Троицкий район на Мелитопольщине...

Как всюду в степных селах, глина да изредка только черепица...

Как везде и всюду, голо: нет деревьев...

Хаты, а за хатами — стога из соломы огромные...

Сельский клуб... А на нем афиша... И на сельском Совете афиша... А на афише той кто-то кого-то на кресте распинает.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИЗВЕСТНОГО ГИПНОТИЗЕРА ГНЕЗДИЛОВА

Будет демонстрироваться

Распятие на кресте

Это Покровка развлекается.

«Распятием» политико-воспитательную работу в сельском клубе проводят.

Кого тот «известный» Гнездилов будет распинать, неведомо...

Было бы хорошо, если бы в самом деле распять заведующего тем клубом, а вместе с ним и культурно-просветительную комиссию...

Испытали бы они, каково это на кресте висеть, возможно, тогда и отыскали бы развлечения поумнее для «уверенного им населения»...

А то получилось, как раз на пасху...

Очевидно, так и приспособлено это «распятие» к такому подходящему дню.

Только что миновала «страстная неделя», когда господа нашего Иисуса Христа, сына божьего, Анно-Кайяфа распял, а теперь, мол, полюбуйтесь, как это в натуре выглядит...

Очень хотелось посмотреть, как вот оно там, в Покровке, распинают, но некогда было... Ехать дальше нужно...

* * *

На Чурюк!

И катится мажара дальше степью, тарахтит по шляху синцом расцвеченным...

Чурюк — остров на юге Мелитопольщины... Там, за Чурюком, через небольшую протоку, уже советский Крым вытыкается...

Сиваш, Гнилое море, тот остров охватывает...

А Гнилым морем называется северная часть Черного моря, заливы, что в Мелитопольщину соленой водой врезаются...

И гнилое оно потому, что соленое без предела, и нет в нем ни рыбы, ничего... Ничто не выживает в этой воде, кроме рачков крошечных каких-то, которые мириадами кишат в зеленоватой воде...

Чайки скулят над морем, свистят кулики, да поблескивают на солнце над водой тучи снежно-белых мартынов...

Село Чурюк прижалось над заливом... Небольшое,

дворов, может, с полсотни, а может, и в сотню... Такое село, как все степные села.

Дальше плотина через залив из глины да из соломы...

А за плотиной за той село Петровка... Последнее уже село... Дальше остров, частично распаханный, частично под целиной...

А дальше проток и Крым...

* * *

— Тр-р-р! Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Как живете-можете?

— Помаленьку!

Останавливаюсь у хозяина... Середняком называется...

Большое подворье. Большая хата с пристроенной к ней конюшней. Пара коней... Четыре коровы...

— Ну, как живете?

— Да ничего...

— Растет? Родит?

— Да понемногу...

В сенях сепаратор. Во дворе жнейка.

— А сколько земельки?

— Да слабовато... По три десятины на душу... Маловато земельки...

— А «душ» сколько?

— Батько старый да мать... Да я, да жена... Да брат... Да деточек трое... Вот и все...

— Слава тебе, господи...

— Да так... Да только стеснение насчет земли. Своей маловато, приходится из фонда подарендовывать....

— А сколько же из госфонда подарендовываете?

— Да сколько поднять можем...

«Ничего себе,— думаю,— стеснение...»

Народ румяный, ветрами обвеянный, соленой водой оплесканный. Соленый народ... Степной...

— Больше за скотом ходим... Масло продаем... Скот... За лето выпестуем на выпасах, а осенью продаем... Потом снова покупаем запущенный, выпасем и продаем... Народ мы бедный...

— Дай, господи, всем такими бедными быть...

— Да оно так...

— Да так уж... Так...

* * *

Подымается на ноги земля степная, советская... Пшеницей звенит, травами степными шелестит, молоком пахнет...

Засека украинская — Мелитопольщина...

* * *

Эх, степи таврические!
Степи советские!
Цветите цветом буйным, крестьян и рабочих радуя!

1926

Бердянск

Такой себе маленький, такой себе чистенький, такой себе Бердянск. Город... Притулился себе на бережку Азовского моря и сидит. Спереди у него море, сзади у него небольшие горы — бывший крутоватый берег моря Суражского, а он между морем и горами днем зелеными кудряшками акаций шелестит, ночью электричеством блестит. Тихий такой, невеличкий...

Вот такой. А лет ему уже сто... Целый век Бердянск провековал. Уже и моря Суражского нет, уже вместо него Азовское, а Бердянск как был, так и есть.

Текла себе (и сейчас течет) речушка Берда в море Суражское. А рыбы в море было пропасть. Рыбаки халуп понастроили, основали поселок, и рос он помаленечку, а в 1826 году его заметили, окрестили Бердянском и на карте черную точку поставили... А оно — море, а оно — гавань, а оно — земля вокруг черная, степная, что соками буйными пшеницу преотлично поит. И росло селение и выросло вскоре...

Тогда в календарях записали:

«1826 года стараниями князя Воронцова возник Бердянск...»

Рыбаки халупы строили, переселенцы переселялись, а «старался», выходит, князь Воронцов...

Вот так и родился Бердянск.

До того, как на речке Берде рыбаки халуп понастроили, тут скифы были, так как скифские могильники около Бердянска есть. Были и ногайцы...

Давно ушли скифы. Ногайцы тоже ушли двумя «исходами» — в 1812 и 1855 годах. А вместо них пришли

на места бердянские куряне, орловцы, полтавцы да черниговцы, отаборились здесь и наплодили, дай им боже здоровья, население края Бердянского.

И не увидишь уже здесь даже вот такусенького ногайца... Нету!..

Есть здесь особый тип населения бердянского, который, говорят, от ногайцев пошел. Называются эти потомки ногайские «шахаями». В Харькове они называются «раклами», в Киеве — «босяками», а вообще в УССР — «жуликами»... Никто здесь их историческое прошлое не изучает, а печется о них бердянская милиция, и то больше всего в области дактилоскопической.

Вообще же население смешанное: украинцы, русские, евреи, немцы, болгары, греки.

Азовская рыбка и степная пшеница — вещи интернациональные и привлекали и привлекают сюда человечество разной национальности и различного вероисповедания.

Итак, значит, в 1826 году Бердянск родился, а уже в 1835 году его окрестили городом. В 1842 году Бердянск уже был уездным городом. Карьера, как видите, блистательная... И пошел после этого Бердянск расти да развиваться. И торговля заграничная, и порт, и финансы, и консулы держав всяких — все было в Бердянске... Выросли колонии, выросли рыбацкие селения, пошли заводы, гимназии, банки, экспортные конторы, магазины, проспекты, театры и прочие атрибуты культурного центра, у которого деньжата в кармане побрякивают. Приплывали в порт корабли, забирали пшеницу, привозили товары. Так вот Бердянск и рос. Так и вырос...

Заглядывал сюда, говорят, Емельян Пугачев, на широкий шлях чумацкий с Дона угадал. Был он, рассказывает одна старющая баба, в корчме на Кобезевской горе, которая считается здесь, в Бердянске, местом страшным. Зачем был, как был — никто не знает, только живет такая легенда, что Емельян Пугачев в Бердянске был.

А позже, после пятидесятых годов прошлого столетия, гулял в Бердянске прославленный среди бердянской голытьбы разбойник Астраил. Еще и теперь бабы с мутовкой, за бесштанными рыбальчатами гоняясь, шипят старческими губами:

— Астраил ты анафемский!..

Потрошил Астраил купцов, что на здешней рыбе толстые деньги наживали: пугал их, а порой и туда посылал, «идеже несть ни печали, ни воздыхания...». Брал Астраил деньги и раздавал их бедноте. Беднота любила своего заступника, прятала его, перепрятывала. И долго гулял Астраил, пронзительным посвистом холодный пот на лбы купеческие нагоняя...

Это от степей, от ветров степных.

А от капиталов своих и зарубежных — «благоустройство и процветание»: электростанция, артезианские колодцы, знаменитый своими жнейками «Идеал» — завод сельскохозяйственных машин, теперь 1-го Мая (некогда Гиреева); курорт с целебными бердянскими грязями да сладким бердянским виноградом...

А потом революция... Окружной город. А потом для Бердянска «обида». В район превратили. Но и в «районном звании» Бердянск есть Бердянск. Такой же чистенький, приветливый и все так же при деньгах...

— Ни у кого денег не одалживаем, дефицита не знаем и в драных штанах не ходим... И музыка ежедневно в парке играет... Вот!

Да еще и добавляют:

— Хозяин у нас крепкий. Голова наш — хозяин добрый. Живем и хлеб жуем. А что район — так это нам без внимания!..

Населяет Бердянск 25 000 люда трудящего и нетрудящего. Делится это население на рабочих, служащих и «прочих»...

Рабочие работают, служащие служат, а «прочие» «прочают»...

Что рабочие работают? Как что? Жнейки «Идеал» делают, кожу мнут, рыбачат, виноградарствуют, в порту пшеницу и разное там зерно грузят, пароходы чинят, «Рудзутака» клепают. «Рудзутака» не живого, а того, что из моря песок вычерпывает.

Служащие? Вообще... как везде... Пишут, торгуют и на советской платформе стоят...

Прочие? Тут уж «вообще» не скажешь. Те «прочие» в каждом городе разные. Они, так сказать, определенного цвета не имеют и каждому кусочку земли советской

колер не придают. Что в Бердянске «прочие» делают? Много кое-чего делают... А много делают потому, что их самих много.

Больше всего в Бердянске, по-моему, эти «прочие» фотографируются. Серьезно. Такая тьма в Бердянске фотографий, что глаза разбегаются... Нужно, видимо, каждому жителю не меньше двух раз в день фотографироваться, чтобы у фотографов была работа. А какие фотографии? Думаете, простые? Совсем не простые. Там такие фотографии, что хочешь не хочешь, а зайдешь, чтобы тебя на «клише» взяли. Ну, как, примером, вы устоите, если вам плакат вот такое кричит:

ГРАЖДАНЕ РОДИТЕЛИ!

Показалось солнышко!
Несите своих птенчиков в фотографию Ямпольского!
Все есть для деток:
Лошадь-велосипед, лошадь-«форд»!
Снимаю быстро, без долгой возни!
Великолепно обставленная фотография!

И что вы думаете? «Граждане родители» несут своих «птенчиков» в фотографию Ямпольского. Сидят в витрине «птенчики» и на коне, и на велосипеде, и на «форде». «Форд» новой конструкции: простой себе детский возочек, а на нем большими буквами написано: «ФОРД».

Это для «птенчиков».

А есть и для солидных «птиц»...

КУРОРТНЫЕ И ПРИЕЗЖИЕ!

Что вы увезете на память о Бердянске?
Нужно зайти к Ямпольскому.
Свой пляж никого не обжигает,
своя лодка на 15 чел.
Декораций сколько — выбирай любую, какая по душе; украинцам — украинская, для учащихся своя декорация, для пикников своя декорация.
Все! Все! Все!

Придется пойти. Хоть раз в жизни сфотографироваться на фоне «украинской декорации»... Нельзя иначе: жилка же национальная трепещет! Или как по-вашему?!

И сидят... И в «своей» лодке сидят и на фоне «декорации» сидят... Лежат и на пляже, так как никого «не обжигает»...

А вторая фотография — та берет выше:

Портреты всех великих вождей революции!!!

Только великих. Маленьких нет... А на витрине портрет девочки с кошечкой... Не смахивает на «великого вождя»?.. Это ничего. Может быть, из этой девочки громаднейший «вождь» вырастет? Кто знает!

Фотографироваться, одним словом, есть где. И бердянцы фотографируются...

Что еще делают «прочие»?

Мороженое едят, так как мороженщиков полный город. Чтобы травились — не слышно...

На музыку в сад ходят.

Особенных эмоциональных страстей не заметил. Это я на основе (прости меня, судьба!) подслушанного разговора:

— Вы говорите: любовь? Никакой любви нет! Вот сегодня мне докладчик понравился, а завтра он мне «разонравился»... А вы говорите: «любовь — сила!» Какая же это сила?

— Да я, Мария Андреевна, не про ту любовь, а про эту, которая вот здесь... И здесь... Близехонько от нас. Так та любовь — большая сила. Ей-богу, могу эту тумбу выворотить, если пожелаете...

— Не верю я в любовь, что она сила!..

Не верит, что вы ей сделаете! Человек для нее тумбы выворачивать собрался, а она не верит...

Какие же еще «занятия» имеют бердянские «прочие»?

Ага! Вот что их захватывает сильнее всего... Бычков в море ловят... Ловят, и ловят, и никак их выловить не могут. Да как еще ловят!

— Сел я на вот эту одну удочку. Тяну, и тяну, и тяну... Восемь человек позади стоят да с крючка снимают, а я тяну... Тысячи две натаскал!

Вот так ловят...

Видел я одну из «прочих» с особенной профессией:

ждет денационализации зданий... И не в Бердянске, а в Харькове...

— Вы, случайно, не из Харькова?

— Из Харькова.

— Не знаете, уже прошел тот закон, что дома возвращает?

— Не знаю.

— Дал бы господь...

— А вам что, бабуся?

— Да у меня на Пушкинской два дома, так того... Я это сюда к сестре еще в 1919 году переехала, а там, говорят, возвратят...

Семечками бабка торгует.

* * *

Так и живет Бердянск. Так живут и бердянцы... Живут себе, на рынок ежедневно ходят. А на рынке всяческая живность продается для «пропитания»...

Там, на базаре, еще и бабуся слепая сидит с тарелочкой в руке, сидит и причитает:

Помогните, папаши, помогните, мамаши,
Да помогните же, сестрицы,
Помогните, голубицы.
Когда б я свет божий видала,
Я бы вашей дорожки не заседала...

А даст бердянец копеечку бабусе и получает за ту копейку:

Сохрани господь вас в поле,
Сохрани господь вас в доме,
Сохрани господь вас в пути,
Сохрани господь вас в дороге.

И все это за копеечку!..

* * *

Ну и что же еще в Бердянске есть?

Пляж есть. Там купаются, на солнце выгреваются. Это ясно.

Почта есть. На почте открыток почтовых нет. Но это же не от Бердянска. Это от Наркомпочтеля. А Нарком-

почтель решил: пусть пишут закрытые письма. Больше напишут...

Аптека в Бердянске есть. В аптеке плесневелые капсулы с касторкой продают. И снова не виновен в этом Бердянск, ни капельки: это Укрмедторг так ему ножку подставил.

Вот что есть в Бердянске.

Думаете, все? Нет, не все!

Напоследок я вам о главнейшем расскажу... О детках бердянских. Хорошие деточки... Праздновали они вот этими днями окончание школьного года.

Вот как высыпали на бердянские улицы. Как затопили... Больше трех тысяч пионеров в Бердянске! И пели, и декламировали в городском саду, и инсценировки всякие разыгрывали...

А как двинули песни, что вот и:

Капитан — комсомолец,
Кочегар — комсомолец,
Все матросы — комсомольцы,
Коминтерна славны хлопцы,
Одно слово — ленинцы!

Так куда вам?

И еще не как-нибудь, а с нажимом:

ЛЕ-НИН-ЦЫ!

Старая баба так не может. И «прочие» не могут. Они, детки, они могут!

А вы говорите, Бердянск! Вот вам и Бердянск!

1926

Симферополь—Ялта

(Дорожные впечатления)

Взяли вы, значит, Перекоп и жарите на Симферополь...

До Симферополя Крымский полуостров ничего особенного собой не представляет, и до самого Симферополя вы спите, спокойно похрапывая под тра-та-та-та пульмановского вагона.

А от Симферополя уже начинается настоящий Крым с его дивами дивными и чудами чудными, и каждый, даже сокращенный, «Путеводитель» рекомендует всем — и экскурсантам и простым смертным — ворон не считать, потому что именно в Симферополе все и начинается...

Симферополь — центр Крыма, столица его. Очень древний город: раскопки в нем и в окрестностях свидетельствуют, что еще до рождества Христова на месте том было греческое селение Неаполис, где сидел скифский царь Скилур...

Долго или недолго сидел тот Скилур, царь скифский, в Симферополе, до этого еще не докопались, но известно, что примерно через двадцать два столетия после Скилура в Симферополе сидел уже не царь, а Врангель, и сидел, как говорят крымские легенды, очень недолго... Исчез он в направлении Царьграда, и так «фундаментально» исчез, что никакими раскопками до него не докопаешься...

Симферополь поражает путешественника своими старинными постройками, памятниками седой старины и

прекрасными окрестностями, о которых можно писать, писать и еще раз писать... А поскольку вы, невзирая на его древность, все-таки его проспали, значит, и писать о нем не будете...

Дальше идет Бахчисарай, резиденция крымских ханов, со знаменитым дворцом последнего крымского повелителя и не менее знаменитым Бахчисарайским фонтаном...

Проспав Бахчисарай, подъезжаете к Севастополю, конечному пункту вашего железнодорожного путешествия...

— Вставайте: уже!

— Симферополь?

— Севастополь!

— А Симферополь? А Бахчисарай?

— Давно забыли.

— Какая жалость! Такие исторические места! Как же так?

— Продрыхли!

— Подумать только?!

Севастополь — порт. Блеснула перед вами знаменитая Севастопольская бухта, и вас уже втиснули в автомобиль, чтоб ехать по шоссе в Ялту...

Вы оглядываетесь, вертитесь, чтоб хоть одним глазком взглянуть на бухту, на набережную, а мадам, белая-белая и пышная мадам под газовым шарфом, сидящая вплотную к вам справа, поучает вас:

— И что интересного? Вертится, как на шиле. И толкается! Ну, бухта! Ну, море! Но зачем же толкаться?!

...Грррр! Чок-чок-чок!

Поехали...

Поехали вы прекрасной дорогой, протянувшейся на восемьдесят две версты от Севастополя до Ялты...

Выноситесь за город... Машина рванула на просторе, волю почуяв, и мчит вас туда, где встают перед вами в туманной дали серые великаны...

Тихо... Тихо... Утро...

Убаюканные машиной, завороженные прекрасными контурами высоченных горных кряжей, прозрачным воздухом, солнечными лучами, травою, водою и всем, чем еще может заворожить крымский Пан,— сидите вы, прищурившись, вглядываясь и вслушиваясь...

И весь вы внимание, и весь вы глаз, и весь вы слух.

Ведь вы читали и слышали, что дорога от Севастополя до Ялты полна дивных зрительных и слуховых сюрпризов.

Тихо... Тихо...

Вдруг:

— Б-б-бах!

Слуховой сюрприз!

Метнули вы свой острый взгляд туда, ввысь, где вздымаются серые великаны...

Не уснувший ли вулкан пробудился?!

Не скала ли в миллион пудов ринулась в море, сметая на своем пути все живое и неживое?!

А может...

— Эх, елки зеленые! — кричит шофер.— Говорил, подлатать надо! Не слушают, заразы!

Шина лопнула!

Слуховой сюрприз, который потом переходит в зрительный, в желудочный и, наконец, в ножной и спинной...

— Вылезайте, граждане!

«Граждане» вылезают... Столпились вокруг машины и стараются разглядеть, где ж они, эти самые «елки зеленые», которые высадили их из автомобиля... (Зрительный сюрприз.)

Потом садятся на травку у шоссе; развязывают узелки и уписывают, что у кого осталось (желудочный сюрприз); потом часть идет рвать цветы у дороги (ножной!), а другие ложатся на травку лицом вверх и мурлычут какой-нибудь соответствующий моменту и настроению романс, вроде:

На дороге жук, жук,
На дороге черный...

...Подлатались — и дальше.

Дорога все в гору, в гору...

Что ж вы на этой дороге видите?

Или хотя бы не на дороге, а над дорогой или у дороги?

Ничего вы не видите, так как справа от вас белая-белая пышная московская мадам, из-за которой ничего не увидишь, имей вы хоть восемнадцать глаз: настолько эта мадам и широка и глубока...

А слева от вас «молодой человек, наверное, брунет» закрылся от солнца подушкой... Попробуйте увидеть!

Видно только вперед и вверх...

А там, вверху, серые великаны громоздятся!

А что же могли бы вы увидеть по дороге из Севастополя в Ялту, в той ее половине, что поднимается к Байдарским воротам?

Много чего!

На четвертой версте от Севастополя отходит дорога, ведущая к Юрьевскому монастырю... На шестой версте у шоссе — французское кладбище, где похоронены французские офицеры и солдаты в 1854—1855 годах. Дальше — дача «Альфа», служившая штаб-квартирой французам во время осады Севастополя в 1854 году...

Потом шоссе пересекает Кучук-Мускумскую долину, а оттуда делает прыжок в красивую Байдарскую долину, которая тянется на шестнадцать верст в длину и на восемь — десять верст в ширину... В долине село Байдары, откуда четыре версты до знаменитых Байдарских ворот, сооруженных в 1848 году на высоте двухсот сорока трех сажен над уровнем моря.

Перевал...

Дальше дорога вниз! На Южный берег Крыма!

Разумеется, у Байдарских ворот отдых. Есть здесь нечто вроде «ресторации», где вам дадут пообедать, если захотите. Если захотите, стало быть, дадут, а когда дадут, так уж не захотите! Но это к географии и этнографии не относится!..

Хотите — обедайте, не хотите — не обедайте, все равно за Байдарскими воротами море!

Выезжаете из Байдар — и сразу:

— Ах!

И ваша соседка справа — «ах!», и ваш сосед слева — «ах!», и соседи спереди — «ах!», и соседи сзади — «ах!», и вы сами — «ах!»...

Только шофер не «ах», а косо на помощника:

— Внимание!

Столбовая дорога завертелась... Белым ужом под высокими скалами изогнулась, переплелась петлями, узлами, восьмерками... То тут, то там покажет спину, и снова куда-то под скалу, за скалу, под обрыв, за обрыв, падает вниз, карабкается вверх.

Проехали немного — и конец... Дальше бездна... А она вильнула влево и пошла дальше... И снова нету...

Бездна. А она вильнула вправо, пробежала десять саженей — и снова за скалу и снова за каменную стену...

А внизу — море! Сколько видит глаз — море!.. В чадре из тумана, только у берега серебром переливается... И манит неведомым и страшит необъятностью своей...

Черное море... Синее море... Понтийское море...

Черное море красные берега омывает... И они не чернеют...

А над ним, к нему сбегая, в него окунаясь, прильнули к берегу: Тесели, Форос, Мшатка, Ай-Юры, Мелас, Лимнеиз, Мухалатка, Кастрополь, Кикинеиз...

И дальше... Симеиз, Алупка, Мисхор, Гаспра, Ай-Тодор, Ласточкино гнездо, Ореанда, Ливадия, Ялта...

Море их моет, а сверху их яйла обнимает... Обнимает могучими объятиями вековечных скал...

И гордо закинул над ними свою зубчатую голову Ай-Петри...

Всесоюзная здравница...

. . . . . .

1924

«Природа и люди»

Нет, не «природа и люди», а скорее наоборот — «люди и природа»...

Как, значит, люди на крымскую природу едут, и как эта самая крымская природа на тех людей воздействует, и что из этого воздействия природного проистекает...

* * *

Еще в Севастополе, на вокзале...

— Ох! Устал, знаете, до чертиков!.. Голова — ну никуда. Хоть выкинь! И, знаете, «верхушки»... и выдох, и звук тупой! Температура начала еще последние месяцы подниматься! Сдал, что называется, вовсе! Работоспособность упала... Едва-едва дотянул до мая... Комиссия прямо сказала:

— Поезжайте! И чем скорей поедете, тем лучше! Поедете, говорят, подышите крымским воздухом, отдохнете, поправитесь!..

— А я думаю, что вряд ли мне уже поправиться. Сил — ни вот столечки! Да и не диво: семь лет революции как в котле кипел... А теперь и комиссии, и подкомиссии, и совещания... Чего только не тянешь?! Как ты его тянешь — и сам не знаешь! Инерция, должно быть! Да вы поглядите на меня: разве в двадцать шесть лет таким человек бывает? Да я уже старик! Вот еду и не верю, что выйдет из этого что-нибудь... Просто еду, чтоб потом не жалеть, что не воспользовался возможностью побывать в Крыму. Приеду, лягу и пролежу все два месяца... Ни ногой, ни рукой... Просто лежать буду... За семь лет

отлежусь! Как бы это в такую санаторию попасть, чтоб поменьше суетни, чтоб без шума, без гама... Только лежать, дышать, отдыхать... А главное — лежать, лежать... Долго нам еще ехать?! Хоть бы поскорей! Ой, лежать! А вы тоже — на отдых? Легкие?

— Нет. Командировка. Надо поглядеть, как там народ трудовой поправляется...

— Не больны, значит! Вот счастливый! А я — лежать! Только лежать! Поправиться, кто его знает, поправлюсь ли, а отлежусь так уж отлежусь!

И вглядываешься в его усталые глаза, такие грустные-грустные, и в серое лицо вглядываешься: бледное-бледное, прямо землистое, и синеватые губы, и круги под глазами, и вялые руки, и слабый голос. Спутанные, потные волосы... И безразличие, безразличие...

«Да-а... — думаешь, — потрепало человека... Революция не танец... Она как возьмет в свои босвые руки, так только держись...»

* * *

Уже в санатории. Через неделю...

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

Бритая голова, бритая борода, белый костюм, на голове тюбетейка, сандалии на ногах, на лице уже какие-то краски, легкий загар, в глазах блеск и чертики... Крымская тросточка, и тросточка эта в руке вывертом, вывертом...

— Ну что? Как? Лежите?

— Да, полеживаю понемногу. Да чего, собственно, лежать? Здесь и походить неплохо... Му-гу-гу! «Ха-рашо жить на востоке-е-е!..»

— Распеваете?

— Почему ж и не попеть? А вы как?

— Да ничего. Хожу, присматриваюсь понемножку!

— Скучный вы какой-то! Чего это вы?! Такая природа, так чудесно вокруг!.. А вы нос повесили... Выше голову!.. А-а! Товарищ Надя! Куда? На пляж? И я с вами! Простите, товарищ... «С той поры, как стала шансонеткой я, я, мои друзья, на сцене тру-ля-ля»! Ля-ля! Товарищ Надя! А ну наперегонки!..

Через две недели...

Ночь... Луна...

— Добрый вечер!

— Добрый вечер! Куда вы таким галопом?

— Не видите разве? Вон луна восходит! Пойду посижу немножко... «Лунные ванны»! Не пробовали? Эх вы! «Чум-ча-а-ра-чу-ра-ра! Ку-ку!»

— Поправляетесь?!

— Отчего ж мне не поправляться?! Чепуха! Не такой уж я больной! Ну, бывайте! Ау! Ого-го-го!..

— Я здесь (тоненький голосок).

— Иду-у-у.

* * *

Через месяц...

Смеются глаза... Черное, со здоровым румянцем лицо... Пружинят ноги! Острый взгляд! Резкие движения! Тросточка в руках колесом! На месте — приплясом, по проспекту — орлом...

А на руке загорелая Надя.

— Ха-ха-ха!

— Хи-хи-хи!

И брызжет веселье! И смех!

. . . . . .

И шуткой покажутся совещания, игрушкой конференции...

«Харрашо жить на востоке-е-е!»

1924

Море

(Кое-что из природоведения)

Ну, вот и море!

В данном случае — Черное море, то есть такое море, которое черное.

Не Белое, а Черное море...

Это, значит, такая вроде яма, здоровенная-здоровенная, налитая соленой водой доверху...

Края этой ямы называются берегами... Дно — так и будет дно... Вода — так и остается вода... Это и есть — море...

Море это самое служит для того, чтобы в нем купаться и на него смотреть...

Если на море смотреть, то будет вид на море...

Если в нем купаться, то так это и называется: купаться в море.

Еще по морю корабли плавают, пароходы, броненосцы разные там, но это далеко от берега, рукой не достанешь...

Я буду писать только о том море и о том — в море, что можно, так сказать, проверить на ощупь, помня мудрое изречение: «Не поверю, пока не пощупаю!»

Когда вы смотрите на море, вам прежде всего бросается в глаза вода... Подойдя к морю, трогаете рукой: мокро... Руку в рот — соленое и капает... Значит, вода...

Потрогали берег — твердый...

Значит, верно: море... Вы не ошиблись...

Удостоверившись, что вы на море, можете продолжать его обследовать...

Море бывает трех сортов: тихое море, беспокойное море и бурное море...

Тихое море — это такое море, в котором вода тихая...

Она медленно колышется, потихоньку, лениво плещет о берег и выгибает спину под горячими лучами солнца.

Беспокойное море — это пастух. Оно гонит к берегу огромную отару белых баранов, кричит на них, подхлестывает, злится, обгоняет их, выбрасывает на берег с плеском, с грохотом, с гневом... Бараны, выскочив на берег, катятся по гальке, захватывают ее своим белым руном, грохочут, скрежещут и, разбив руно белоснежное о круглую гальку, откатываются назад в море и тонут... А море в ярости, что ни одного барана не может на берег целым выгнать, еще ожесточеннее, еще упорнее гонит их.

И так день, два, а то и три, пока не махнет рукой:

— Пустая, мол, работа!

Успокоится, превратится в тихое море и снова сонно колышется, тихонько плещет о берег и полощет в волнах своих солнечные стрелы...

Наработалось!

А иногда... О, иногда оно, гоня белые отары барашков, как разбушуется, как разволнуется, как запрыгает, как заревет, как зашумит, тут уж — помяни, господи, царя Давида!

Тогда оно демонстрирует свой третий сорт — бурное море!

Мамочка моя! Эти барашки беленькие становятся белыми слонами (между прочим, море водки не пьет) или вырастают в целые горы, ревут, скачут, мечутся из стороны в сторону, бешено бьются о берег, вздымая с диким хохотом прибрежную гальку, выскакивают далеко на сушу и рассыпаются тучей неистовых брызг...

Тогда всем, кто его видит, становится страшно...

А мне не страшно, потому что я бурного моря не видел...

* * *

Морская вода, как я уже отметил выше, вода соленая, ибо содержит в себе так называемую глауберову соль...

Поэтому, если бы кому-нибудь вздумалось варить из морской воды уху, солить эту уху не надо.

В море живут разные морские животные. Отличительная их особенность — они никогда не страдают запором (глауберова соль!).

Из морских животных, которых я видел собственными глазами, отмечу следующих: дельфин, султанка, камбала, морской конь, морская корова, краб, рыба-игла, медуза...

Дельфин — это вроде нашего речного рака, только во сто раз больше... Отличается от рака тем, что у рака шейка и клешни, а у дельфина ни клешней, ни шейки... У рака глаза сзади, а у дельфина спереди. У рака тело покрыто скорлупой, а у дельфина — кожей... Раки живут в норах под корягами и в водяной крапиве, а дельфины — у самой поверхности моря, красиво кувыркаясь, выплескиваясь из воды, когда играют... Рак ест падаль, а дельфин — живую рыбу... Рака едят, дельфина не едят... Рак так всегда и называется «рак», а дельфина за его живость и веселый нрав прозвали «морской ласточкой»... Это все различия между раком и дельфином... Но есть у них одна общая черта, придающая им сходство друг с другом: и рак и дельфин плавают...

Султанка — это рыба. Настоящая рыба. Называется она султанкой потому, что турецкие султаны никогда такой дрянной рыбки не ели.

Камбала. Циклоп-рыба, потому что одноглазая. Круглая рыба, вроде сита. Вкусная рыба, если на сливочном масле...

Морской конь. Маленькая, заморенная, невзрачная морская скотинка с вздернутым хвостом, без гривы, с лошадиной мордой. Не ржет и овса не ест... На нем морские рыбы друг к другу в гости ездят...

Морская корова. Длинная, большеголовая, с двумя на этой голове рогами, бурая коровка. Не мычит, не доится...

Краб. Совершенно не похож на нашу щуку. Не похож и на окуня, и на карася, и на линя, даже с верховодкой ничего общего... Некоторые считают, что он чуть ли не брат нашему раку, но раз уж я сравнил рака с дельфином, то сравнивать с ним еще и краба как-то неудобно. Выйдет так, что в море одни раки. Не стану отрицать, что у краба есть скорлупа, клешни, что жи-

вет он под камнями, а все-таки он не рак, а краб. Одно дело — рак, другое — краб. Разница большая... А щиплется, тварь, здорово!

Рыба-игла. Самая обыкновенная цыганская иголка. Такая, какой у нас мешки латают. Употребляется султанкой и камбалой для штопки чулок и лифчиков, когда они собираются друг к другу на свадьбу...

Медуза. Морской студень... Круглое, как миска, белое, зыбкое, скользкое, холодное и прозрачное... Возьмешь в руки — тает, не берешь в руки — не тает...

Летают над морем рыболовы (птицы) и бакланы. Рыболовы — блондины, бакланы — брюнеты. Ловят рыбу...

. . . . . .

Вот более или менее точный научный очерк о Черном море на основе собственных наблюдений.

1924

Горы

Горы — штука высокая... Это — вообще...

Крымские горы тоже не низкие и не маленькие...

Впрочем, если с моря на них посмотришь:

— Чепуха! Далеко, говорите? Какой там далеко: рукой подать! Это Ай-Петри?! По-вашему, высоко? Стоит хорошенько разбежаться — и там!..

Можете не разбегаться: поверьте, что не близко...

Верст двадцать пять до Ай-Петри от вас — это если напрямик, а если кружить тропками, к нему добираясь, так и все сорок прокрутите...

Обманывают горы, и здорово-таки нас, степняков, обманывают...

Если уйти на лодке в море верст за пятнадцать — двадцать и посмотреть на берег, то покажется, что гор этих Крымских всего-то горсточка...

А что они тянутся от Севастополя до Феодосии, так что с того?! Взял бы в охапку и понес... Так их с виду немного. А ведь сто верст!

На сто верст тянутся с запада на восток Крымские горы... Тянутся на целых сто верст и всюду называются яйлой.

Обнимает яйла берег Южный Крымский, заслоняет его от холода и ветров северных, и тепло на том берегу...

А снимите яйлу, состругайте ее каким-нибудь огромным рубанком — и не будет знаменитого Южного Крымского берега, и кипарисов не будет, и магнолий не будет, и лавров не будет...

Гладко всюду будет. Проводники исчезнут... И дамы будут проливать тогда слезы с орех величиной...

Не о проводниках (что вы, что вы!) будут они слезы проливать, а о горах... Ведь красивы горы! Могучи горы! Великаны горы! Как же по таким горам не заплакать?!

Откуда взялись Крымские горы?

От бога!

В один из шести дней, когда бог создавал мир, создал он и Крымские горы...

Геологи, народ неверующий, пытаются доказать, что Крымские горы возникали постепенно, на протяжении нескольких геологических периодов, путем отложения глубоководных осадков (известняков), в результате землетрясений и т. д. и т. п.

А княгиня Е. Горчакова (княгиня, а не какой-нибудь там геолог), лежа на Сакской площадке, просто и ясно пишет, глядя на горы:

И горит мое сердце любовью,
Взор усталый туманит слеза,
И хвалу всемогущему богу
С тайным трепетом шепчут уста.

А за что «с тайным трепетом шепчут уста»?

Думаете, даром?!

За то, что бог сотворил горы. Да и не только горы, но и дачу, и виноградники, и слуг, и ренту...

И все это конкретное, такое, за что можно подержаться...

А геологи что?!

«Периоды»?! «Эпохи»?!

И все это абстракция.

Бог! Никто больше не мог создать такие прекрасные горы, как Крымские!.. И не спорьте!..

Каждая гора в отдельности, а значит, и все горы вместе состоят из трех частей: подошвы, склона и вершины... Подошва — это то, что внизу, склон — это несколько выше, а вершина — это уж совсем высоко...

Труднее всего взбираться в горах на подошву... Очень трудно...

Туристы этим особенно гордятся.

— Был на Ай-Петри!

— На вершине или на подошве?

— На подошве!

— Вот молодец! Ай да рыцарь!

А у «рыцаря» улыбка по самые уши: взошел-таки...

На склон значительно легче. Особенно, если сверху, от вершины...

А на вершину вовсе ерунда... Взял палочку в руки и пошел...

А после того недели две лежишь в постели, переваривая, так сказать, впечатления... Тихо лежишь, спокойно лежишь; не шевельнешь ни рукой, ни ногой... В такое погружаешься «самоуглубление» от пережитых и увиденных красот горных...

Да и не удивительно: ведь, к примеру, взлететь с легкостью серны на гору Бабуган — большое удовлетворение. Тысяча пятьсот сорок три метра высоты — это, сами подумайте, немножко повыше, чем харьковская Холодная гора... А вы знаете, что с Холодной горы, если вечером смотреть на город, очень красиво... А каково же, если с Бабугана, или с Чатыр-Дага, или с Ай-Петри?!

На подошве горы — дачи. На склоне — леса. На вершине — снега, и летом снег, и зимой снег!

А по склонам — горные ручьи.

А в лесах — буйволы, дикие козы, «зеленые»...

«Зеленые», положим, за последнее время перевелись... А при Врангеле, говорят, было их в горах видимо-невидимо... «Поддерживали» барона в его святой миссии — восстановить «единую и неделимую Россию... Святую Русь!».

Самое главное в горах для нас, грешных,— горный воздух. Много его тут. Он не продается, просто так: бери и дыши сколько хочешь...

Только вывозить не разрешается... Хотя кое-кто из туристов и берет с собою с Чатыр-Дага или Бабугана мешочек воздуха...

Воздух здесь чистый, прозрачный, легкий, свежий...

Очень здесь горы пугливые! Названия их чаще всего

с «Ай» начинаются: «Ай-Петри, «Ай-Никола», «Ай-Тодор», «Ай-Я» и т. п.

И это, между прочим, заразительно...

Очень часто слышите в компании, которая карабкается на горы, возгласы:

— Ай, боже мой!

— Ай, мать моя родная!

А то просто:

— Ой, держите меня!

— Ой, спасите!

1924

Там, где царь пешком ходил

В Ливадии их царское величество пешком ходили... До Ливадии ехали, а тут можно было и пройтись, даже кроме тех моментов в жизни венценосцев, когда вообще «царь пешком ходит».

Неплохо в Ливадии...

Не дурак были их императорское величество, когда облюбовали место сие...

И море, и горы, и розы, и глицинии, и кипарисы, и лавры, и «вид на сюда», и «вид на туда»...

Все, можно сказать, «волосок к волоску», чтобы миропомазавшись во благовремении, удобно было управлять «возлюбленным народом нашим»...

И дворец воздвигли «любовью народа» ничего себе... Правильный дворец...

И для себя и для «возлюбленной супруги нашей», их императорского величества, государыни императрицы Александры Федоровны...

И для «деток наших» и для «свиты его величества»...

Ливадия в двух верстах от Ялты... На запад. Протянулась по нижнему склону Могаби от шоссе, идущего из Севастополя в Ялту, до самого моря. Тут два дворца: старый (Александра III) и новый. Парк, усадьба, виноградники, службы и т. д.

Большой дворец построен в 1910—1911 годах на месте бывшего дворца Потоцкого (когда-то Ливадия была собственностью Потоцких).

В этом дворце пятьдесят восемь комнат, а всех помещений (с балконами и галереями) — сто шестнадцать.

Доминирует стиль «ренессанс».

Знаменательно! Накануне «декаданса» — дворец в стиле «ренессанс».

Но в этом дворце (в разных его комнатах) встречаются абсолютно все стили, какие известны на земле... От I до XX века.

Внутри дворец отделан деревом под цветной мрамор и под металл! Отделан мастерски, на удивление!

Союзу деревообделочников есть чем гордиться: умеют его члены работать... Хоть и черт знает для кого, а сделано славно.

Например, «деловой» кабинет Николая... Под зеленый мрамор отделан. Здесь «они работали».

Спальня — под белый мрамор...

Царицына гостиная — стилизованная ионика, под желтый мрамор...

Это все верхний этаж.

Тут и комнаты Алексея рядом с «дядькой» Деревянко, концертный зал (ионика), гостиная царевен (итальянская). В одном из коридоров — итальянское окно с прекрасной живой картиной, отражающейся в висящем против него зеркале.

В нижнем этаже — парадные покои. Вестибюль в римском стиле I века. Столовая — «ренессанс» XI века, Флоренция. Приемная — копия зала «Совета пятисот» во Дворце дожей в Венеции. Бильярдная — каштановая, в английском стиле. Маленький дворик возле дворца — копия монастырского дворика в Италии (типа св. Марка во Флоренции).

Тут и молельня царицы (богомольна ведь была!) в стиле московских церквей XVI века.

Вообще — стили. Стиль даже там, где ни один человек о стиле не думает, а только — лишь бы скорее! Так и там, говорят, стиль!

А сдобрены были все эти стили вот уж поистине «бузой», как харьковские «папиросники» говорят...

Иконы! Иконы! Иконы!

И в головах иконы, и в ногах иконы, и везде иконы, и всюду иконы!

Теперь эти иконы, как государственная ценность, вывезены в музеи, а остались только «киоты» (или как там они называются)...

Роскошь... Давит эта роскошь непривычного человека...

И холодно во дворце...

Нет «духа живого»... Того «духа уюта», который всегда чувствуется в человеческом жилье.

Так и хочется стать посреди зала «Совета пятисот во Дворце дожей в Венеции», заложить в нецарственный рот два нецарственных пальца и... свистнуть!

И чтобы посвист этот победно ударил и по «ренессансу», и по «ионике», и по «Флоренции», и по «стилю Жакоб».

И чтобы он отскакивал от стен, бился о потолок из папье-маше, пронизал мавританские двери, вырвался в итальянское окно и Черным морем на барашках волн по всему миру раскатился:

— Нет! Царя нет! И не будет!

А в парке магнолии, лавры, мирты, кедры, пинии, сосны, розы...

Для царя пахли...

А теперь для нас пахнут!

1924

Алупка

Алупка — это курорт, расположившийся под Ай-Петри на горном склоне, в шестнадцати верстах к западу от Ялты...

Курорт, очевидно, еще не национализированный, потому что когда вы в Алупку въезжаете, то видите такую на столбе надпись:

> Алупка.
> Имение княгини
> Е. В. Воронцовой-Дашковой

То ли не успели еще национализировать Алупкинское майоратное поместье князей Воронцовых-Дашковых, то ли Главное курортное управление просто не торопится снимать эту надпись...

Кто его, мол, знает!

Алупка — прославленный курорт.

Есть там горы, есть море, есть дачи, есть проводники и т. п....

Но всего славнее Алупка знаменитым дворцом князей Воронцовых-Дашковых, хотя рядом с дворцом существует еще и санаторий Украинского Красного Креста, с украинским поэтом Владимиром Сосюрой в нем и с надеждой, что вскоре туда приедет еще Валерьян Полищук... И кто тогда будет знаменитее — неизвестно...

Равны будут!

С одной стороны «готика», с другой стороны «Гарт» [1]... Оба на «гы» начинаются.

---

[1] Украинское литературное объединение 20-х годов.

Попасть в Алупку из Ялты или из Симеиза можно и без «Путеводителя по Крыму». Просто нанимается чалая кобыла, запряженная в трясуче-гремучую «линейку», со смуглым человеком на козлах и с кнутом у того человека в руках, и нахлестывается эта чалая кобыла тем кнутом нещадно...

Таким чином довозят вас до самого Воронцовского дворца...

Потом говорится той чалой кобыле:

— Тпрр!

И вы на месте...

Встаете и идете осматривать знаменитый дворец и знаменитый парк.

Подходите и говорите:

— М-да! Неплохо жили, пусть их сиятельствам легонько икнется! Незачем им было социальную революцию устраивать! Можно было просуществовать и без революции... И даже неплохо просуществовать.

Кругом одна тебе готика...

Столетний дворец (начали его строить в 1820 году, кончили в 1837-м) из серого камня «угобзишася» над морем, под вековечным «хаосом» вздыбленных какой-то катастрофой скал.

Дворец этот — и мрачный в величии своем, и веселый, благодаря террасе мавританской, копии с террасы Альгамбры, что спускается к морю, охраняемая шестью белыми мраморными львами, шестью чудами искусства, красавцами и во сне и в бодрствовании. И глядят со столетних стен столетние портреты работы разных знаменитых мастеров, отошедших во тьму столетий...

Екатерина Великая в расцвете своей эротически-постельной красоты и Екатерина Великая с запавшим старческим ртом...

И Петр Великий, и Александр Великий, и Николай I Великий, и шведский король Великий.

И все они великие... великие... великие...

И нет среди них маленьких... Только в аванзале смотрит со стены из-под татарской шапочки старый дедок Абдул Хурза, бывший слуга царский, а ныне «слуга революционный», который ходит по этому дворцу уже 52 года (с 1872 года служит здесь)...

Повесили, уже после революции, и его портрет рядом с Александром Первым, да еще и «благословенным»...

И ходишь по «голубым» гостиным, по «ситцевым» будуарам, по «дубовым» на полтораста человек столовым...

Ходишь и думаешь...

О «любви» к господам думаешь...

А из угла смотрит на тебя в столовой «ванна для шампанского».

Ели-ели графы и князья, «земли русской радетели», пили-пили, а потом еще и купались в шампанском.

А сверху, с хоров, музыка гремела:

Царствуй на славу наш
Царь православный,
Боже, царя храни!
. . . . . .

А кругом вековой парк. И беседки, увитые розами, и беседки, увитые виноградом, и копии с «Бахчисарайского фонтана», и фонтаны «Амуры с Психеями»...

И «дворцы» для челяди...

70 человек слуг для двоих «геморроидально-мочене-держательных» князя и княгини...

И триста человек «рабов божьих и княжеских» парк прибирают...

Прибирают, и копают гроты, и ставят памятники «возлюбленной собачке нашей»...

И лежит «прах» княжеской собаки под могильным камнем, человеческими натруженными руками возведенным...

И молитвенно шепчут уста:

Тише! Здесь царство покоя:
Цюця здесь барская спит...

И возносятся очи горé.

Упокой, господи, цюцину
душу и водвори ее в рай.

Вместе с князем и княгиней.
Водвори... Водвори... Водвори...

1924

Гурзуф

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

Хорошие стихи?

Это не я. Это Александр Сергеевич Пушкин написал, когда был в Гурзуфе. Тот самый А. С. Пушкин... 8 июня как раз минуло сто двадцать пять лет со дня его рождения.

Что и говорить! Пушкину-таки далеко до нынешних футуристов или там имажинистов... Однако при случае почему не вспомнить и о нем, а еще сидя в Гурзуфе под знаменитым его (А. С. Пушкина) платаном или любуясь синим морем из его (А. С. Пушкина) грота в крутой над морем скале...

Сижу и думаю, что написал бы, глядя на море, имажинист?

Может быть, так:

Адью! О море! Ты снимаешь
С прибрежья синие штаны...
И жадно гальку оголяешь
На пузе взбешенной волны.[1]

[1] Не ахти что, правда, но я ведь не имажинист. Имажинисты, выправьте! — *О. В.*

А футурист (наш) такое бы учудил:

О, кабле-волны! Кабле-море!
О вы, прибоя кабле-силы!
Мы жеребца с электровзором
Родим от радиокобылы!

Воздвигнут имажинисты и панфутуристы этими своими стихами себе «памятник нерукотворный», к которому «не зарастет народная тропа», или не воздвигнут — неизвестно.

А. С. Пушкин воздвиг...

Между прочим, это, оказывается, не так-то легко...

Можно сидеть под тем же платаном, под которым сидел Пушкин, ходить теми же тропками, по которым и он ходил, смотреть на море, приставив палец ко лбу, а «памятника нерукотворного» не создать.

Не выходит...

Кажется, обстановка та же: и море, и горы, и волны — все есть...

А по-пушкински не выходит...

...Зарастут к нам, грешным, «тропы».

Разве что пьяный когда-нибудь забредет...

Гурзуф — курорт и деревня раскинулись в четырнадцати верстах на восток от Ялты...

Старый курорт, с просторным пляжем и великолепным парком. В парке стоит дом, где в 1820 году жил Пушкин. Перед домом огромное дерево платан, под ним поэт любил отдыхать... Платан напоминает наш клен. Только это не клен, а платан...

В парке есть еще и пушкинский кипарис...

Много фонтанов, среди них обращают на себя внимание «Нимфа» и «Первая любовь»...

Названия не материалистические.

«Нимфа» — это такая себе нимфа, взрослая уже нимфа...

А «Первая любовь» — это маленький мальчонка и девчушка под зонтиком. Когда они успели завести роман, просто диву даешься... Это только в Крыму возможно...

Над Гурзуфом яйла высокая... Под Гурзуфом море широкое...

На восток от него у самого моря наклонился и пьет воду могучий Аю-Даг...

Аю-Даг по-татарски означает — «Медведь-гора».

Это тот самый медведь, которого когда-то аллах послал наказать жителей Крыма за то, что они забыли бога.

Давненько это было. Вот что рассказывают старики.

В ту пору Крым весь цвел, не то что теперь. Не было тогда бесчисленных скал и огромных камней. Всюду росли виноград, табак и фруктовые деревья.

А бога все-таки забыли.

Тогда аллах и послал в эти края могучего медведя.

Медведь приплыл морем оттуда, где круглый год снег, и лед, и холод, как зимой на вершине Чатыр-Дага.

Приплыл к Байдарским воротам и пошел берегом, круша все на своем пути. Под его ногами земля сползала с камня, как мясо с костей, и обнажались кости земли, а он дробил их своей тяжелой стопой, земля стонала, и целые селения гибли под обломками этих костей, что рушились на них.

Так дошел он до самого Артека, остановился, усталый, припал к морю напиться...

Тут великий аллах смилостивился над правоверными, остановил медведя, превратил его в гору и приказал пить воду и отдыхать до тех пор, пока бог не прикажет ему двинуться дальше... [1].

. . . . . .

Стоит медведь, ждет приказа аллаха.

А возле него Гурзуф цветет...

А в Гурзуфе красноармейцы оздоровляются...

А татары аллаха помаленьку забывают.

А медведь все воду пьет...

Долго ему, бедняге, пить придется, потому что воды много...

А аллах голоса что-то не подает.

Охрип аллах.

1924

---

[1] Легенду эту записал (или написал) Влас Дорошевич.— *О. В.*

Ялта

В коробке Ялта...

В каменной коробке яйлы исполинской. Западная стена той каменной коробки мыс — Ай-Тодор, восточная — мыс Ай-Никита...

С севера — главная гряда яйлы крымской... Сверху — голубое небо... А с юга — море синее...

И в коробке этой Ялта приютилась.

Ялта — столица курортов Южного Крыма... Главковерх над всем южнокрымским воздухом, южнокрымским солнцем, луной, морем, горами... В ее распоряжении все это находится...

Это вовсе не значит, что она красивее всех на Южном берегу Крыма... Это вовсе не значит, что, распределяя воздух, солнце, море, горы, она себе самые лучшие из них оставляет... Совсем нет! И даже наоборот... На других курортах все эти дары Крыма значительно красивее, свежее и, главное, чище, однако столица — Ялта. Ничего не поделаешь... Старше она всех курортов и по праву старшинства держит кормило в своих руках...

Так, положим, часто в жизни случается: командует вовсе не тот, кому бы надлежало...

И лежит или сидит Ялта в бухте этой, в коробке, высунула поганенький мол в море и задается...

А чего, спрашивается?

Культурный, думаете, центр Южного Крымского берега?

Какое там?! Только после революции музеи открылись...

Восточный музей в бывшем дворце эмира Бухарского.

Цель музея — распространение и изучение художественного творчества Востока, его жизни и культуры... Основан в 1921 году.

Народно-художественный музей. Основан тоже в 1921 году. Здесь собраны художественные произведения с дач, оставленных владельцами, когда бежали те владельцы из Крыма, специально для того, чтобы спасти «дорогое отечество»...

И только один есть старый музей — Историко-природоведческий, основанный в 1891 году. Главный его отдел — крымоведение.

Торговый, думаете, центр Ялта?

Какое там?!

Продает камешки черноморские на фунт и на штуку, ракушки, трости крымские, чадры татарские, чубуки, портсигары, бусы, пудру, одеколон, плохонькое вино, сандалии... Сандалий больше всего...

Стоит замызганная лавчонка, а в ней сандалии, а над ней вывеска. Лев забрался в сандалию и рвет ее, несчастную, и зубами и лапами... А наверху написано:

Разорвешь, а не распорешь!!

А ку́пите эти сандалии, наденете, пройдетесь разок по улице — и льва не надо — распорются и разорвутся вмиг...

Так чего же Ялта задается? Какая тому причина?

А вот какая:

— Дада! Дай деньги! Много дай деньги! Кулай пошла! Катер пошла! Кулай Ялта пошла...

Вот в чем дело!

«Кулай» в Ялте можно... И можно «кулай» сколько душеньке угодно...

Такая уж у Ялты традиция...

«Кулай»!

Вот этим «кулай» и жила Ялта прежде, ныне, и присно, и во веки веков...

Особенно «прежде».

Слеталась туда вся «утомленная», «переутомленная», «истощенная», «недоедающая», «недопивающая»

царская аристократически-бюрократически-помещичье-купеческая Россия и гуляла, отдыхала в гостиницах, в ресторациях, на яхтах, в авто, в фаэтонах от «трудов праведных», дробя зеркала, лапая наяд пудрокрашеных и устраивая «акварии» из рояля и коробки сардин при посредстве своей трипперно-диабетической мочи...

А музыка хрипела «Коль славен» и «На сопках Маньчжурии».

А покоренное крымское население таращило глаза на великодержавных культуртрегеров, подхватывало пьяных под жирную, кисло-вонючую «мышку» и развозило «блюющих и рыгающих» по «меблированным комнатам с видом на море»...

...А на набережной и на молу пахло дамским потом, пудрой, духами «Коти», шелестели шелка, прикрывая угреватые сине-зеленые с расширенными венами бедра, и летели брызги слюны на сморщенные, обложенные ватой дрябло-желтые «бюсты», облапанные и «отечественными саврасами» и покоренными смугло-горячими с блеском в карих глазах проводниками...

Называлось это:

«Ах, как мы в Крыму отдохнули!»

Ну, теперь Ялта, конечно, не та!

И взгляд на вас, на приезжих, не тот!

— Куда ты, мол, годишься?! Вот раньше! Что с тебя теперь возьмешь?!

А в глазах у каждого туземца так и сквозит, так и скачет алчность...

И глаза эти так и сверлят твой карман:

«Да стоит ли с тобой разговаривать? Сколько там у тебя есть?!»

А вы полагаете, что теперь в Ялте нет казино? Рулетки? Нет шмендефера?

Есть! Все это есть!

Сидит крупье, рулетка вертится, прыгает «шарик», счастливых отыскивая:

— Прошу делать игру!

— Игра сделана!

— Двадцать три! Красная нечет! Вторая половина!

И мелькают длинные лопаточки, скользят по расчер-

ченному столу, передвигают фишки к дрожащим рукам «счастливчиков» и «несчастливчиков»...

А на «открытой сцене» выламывается дева с кастаньетами...

Все это есть!

Да только...

— Ах! Эти налоги! Они в гроб вгонят!..

. . . . . .

Не вгоняют, очевидно!

Плавают еще по набережной имени Ленина такие «экземпляры», что диву даешься, как их только выдерживает «Советская платформа»... Как у этой «платформы» буксы не горят, как оси не лопаются.

1924

Туристы

— А вы чем занимаетесь? Ваша профессия?

— Собственно, доктор, ничем. Пишу. Сижу и пишу.

— Сидите и пишете? Так! Видите ли, если вы ничего не делаете, а только беспрерывно сидите и пишете, от этого не то чтоб ваши легкие сильно портились, но просто часть их совсем не дышит. Экскурсия, как говорим мы, доктора, ваших легких не полна. Сидите согнувшись, всегда в одном положении. Ну и, сами понимаете, часть легких дышит как следует, на все сто, а часть сжата... А время идет... Целый год так просидите — вот эта часть и отвыкает от работы, сморщивается, всякие там застойные явления... Как плуг, если им не пахать, ржавеет... Расправить, значит, надо... Это у нас здесь можно... Горы... Лучше всего для таких легких — на гору да с горы... Тогда грудная клетка расширяется, легкие до отказа наполняются воздухом, расправляются до самого дальнего уголочка, кровь начинает правильно окисляться... Человек становится бодрым, веселым, розовым, молодым... Айда в горы! Молодцом станете!

— Спасибо, доктор!

...Айда в горы!

— Куда это вы такой веселый?

— В горы: легкие не так дышат. Экскурсия не полна! Застойные явления... Кровь не окисляется. Молодеть надо! Бодреть... Веселеть... Хорошеть... Какого черта сидим! Гулять, расправляться, сил набираться!.. Вот как!

— Да ведь высоко...

— Высоко? Нам, туристам, высоко? Нам, туристам,

ничто не высоко. Нам, туристам, все низко. Высоко?! Адью-с!

А гора... гора. Как гора! «Кошкой» называется!

Бодро по скалам, крутыми тропками, с песнею вольной:

Здесь стоит гора,
Там стоит гора...
А меж гор крутых —
Алая заря...

И голос перекатывается, перекатывается эхом... Гремит...

Так... саженей пять гремит...

Вверх! Вверх!

— Фу-у-у! Хи-и... Здесь... стоит... гора...

А высоко, будь оно неладно!

— И там стоит гора-а! Фу-у-у!

Сел!

Гляди! Нам, туристам, еще и далеко!

...А ну, бодрее! Легкие будут дышать вовсю, кровь окисляться!

Айда выше!

. . . . . .

Ой, высоко там еще?

Сел!

...Фу-у-у!

. . . . . .

А ну вставай, турист!

О-о-о-х!

Вв-е-е-е-рх! Ну и далеко же еще вве-е-е-рх!

Сел!

. . . . . .

А ну-ка, вставай!

Сел!

. . . . . .

А ну...

Сел...

. . . . . .

Сел...

. . . . . .

Сел...

. . . . . .

Сел...

. . . . . .

Сижу...

. . . . . .

Эй, люди добрые! Может, хоть одна христианская душа внизу найдется? Ловите меня, подхватывайте нас, туристов, а то проклятые ноги почему-то не хотят на горе держаться... Ох!

...Дррр!

...Пошли, господи, на пути пусть не кедр ливанский, так хоть нашу родную бузину, чтоб можно было за что-нибудь уцепиться, а то, ей-богу, и черепков не соберут...

...За сосну ухватился!

Ох!

. . . . . .

И лежал на ложе, как Иисус Христос, потому что ноги, как гвоздями пробитые!

Легкие расправишь — ноги сведет... Ноги расправишь — легкие сведет...

. . . . . .

Одним словом — туристы!

1924

Под парусом

Когда синее море отары белых баранов к скалистому берегу гонит, швыряет о берег скалистый, разбивает в белую, влажную пыль...

Когда синее море гневно, когда оно шумит и злится...

— Поехали?

— Отчего ж? Я, ей-богу, не боюсь! Только я никогда не ходил по морю под парусом... Не укачало бы!

— А бывает, что и переворачиваются?

— Что, уже труса празднуешь?

— Я?! Чепуха! Едем... Ездят же рыбаки — и веселы и здоровы! Чего там бояться? Едем! Пошли! А... сильно качает?..

— А я так совсем не боюсь! Хоть и не ходила, а не боюсь! Только вот волнуется оно здорово?! А нельзя, чтоб под парусами и чтоб море было спокойное? Это бы, по-моему, лучше было!

— Да и по-моему лучше... А чтоб бояться, так нет!.. Только ветер не чересчур сильный?

. . . . . .

— Садитесь, товарищи! Сейчас как рванем!

— Товарищ Антон, не слишком качает?

— Ничего! Давай назад!

Отчалили...

Везут нас старые рыбаки — дядя Гриша, серогубый, седоусый, меднолицый дядя, который уже больше двадцати пяти лет на Черном море рыбачит, и Антон, его помощник, крепкий, подвижной, с татуировкой на груди, белесый, терпкий и соленый весь, как морская вода.

С ними двое «зеленых» — молодые ребята, они еще только приучаются к тяготам рыбачьего труда на море. Один — красивый, смуглый, стройный, с живыми карими глазами, а другой — неуклюжий, с сонными рачьими буркалами, вздернутым к голубому небу носом, и мысли у него скрипучие, как немазаная татарская мажара[1].

— Эх, и зеленый же! Поворачивайся, зануда!

Следует тяжкий вздох. Хриплый и соленый и такой многоэтажный, как зубчатый Ай-Петри... Во вздохе этом «печенки», «селезенки», «артерии», «вены», «предсердия», «желудочки» сплелись с морской «матерью» в самой «поднебесной канцелярии».

И вздох этот сопровождается жалостным и вместе с тем презрительным взглядом в сторону нашей спутницы.

— «Дама! Низзя!»

А его так и распирает, выдержанного в морском рассоле Антона, и волчком вертит на лавке.

Зачем тут дама?!

Не было бы дамы — выскочили бы все эти «печенки» и «селезенки» в сопровождении «матери» из души Антоновой, оттолкнулись бы и поскакали, подхваченные ветром, по морским барашкам, по всему Понтийскому морю...

И легче стало бы на душе у Антона, и не вертело бы его волчком на лавке. А так остались в распоряжении Антона лишь «зараза» с «занудой» да убийственное:

— И-и-и!! Зеленый! И кто тебя сделал такого?

В руках у Антона руль и парус...

«Дя» Гриша сидит посреди лодки, сосет цигарку и всматривается в синюю даль, прищурив большие серые глаза...

Сколько раз дя Гриша видел это море?! Сколько раз оно готово было поглотить его вместе с его яликом «Константином»? Сколько раз, может быть, дя Гриша уже «отходную» себе читал, железной рукой сжимая руль?!

---

[1] Повозка.— *О. В.*

Об этом знает только дя Гриша...

. . . . . .

— Какая же это зануда парус развязывала?! Эх!.. (И длинный «вздох».)

Это Антон.

Плохо развязали парус... Один конец его затянут узлом... И неладно идет лодка: не всем парусом ветер забирает.

Дя Гриша цедит:

— Моряки! Майнарить надо!

«Майнарить» — означает убрать парус. В данном случае убрать, чтоб натянуть как следует. А майнарить в море, при изрядном ветре — это штука не легкая, да и не безопасная... Но приходится: кто ж выйдет в открытое море с неисправным парусом... Да уж не дя Гриша, конечно. Он не «портач» и не «зеленый» — ему это не к лицу...

— Майнарь, хлопцы!

Дррр!

И парус уже в лодке.

Движения ловкие, быстрые, уверенные!

Раз! Раз! Раз!

— Поправь конец! И-и-и! (Вздох: «Дама!»)

Рррраз!

И снова трепещет над головой полотно, надутое сердитым ветром!

— Прямо! В море! «Откроем» Аю-Даг — и назад.

. . . . . .

...Мчится «Константин», с волны на волну перескакивая...

И таким маленьким кажется этот «Константин» по сравнению с синим морем безбрежным... И все мы такие малютки, малютки. Даже дя Гриша, серогубый, седоусый, меднолицый дя,— и тот малюсенький...

...Плещут белые барашки о лодку...

Хлюп! Хлюп!

И все.

...Айда! Айда!

И трепещет белое полотно в жаркой дрожи и рвется, бессильное, из железных рук Антона...

...Айда! Айда!

— Открыли Алупку! Четыре версты от берега!

— Держи на буек[1]! Во-о-он белым флажком в волнах трепещет! Там «татарские» крючки на камбалу!

— Ай!

Нас окатило соленым дождем. Это Антон нарочно «окрестил» нас, «зеленых», разрезав носом волну.

— Не взяли ковша воду выливать, разини! Случается ведь, что зачерпнешь воды!

Дя Гриша подмигивает Антону: зачерпни, мол! Пускай отведают!

Но Антон не хочет: не стоит поначалу пугать:

— Как-нибудь другим разом!

. . . . . .

А берег как на ладони!

Весь тут! Вот он!

— Смотрите! Вон за Алупкой гора голубеет! Это Аю-Даг! Медведь-гора у Гурзуфа! Отсюда верст тридцать пять — сорок. Это его «хвост»! Сейчас всю откроем.

— Ничего, не мутит?

— Нет.

— Иных мутит.

Через несколько минут «открыли» мы Аю-Даг, горувеликан, что медведем разлеглась за Гурзуфом, уткнув морду в самое море.

— Поворачивай! Восемь верст от берега! Майнарить будем?

— Нет! Зачем майнарить? И так повернем!

Это довольно рискованно—переводить парус при ветре, в открытом море, не спуская его...

— Ну, хлопцы! Рррраз!

Раз-раз-раз!

И уже с другой стороны бьется в руках у Антона полотнище!

---

[1] Знак, где поставлены сети или другая рыбацкая снасть.— *О. В.*

Мчимся к берегу!
...Ай да! Ай да!

. . . . . .

— Майнарь, хлопцы!
...Несколько взмахов весла — и мы у берега!
— И совсем не страшно!
Антон:
— Приходите еще, можно страшней исделать!

1924

Бережком!.. Бережком!..

— До Ялты?! Да верст, должно, двенадцать! Вот так вдоль пляжа до вон той будки, а потом направо в гору тропка лезет виноградниками... Так по этой тропке выйдете на шоссе и по шоссе, по шоссе... до самой до Ялты... Тут недалеко... По пути Никитский сад... А от сада уже и Ялту видать... Часика за два там будете. Еще до вечера...

Ну, пошли!

Бросили прощальный взгляд на парк в Гурзуфе, где отдыхал Пушкин, на дом, где он жил у генерала Раевского, на Аю-Даг.

Пошли, пошли! Вдоль пляжа, а потом тропинкой через виноградник! Пошли!

И двинули...

Если прямо вперед смотреть — дорога. Это еще ничего...

А вот если вверх голову задрать,— солнце, крымское солнце! Это уже «чего»... Ох, знали бы вы, как оно печет! И особенно тогда печет, когда вам надо идти пешком двенадцать верст (крымских верст), а вы уже взбирались на скалы, искали пушкинский платан, ходили в его дом и перемерили все улочки Гурзуфа в поисках хоть какой-нибудь захудалой субтропической клячонки, чтоб отвезла вас в Ялту.

Ох, как оно печет! Голова пухнет! Язык вываливается...

А ноги?! Словно они на заржавленных «шалнерах»... Гудят, скрипят и не хотят... Идти не хотят...

Пошли! Пошли! Оно, знаете, пешком еще и лучше. Все увидишь! Едешь-то быстро — так многого и не разглядишь, а пешком — там остановился, тут присел — и все как на ладони... Да и не так уж это и далеко! Каких-то там двенадцать верст! Ну, два часа... Подумаешь?! Пошли!

Да идем же! Идем...

Идем... Идем... Идем...

И все тебе видно... Тут остановился, там присел...

Двенадцать верст?! Пустяк?!

— Здрасьте!

— Здрасьте!

— Сколько верст до Ялты?

— Да верст так пятнадцать, а может, и больше!

— А до Гурзуфа?

— Да верст пять.

Вот тебе и на! Хорошая арифметика... От двенадцати верст отнимешь пять, выходит пятнадцать! Ну-ну!

Пошли дальше.

А идешь ведь не по нашей дороге, среди ржи там или гречки. Здесь и туда виноградник и сюда виноградник. Экзотика кругом. И впереди экзотика, и позади экзотика. И сверху экзотика... Одно только мешает: степные ноги. Если б вам еще штуки этак четыре горных — ну, скажем, козьих — ног и если б за вами сзади бежали штуки три борзых и меткий стрелок,— вы бы эти «двенадцать верст» за полчаса взяли...

А так как-то уж очень медленно выходит... И медленно и мокро. Вгоняет вас сперва в пот, потом в мыло... Потом вы обсыхаете. Потом снова взмокаете. И шея у вас вытягивается, и глаза неотрывно смотрят под ноги (чтоб ничего не пропустить), и дышите вы, как Рябко, который в спасов день бежит за дядькой верст сорок до уездного города специально для того, чтоб возле потребиловки гавкнуть на «кооперативного» Лыска...

— Девчата! Только по совести: сколько до Ялты?

— Да верст двенадцать!

— А до Гурзуфа?

— До Гурзуфа — десять.

— Слушайте, товарищи, мы не туда идем! Да провались оно на месте: если так дальше пойдет, то часа через четыре до Ялты будет уже сорок!..

...Ох, уж эти мне крымские версты! Наша верста и верста крымская! Небо и земля... Ну, что стоит, скажем, добежать из Буд в Вязево на посиделки? Ерунда! Полторы версты. Бежишь и поешь:

Ой, на поле три дорожки розно,—
Ходил казак до дивчины поздно!

Пробежал эти полторы версты, и еще бежать хочется.

У нас версты везде одинаковые: и на Полтавщине, и на Киевщине, и на Харьковщине...

А здесь нет. Здесь если в гору, так верста примерно как от Харькова до Люботина...

А если с горы, так наоборот: она, верста эта, совсем короткая. Вот такусенькая. Зато очень быстрая. А результат один: версту на гору — весь в мыле, и язык на плече; версту с горы — весь в крови, и язык опять-таки на плече...

Хоть крути-верти, хоть верти-крути...

Называется вся эта музыка так:

«Путешествие по Южному берегу Крыма с целью насладиться прекрасной природой, величественными пейзажами и чарующими горизонтами...»

Можете назвать это экскурсией. Ни вам, ни мне от этого легче не станет.

Вот и Никитский сад. Знаменитый ботанический сад, прославленный чуть ли не на всю Европу...

Тут такое растет, такое цветет, такое родит, что если б у вас не разламывались от усталости ноги и если б вы в состоянии были разевать рот,— вы бы его разинули...

И «ива вавилонская», та самая, под которой «седохом» когда-то и «плакахом»...

Кактусы разные... Алоэ в грунте растет... Японский клен... Знаменитый самшит... Бамбук японский...

Целый лес пробкового дуба... Просто отдери себе кусочек коры и затыкай, что тебе там заткнуть надо...

Тут и тростник испанский и папирус, из которого египтяне в древности бумагу делали.

Есть тут и лавровишневое дерево, и шелковая акация, и кедры гималайские, и кедры африканские, и кедры ливанские... Мирты, оливковое дерево, японская хурма...

Посреди парка красуется тысячелетнее терпентиновое (скипидарное) дерево...

Растет здесь и знаменитая пампасская трава... Вот это травка! Одна травинка больше, чем у хорошего хозяина чересседельник...

Траву эту бизоны едят... Бизон — вроде нашего теленка, только в сто раз больше...

Растет эта трава огромными кустами... Можно сесть за куст и зареветь бизоном... Получится полная иллюзия южноамериканских пампасов...

Хороший садик. И порядок в нем есть. За растениями ухаживают, поливают, окапывают. Садик этак в 90 десятин.

Из Никитского сада вы, не спрашивая уже, сколько верст, шагаете в Ялту...

Идете — и все тут... Плюнули на ноги, плюнули на поясницу, на все плюнули... Путешествовать так путешествовать!

И нечего скулить!

И вот... Слава те господи, автотранспорт! Машина возвращается в Ялту...

Сели... Поехали...

Вы никогда не ездили на машине по крымскому шоссе?

Рекомендую попробовать.

Только обязательно садитесь в машину, в которой зававтотранспортной конторой с шофером и помощником ездили из Ялты пить безакцизное вино...

Очень сильное ощущение!!

Шоссе вьется над пропастью, петляет и кружит — голова бы у него так кружилась!..

Мотор барахлит...

Шофер:

— Да я, елки-палки, еще за десять лет до войны здесь на машинах летал! Доставлю, как на крыльях...

И вот он вас доставляет...

Мотор: рам-там-там!

Стоп!

— Эх! (Поминает родительницу!)

Починили. Мчитесь...

Обгоняете компанию, которая тоже ездила пить безакцизное вино... «Положение компании неустойчивое»... Даже на линейке.

— Садись, Петя, на машине подвезу...

— Погоняй! Погоняй!

Мчитесь дальше...

Мотор: рам-там-там!..

Стоп!

— Эх! (Поминает родительницу!)

Компания вас обгоняет.

— Садись, Миша, на лошадке подвезу!

Починили. Мчитесь...

Шофер с завконторой «шалят»... Зав хочет вести, шофер не дает. Машина ходуном ходит... А рядом пропасть...

Вы вцепились в машину и потихоньку бормочете:

— Прощай, сынок! Отец твой разбил голову о камни, путешествуя по Южному берегу Крыма... Тело твоего отца едят морские крабы под экзотической Массандрой, на берегу прекрасного южного Черного моря. Вырастешь, сын, не садись в машину, а ходи, сын, пешком... Недаром твоя, сынок, покойная бабка говорила: «Пешком пойдешь — быстрей дойдешь...»

А машина прямо-таки ревет.

Шофер отпихивает зава и кричит:

— Чтоб я кому-нибудь покорился?!

А машина подпрыгивает. А машина ревет...

И прыгают у вас печенки, прыгают губы, зубы и другие части вашего тела.

— О аллах! О Магомет!.. О целитель Пантелеймон! И зачем вас в революцию моль поела!.. Вы, только вы и можете спасти...

. . . . . .

...Стоп! Ялта! Ф-фу!

— Ну, как?!

— Спасибо! Очень хорошо везли!

— Я старый шофер... Еще до революции летал...

— Это и видно...

. . . . . .

И лежите вы в южной гостинице, на южной кровати и по-южному стонете.

...Бережком. Бережком.

1924

«Дева» и «Монах»

(Легенда)

Аквамариновым очам.
Автор.

О прекрасной Деве, наяде морской, о монахе-аскете, суровом горном отшельнике, легенду послушайте...

Древняя легенда, старая, как белый свет, легенда, горами поднебесными рожденная, солнцем южным согретая, кристально чистой водой морской омытая...

Как жила Дева прекрасная, очи голубые, на дне морском, в море Понтийском... Дева прекрасная, волосы шелковые, голос флейтою, шея лебедем... В море купалась, и кувыркалась, и так далее... Смех — колокольцем, всплеск — что весёльце... То вдруг ныряла, то выплывала... Чайками любовалась, на солнце красовалась... Словом, жила...

Хорошо жила, весело жила, вроде как «нетрудовой элемент»...

А в горах каменных, в суровых горах, под вершиной снежной, в пещере глубокой, в пещере темной чернец жил... Черный чернец, аскетичный чернец, худой чернец, отшельник-чернец... Чернец духа крепкого, благочестия нерушимого, воли стальной...

Одним словом, жил чернец, что дал зарок навек остаться на все сто процентов... «девою»... Насчет, значит, того-этого — и не заикайтесь...

«Помилуй мя, боже, помилуй мя...»

А в море синем, в море Понтийском Дева купалась и кувыркалась... Волосы шелковы, голос — флейтою,

шея — лебедем и так далее... Смех — колокольцем, всплеск — что весёльце...

Дева в море. Чернец в горах.

Дева — жизнь. Чернец — смерть.

И вышел однажды чернец суровый к морю... Вышел чернец оком святым на море взглянуть, господа бога и творца восславить...

А в море синем, в море Понтийском Дева купалась и кувыркалась...

...Ну, вы же понимаете! Не выдержал чернец суровый. Чернец духа крепкого, духа, как скала, неколебимого, благочестия нерушимого, воли стальной.

И заржал першероном чернец суровый, и припустил чернец суровый, задравши мантию, прямо к Деве...

А Дева в море, а чернец за нею...

А бог с неба:

— Ата-та-та! — говорит.— Ты куда ж это подался, старче божий?!

И наступил чернец с перепугу Деве на волосы шелковы и... окаменел.

И вскинулась Дева прекрасная станом гибким, и выпрямилась, дивную голову закинув, и... окаменела...

И стоят теперь возле Симеиза крымского две скалы в море — «Дева» и «Монах».

И омывают их волны изумрудные, ласкает их ветер, окутывают туманы.

А по шелковым Девиным волосам подымаются на прекрасную «Деву» люди грешные и любуются морем, горами, пейзажами.

И на белом Девы челе пишут:

«Мура и Шура издесь были и целовались»...

Или:

«Коля Рябошапка из Харькова».

И не слышит того Дева, белой грудью к широкому морю обернувшись...

А «Монах» позади «Девы» стоит, стыдливо голову опустивши, святые руки на грешном чреве скрестивши...

А море плещет, море шепчет, море рокочет, море грохочет...

Мораль?

Девы! Не искушайте монахов... Не искушайте, а то

непременно погонится... И наступит, растяпа, на ваши волосы... Хорошо, если они накладные (чужие) — можно вырваться... А не то будете стоять, белую грудь в море купая.

И на челе у вас оставят надпись:

«Издесь свистел Ванька из Панасовки».

Чернецы! Не кидайтесь на Дев прекрасных... Умерщвляйте плоть! А то камнем стыдливо за Девами стоять придется... Бог все видит!..

В писании о вас ясно сказано:

«Аще ты мних — мнишествуй...»

Не скачи, значит, першероном за девчатами.

1924

Крымская ночь

(Лирика с экзотикой)

Только уйдет солнце за «Кошку»[1], спрячется, подмигнув, за ее мохнатой спиной — в Крыму вечер наступает... Голубой вечер.

Знаете, какой вечер?

А вот какой: было ясно, было светло, а потом перестало быть ясно и светло. Это и есть вечер... Он голубой... Он с яйлы голубой чадрой Южный Крымский берег — бац! — и накрыл... И голубая чадра эта — в море, в море, в море, туда, где море с небом слились, обняло небо море, а море небо... Вон куда голубой вечер...

А за вечером ночь тихо подкрадывается... Подкрадется, столкнет голубой вечер в море изумрудное, а сама — на сосны, на кедры, на магнолии, на лавры... И сидит... Сидит ночь... Крымская ночь...

Из-за моря луна выглянула... Поднялась, рассыпала щедрой рукой по синему морю червонцы, а червонцы те из-за моря покатились-покатились к берегу Южному Крымскому, ударились о скалы и откатились туда, где море с небом обнимаются... И лежат и поблескивают золотыми блестками, без звона, без шума на легких волнах перекатываясь...

Крымская ночь...

Сидит ночь, крымская ночь, легенды рассказывает... А кипарисы слушают... И поят ночь ароматами, и ласка-

[1] Это гора так называется — «Кошка». — *О. В.*

ют ночь ветвями своими, и шелестят тихо-тихо хвоей со старыми легендами в лад...

И старый лавр задумался, плотно ствол пахучий листвой окутав... Ему ночь его крымское детство напомнила...

...В далекие-предалекие времена темной ночью выходили на берег страшные женщины-чудища и душили детей...

И решил крымский царь убедиться в том собственными глазами. И отплыл царь на маленькой лодке далеко от берега и стал ждать... В полночь лодку его окружили чудища морские. Испугался царь. Но чудища превратились в прекрасных наяд и сказали царю, что отведут его к своей царице, давно уже желавшей видеть земного владыку...

И опустилась вдруг лодка на дно морское, и оказался царь в подводном царстве... В прекрасной лавровой роще он увидел два трона из чистого жемчуга. На один посадили его, на другой села царица подводного царства...

— Мудрый владыка крымский,— сказала царица,— отгадай загадку, которая давно меня мучает, но никто, кроме тебя, не может ее разгадать.

— Говори, царица!

— Скажи ты мне, мудрый владыка, вернется ли в Крым Врангель?

Усмехнулся царь и ответил:

— Дуля с маком!

И спустилась царица с трона, сорвала лавровую ветвь, протянула мудрому и сказала:

— Посади эту ветку у себя на земле, мудрейший из царей. Пока будут расти и зеленеть в твоем царстве лавры, никто из моих подданных не осмелится ступить в твой благословенный край...

И только кончила царица свою речь — очутился царь с лавровой ветвью на берегу...

С тех пор в Крыму растут лавры и ни одно морское чудовище не выходит из глубин...

И никто не душит крымских детей...

И растут крымские дети комсомольцами...

Слушает старый лавр о себе легенду...

...Крымская ночь...

Ах, ночь! Ах, крымская ночь! И кто тебя выдумал?! И зачем ты такая синяя? И зачем ты такая прозрачная?! И отчего так пьянишь ароматами?!

Ах, ночь! Ах, крымская ночь!

Ты погляди только, крымская ночь, что ты с людьми творишь?!

. . . . . .

— Барышни, вам, кажется, скучно?

— Уйдите! Вы нахалы!

...Но пять минут, всего лишь пять минут крымской ночи — и голова «уйдите» уже на плече у «нахалов»...

И голос нежен... И дрожат поджилки... И бьется сердце... И кипит кровь...

Ах, ночь! Ах, крымская ночь!

. . . . . .

Какие у тебя, крымская ночь, звуки! Какие запахи! Какие шорохи! Какие шумы! А песни у тебя какие, чарующая крымская ночь! Южные песни!

Эх, красное яблочко,
Розовый цвет!
Он ее любит,
Она его — нет!

Она его не любит! Но это ничего! Она его полюбит, ведь из-под другого куста или с другой скалы уже несется, прорезая ночную тишину:

Ах, зачем эта ночь
Так была хороша...

Какие песни?! Какие южные песни?! Кипарисовые песни!

И шелестят кусты! И шепчут кусты! И прислоняются в кустах головки с бантами к головам без бантов:

— Что будет?! Что может быть?!

А на горе, на Чатыр-Даге, демон машет мохнатым крылом...

А в кустах упоенно:

Сладки песни эти!..

А демон хохочет:

Сладки песни эти?!
Может, ничего не будет...
А может... Может, будут дети...

Ах, ночь! Ах, крымская ночь!

. . . . . .

И затихает крымская ночь. Темнеет и затихает...
И легко дышит крымская ночь...
Крымским воздухом дышит ночь...
И море тихо плещет...
Молчат лавры... Молчат кипарисы.
Ночь спит...
А за окном черные тени... За окном тишина...
Тишина... Тишина...
Ах, ночь! Ах, крымская ночь!

1924

Крымское солнце

После ночи, после крымской (Ах, ночь! Ах, крымская ночь!) — солнце!

Солнце, солнце крымское, из-за Ай-Петри зубчатого...

Когда черно-синяя ночь молоком голубым подернется, когда чадру свою ночь сбросит, синюю чадру, темную, как вороново крыло, а море, чадру эту подхватив, в кристально чистых волнах своих отмоет, отполощет, и станет она что молозиво у первородящей, и море на себя ее накинет, вот тогда — солнце!

Оно к Ай-Петри подкрадывается тихо-тихо, а там, подпрыгнув, вдруг хлоп его золотой метлой по зубастой, неуклюжей голове!— и сразу вверх, вверх, вверх по голубому небосводу... Удирает...

Как тряхнет тут Ай-Петри седой косматой головищей, как замотает бородищей — а борода-то клочьями, а волосья-то лохмами, да ветерок только — ф-фу! — и облысел старый Ай-Петри... Ни клочка не осталось на нем руна бело-туманного!

А солнце хохочет! А солнце хохочет!.. Вверху!

И хохочут тогда волны на море, и кипарисы смеются, и лавры со смеха помирают, и веселые улыбки — на абрикосах, на винограде, на веллингтониях...

Хохочет Крым! Над Ай-Петри потешается.

Но Ай-Петри гордый, ведь он всех выше, всех старше... Он молчит.

Пускай, думает, мелюзга порезвится...

И поют тогда птицы, и гудит радостно мошкара, и ржут кони, и быстрее мотают хвостами коровы, и, захле-

бываясь, ревет, пуская «петуха» на не столь уж высокой, но очень громкой и препаскудной ноте, крымский осел...

И тогда море — серебристо-голубая степь, с белыми и синими на нем степными дорогами, а над дорогами — чайки, а по дорогам тем «морские ласточки» резвятся-кувыркаются, разрезая их острыми хвостами своими...

Тогда поет Крым...

. . . . . .

А солнце выше... А солнце еще выше...

Оно играет... Оно горит жемчужно-золотым сиянием и брызги горячего золота щедрой рукой бросает и вперед, и назад, и направо, и налево...

И согревается море, и теплеют горы, и в горячей истоме шелестит хвоей черный кипарис.

А солнце выше!.. А солнце все выше!

И все живое тянется за ним... Простирает к нему сочную лозу виноград, и поднимается кедр, и пышная веллингтония вершиной своей устремляется к нему, догнать его хочет...

Горячо дышит море и дыхание свое шлет навстречу его золотым лучам...

А оно выше! А оно еще выше!

С высоты недосягаемой льет солнце на все живое силу свою горячую, и нежит все, и наливает соками, и бродят соки, бурлят и бунтуют...

И в соках тех, как во чреве материнском, взращивает природа плоды свои...

Горячи эти соки...

И от тепла родит природа быстрее. На глазах наливаются черешни, и желтеют персики, и зреют сливы...

Ибо жарко бродят соки! Ибо горячи они...

И лишь кизил остается твердым и мертвым.

Кизил — «шайтанова ягода».

. . . . . .

Когда аллах сотворил мир и кончил свою работу, наступила на земле весна, и почки на деревьях в земном раю стали одна за другой распускаться.

И потянулось к побегам тем все живое, и увидел аллах, что нужно навести порядок. Созвал всех к себе и повелел каждому выбрать какое-нибудь дерево или цветок, чтоб потом только от него и кормиться.

Один просит то, другой — это. Просит и шайтан.

— Выбрал, шайтан? — спрашивает аллах.

— Выбрал,— прищурив хитрый глаз, сказал нечистый.

— Что же ты выбрал?

— Кизил.

— Кизил? Почему кизил?

— Так,— не захотел признаться шайтан.

— Ладно, бери себе кизил,— усмехнулся аллах.

И запрыгал весело шайтан. Всех обдурил. Кизил первым зацвел, значит, и дозреет раньше всех. А первая ягода — дорогая ягода: повезет кизил свой на базар, хорошо продаст, дороже всех, потому что он первый.

Наступило лето. Стали поспевать плоды: черешня, вишня, абрикосы, персики, яблоки, груши,— а кизил все зеленый. Твердый и зеленый. Скребет затылок шайтан, злится.

— Да поспевай ты скорей!

Не зреет кизил.

Стал шайтан на ягоду дуть: точно пламя, заалел кизил, но по-прежнему твердый и кислый.

— Ну, как же твой кизил? — посмеиваются люди.

Плюнул в сердцах шайтан — почернел кизил.

— Ну и дрянь! Не повезу на базар! Собирайте сами!

Так и сделали. Когда сняли в садах все плоды, пошли люди в лес собирать вкусную, сладкую, черную ягоду и потихоньку смеялись над шайтаном.

Прогадал, мол, шайтан!

Шайтан разъярился и решил отомстить. Устроил так, что на следующую осень уродилось кизила вдвое больше, и, для того, чтобы он дозрел, пришлось солнцу послать на землю вдвое больше тепла.

Обрадовались люди такому урожаю: не разгадали, что тут шайтанов подвох.

А солнце обессилело за лето, и наступила такая зима, что вымерзли у людей сады и сами они едва живы остались.

С тех пор примета: если урожай на кизил—будет холодная зима, потому что до сих пор не успокоился шайтан, не перестал мстить людям за насмешки над ним [1]...

---

[1] Н. Маркс. Легенды Крыма.— *О. В.*

. . . . . :

Берет все живое у солнца огонь его золотой, животворный...

А оно щедрое... Оно, как сказочный богатырь, швыряет этот огонь пригоршнями... И смеется...

И людей солнце крымское не чурается...

Осеняет золотыми своими ресницами их белые, малокровные, истощенные тела, впивается в них золотыми стрелами и оживляет, бодрит, расцвечивает...

И нежно так щекочет. Осторожных щекочет... Зато над неосторожными подшучивает. И даже иногда жестоко.

Высмотрит с голубой перины своей, кто зазевался. Подкрадется, ласкает потихоньку, нежит, убаюкивает... А меж тем со смехом золотым сдирает со лба, с носа, с шеи кожу. Лоскутьями сдирает. Сперва нежит, потом красной краской покроет, потом — пузырями, а тогда освежует.

Кается разиня, и стонет, и ахает, и охает, и почесывается, и вертится, и ойкает.

А оно смеется!

Крымское солнце золотое!

1924

Пляж

Если с горы к морю спуститься, из парка симеизского — на раздорожье столбик, а на столбике дощечка, а на дощечке надпись:

«ПЛЯЖ МУЖСКОЙ» «ПЛЯЖ ЖЕНСКИЙ»

Под «Пляжем мужским»—стрелка сюда, а под «Пляжем женским» — стрелка вон туда...

Это, значит, чтоб человек, чувствуя себя мужчиной ли, женщиной ли, не попал туда, куда ему попадать не след. Чтоб уложил тот человек свое тело на горячей гальке именно там, где надлежит сему телу лежать.

И спускаются «православные», без различия пола и национальности, тропкою с горы к морю синему, доходят до столбика с надписью и, если «православный» этот мужчина, останавливается он у столбика и смотрит на женскую сторону в нерешимости, сердечный, и думает, что ему бы как раз удобнее, и лучше, и для здоровья полезнее было бы лечь именно там, где грудой лежат тела с широкими тазами (мисками) и не таким, как у него, «благоустройством» на грудной клетке спереди.

А если спускается женщина, то бросает испуганный взгляд на мужскую сторону и... Нет, женщина, разумеется, никогда не подумает, что ей и лучше, и удобней, и для здоровья полезнее лечь именно там, где протянули

свои «жерди» представители сильного пола, все прекрасные, как Аполлоны Бельведерские, носы кверху, черепа сплюснуты, «исподники» от солнца на государственных головах.

Это и есть пляж.

Вверху солнце, внизу горячая галька, впереди море, а на гальке голые тела...

Здесь жарятся советские граждане.

Выжаривают совещания, конференции, съезды, «входящие», «исходящие», резолюции, постановления, спецставки, чистку, сокращения штатов, биржу труда, налоги...

. . . . . .

Вон черный с волосатой, как у библейского Исава, грудью, лысый, с ассиро-вавилонской бородкой дядя выставил раздутый до барабанных размеров желудочно-кишечный тракт и сопит, и кряхтит, и ерзает...

Из синдиката, наверно... Что он выжаривает? Может быть, рабоче-крестьянскую инспекцию, может быть, накладные на «казенную» квартиру и на десятисильного «бенца»... Он стоически лежит под горячими стрелами, переворачивая своего Homo sapiens'а с живота на спину и со спины на живот...

Он бы, верно, с радостью выжарил из себя всю Советскую власть, чтобы опять сидеть в своей банковской или промышленной конторе и работать для восстановления мирового «народного» хозяйства и для всемирной культуры...

Иногда он вскакивает и идет, осторожно ступая по гальке, к морю... Ступит бережно в воду, остановится, заткнет большими пальцами уши, указательными — ноздри и:

— Уф!

Окунается в море...

Окунувшись, вертит ассиро-вавилонской бородкой, как козел, и озирается вокруг...

А кругом ребята хохочут, даже море смеется. Они кувыркаются, как дельфины, ныряют, подплывут вдруг

к ассиро-вавилонской бородке и ляпнут по тресто-синдикатской «барыне».

— Ух, мерзавцы! Поймаю, голову оторву! Хулиганы! Тогда уж не поплаваешь, сукин ты сын!

А ребята катаются со смеху.

Станут вокруг, заткнут уши и ноздри пальцами...

— Заткни, Петька, еще одну дырку, а то рук не хватает! — И:

— Уф!

Окунаются в море. Дразнят «барина».

Волосатое чрево с сердцем плюет, ругается и вылезает на берег.

Петька стремглав кидается к нему с криком:

— Кот!

«Барин» в ужасе подпрыгивает и падает на гальку.

А ребята уже кувырком в море, с криками поплыли к скале, что торчит среди волн, белой пеной обрызгана.

— У-у! Ракальи!

И лежат вповалку «православные», прогреваются...

А солнце их кипятком, кипятком...

И стонут, и охают, и кряхтят «православные», с боку на бок перекатываясь.

А потом вскакивают, бегут к морю, бросаются в его волны сине-зеленые:

— Ух! Ух! Ух!

И кружатся, хлопают, плещутся... Хорошо!

. . . . . .

Проходит иной раз мимо мужской стороны прекрасный пол... И заслоняется платочком, и отворачивает личико и лишь одним глазом из-под платочка: зырк! зырк!

Анатомией человеческого тела интересуется.

А иногда кто-нибудь из Аполлонов на женскую забредет «задумавшись». Тогда веерами взлетают полотенца и экстренно прикрывается все, что составляет непреложную принадлежность прекрасной половины рода человеческого...

Чтоб не сглазил ненароком!

. . . . . .

А вот у камня старичок, усы торчком. Он бесстрастен и невозмутим. Пришел исключительно с лечебной целью. Рядом с ним бинокль. И когда никто не видит, он поскорее за бинокль и... на женскую сторону...

«Лечится» старичок.

. . . . . .

А на стороне на той, на женской, как раз вытаскивает из моря свои телеса какая-то Венера, пудов этак на девять с половиной.

Под ее «гибким» станом галька скрипит, а волны о нее разбиваются, как о скалу Деву...

У нее, очевидно, чахотка «восемнадцатой стадии»...

Вытащила и расплылась студнем на берегу. Тяжело дышит, две подушки на груди подкидывая...

Заслонила горизонт...

Так и хочется сказать словами Саши Черного:

Мадам! Вы задом
затмили солнце...
А солнце прекраснее вас!

1927

Поехали...

РАССКАЗЫ О НРАВАХ
ДОМОРОЩЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ

Повысить продуктивность труда

Умные люди говорят (и надо вам знать, что говорят небезосновательно), что мы повысим продуктивность нашего труда только с помощью научной организации этого труда...

С помощью НОТ!

Ибо, само собой разумеется, работать теперь для своего государства не то, что когда-то работать на хозяина...

Теперь (когда мы работаем на себя!) для того, чтобы человек пришел на работу в десять часов, и заведены и НОТ, и Лига времени, и в каждом учреждении на каждой стене начальник этого учреждения истерически умоляет:

— Товарищи! Да товарищи! Да побойтесь вы НОТа!

И товарищи приходят ровно в одиннадцать часов и работу начинают в двенадцать!

Раньше, когда работа начиналась в десять, служащий, запыхавшись, прибегал полдесятого и спрашивал на лестнице у швейцара:

— Не опоздал, Стратон Калистратович?

Почему это так, понятно...

Теперь у нас служащий — общественно сознательный человек, который своей энергичной работой изо всех сил старается положить и свой кирпич на строительство светлого будущего.

А раньше служащий смотрел на работу у хозяина так: лишь бы день до вечера!

И приходил с утра и сидел до вечера...

И до того он был безразличен к работе на хозяина, что никогда не вспоминал о нагрузке, о процентах, о сверхурочных...

Недаром сказано: несознательность!

Революция раскрепостила, освободила, просветила, ну и:

— Я сегодня на пять минут больше печатала! Я не лошадь! Я не могу! Давайте сверхурочные!

И доработались мы до того, что уже летит крик по всему Союзу:

— Повысить продуктивность труда!

Обижаться нам на этот крик, товарищи, не следует. Это значит: еще повысить!

То есть продуктивность труда у нас очень высокая, но ее надо еще повысить.

Зачем?

По-моему, каприз!

* * *

Раз требуют — надо повысить.

Как?

Увеличить конторский труд с шести часов до восьми?

Ерунда!

И шесть часов не знаем, куда девать, что же будем делать еще с двумя часами?

Это практически.

А теория, так она на основании научных исследований говорит, что правильно использованные шесть часов продуктивнее восьми...

Да это и понятно: человек за восемь часов утомляется так, что его энергия за последние часы очень падает. И продуктивности никакой...

И вы сами это замечали даже при шестичасовом рабочем дне...

После двух часов дня вы уже нервничаете... Вы бегаете, вас часто нет за столом...

Начальство спрашивает:

— Зоя Петровна, где вы, что вас не видно?

А вы нервно:

— Что, мне уже и «туда» нельзя пойти?

— Что-то очень часто!

— Ну, я не виновата, что я хоть и регистраторша, но у меня своя физиология! Если у Клавдии Ивановны брат — член правления, так ей можно по часу сидеть, а я так и полчаса не могу! Я, Николай Иванович, не утка!

...Нет, восемь часов — это много!

Да и за очередь будем драться!

Организуем свои шесть часов! Только правильно организуем!

Надо эти шесть часов так распределить, чтобы работа ручейком лилась.

Приходите вы ровно в десять!

Первые полчаса вы снимаете шляпку перед зеркалом, поправляете виски, пудрите нос, приглаживаете юбку, затыкаете блузку, подтягиваете немножко лифчик, чтобы кончик мережки не выглядывал из выреза, и идете «туда» готовиться к продуктивному труду!

Через час вы уже за столом...

Кладете руки на стол, глядите на ногти, вынимаете ножнички и подстригаете немножко их (ногти) со всех сторон. Потом натираете, чтобы блестели...

Развертываете затем книжки и идете к Наталочке в другую комнату поболтать, что вчера было в кино или где-нибудь!

Еще час!

Потом приходит начальство. Если оно женатое и строгое и требует работы, вы сидите за столом и кусаете губы...

Если оно неженатое, вы... Не знаю, я не девушка.

Знаю только, что часа два, а то и три пролетит, как счастье!

Побольше только инициативы и самодеятельности...

А еще лучше, если оно и женатое и не строгое...

Работа тогда будет продуктивная...

. . . . . .

Только таким, думаю, способом можно повысить продуктивность труда!

А ежели возьмутся за учет труда, за разный контроль и т. п. — придется бросать службу...

И, придя домой, сказать:

— Кто же у этих большевиков будет работать? Это звери!.. Вот раньше было!

1924

Качество продукции

Ехал я как-то по железной дороге. На одной из станций вынул я из чемоданчика стакан, выскочил, принес в вагон воды и поставил в купе на столик.

Пожилой мужчина, сидевший рядом со мной, попросил дать ему напиться.

— Берите, пожалуйста.

Мужчина выпил воду, поблагодарил и, показывая мне стакан, произнес:

— Посмотрите на этот стакан.

— А что такое? — спросил я.

— Посмотрите, как он сделан. Края-то какие-то неровные, корявые, боишься просто в рот взять, чтобы не поцарапаться.

— Да,— ответил я.— Или не умеют, или не хотят, а делают плохо. Можно было бы уже и лучшую посуду выпускать.

Разговорились мы.

— Я сам,— рассказал мой спутник,— рабочий стекольного завода. Давно уже работаю на производстве, и скажу я вам, что это просто производственная расхлябанность. Нет надзора на заводе, нет глаза. Работаем, лишь бы сбыть с рук. Директор или управляющий заботится, очевидно, о том, чтобы программу выполнить, а сознательности среди рабочих тоже не много... Вот и получаем такое, что противно в руки взять...

— А правда ведь,— перебил я его,— можно уже делать как следует?

— Да, конечно, можно. Я не знаю, какого завода этот стакан, а знаю, что у нас такой не выпустили бы. Никогда бы не выпустили. Наш директор этого бы не допустил.

— Наладили, значит, уже производство?

— Наладили. А знаете, как наладили?

— Как?

— Желудок помог.

— Какой желудок?

— А такой, обыкновенный желудок... Изготовляем мы, как вы знаете, всевозможные стеклянные изделия: бутылки, стаканы, ламповое стекло, аптечную посуду. Изготовляем мы, между прочим, и наконечники для клизм. Изготовляли мы раньше черт знает что, как вот этот стакан. Лишь бы изготовлять. Все равно сойдет, лучшего же нет. И вот однажды заболел желудком наш директор. Нужно было поставить клизму. Прибежала директорша на склад за наконечником. Дали ей... Она и засунула. Директор как подскочит, как вскрикнет:

— Что ты мне ежа суешь?

Перепугалась директорша страшно.

— Что ты, Ваня! (Его Иваном Федоровичем зовут.) Какого ежа? Это с вашего завода наконечник.

— С нашего?

Да как схватит тот наконечник да как швырнет его на землю!..

А на другой день созывает общее собрание. А потом производственные совещания.

Как взялся, как взялся, так теперь наш стекольный завод на первом месте. Посуда у нас, как хрусталь. И все довольны.

. . . . . .

«Что бог посылает, все к лучшему»,— подумал я.

1927

«Половая проблема»

Что это с нашим Харьковом стряслось, так прямо никакого ладу с ним нет!

Идешь по улице, а тебе со всех заборов, со всех афишных столбов в глаза так и прыгает:

«Половая проблема».

«Тайны любви».

«Свободная любовь».

«Гигиена половой жизни».

«Свет и тени половой проблемы».

«Гигиена брака».

И московские, и ленинградские, и местные, и профессора, и доктора медицины, и просто себе «известные» лекторы захватили Харьков «половой проблемой», что ни проехать тебе, ни пройти...

Прямо так, что хоть бросай все, садись и смотри на половую проблему, выискивай там в ней и «свет» и «тени»...

И это почти ежедневно...

То в драме, то в книгосборнике, то в «Миссури».

Неужели это такое злободневное и острое, что каждому гражданину обязательно нужно там побывать?

Ну, есть эта «половая проблема», есть в ней законы всякие, но помилуйте же мою душу: зачем же до бесчувствия?..

И хотя бы тебе один «известный» лектор приехал да о посевной кампании прочитал!..

Не интересно?

Так можно же совместить...

Можно взять такую, к примеру, тему:

«Половая проблема и посевная кампания».

И любопытно и полезно.

Впрочем, говорил мне когда-то Дмитро Федорович, селянин из Пасек,— дай ему боже здоровья,— «вот как попотянешь, говорит, косу с четырех часов утра до девяти часов вечера, так так спишь, будто твою половую проблему мыши отъели... Ни «света» на ней, ни «тени»...»

Вот я и думаю, а что если бы лекторов и слушателей припаять дня по два за сеялкой побегать, или снопы на арбу покидать, или в котельном цехе часов по восемь поклепать, знали бы они тогда, что за штука «Тайны любви» и «Гигиена половой жизни».

1924

Ловкость

А кому, скажите, не хочется есть свой кусочек хлеба с маслом?

Ой, всем хочется!

Но вы же знаете, что для того, чтобы есть даже небольшой кусочек хлеба с маслом, нужно тот хлеб и то масло иметь.

А для того, чтобы тот хлеб и то масло иметь, нужно и тот хлеб и то масло купить.

А для того, чтобы тот хлеб и то масло купить, нужно же иметь деньги.

А для того, чтобы иметь деньги, нужно же их заработать.

А для того, чтобы те деньги заработать...

Ах, странные вы люди! Да для того, чтобы те деньги зарабатывать, есть жилищный кризис в Харькове...

Вы не имеете денег?

Так идите же и говорите всем, что вы маклер. Что только вы, что никто иной, кроме вас, не найдет такую комнату. Никто на свете...

И все...

И тогда будут у вас деньги и будет у вас свой честно заработанный кусочек хлеба с маслом...

И будете вы жить улыбаясь и ежевечерне молиться своему богу:

— Боженька! Да продли ты на многия лета жилищный кризис!

Называться маклером нетрудно.

Немножечко тяжелее (и то только немножечко!) найти где-то (лучше, конечно, в центральном районе) во дворе какой-то полуразрушенный сарайчик...

И вы богач...

Вы ловите (правильнее, вас ловят!) человека, который ищет комнату...

Таких людей в Харькове вы сами знаете сколько...

— Вам нужно комнату?

— Голубчик! Нужно! Шесть месяцев нужно!

— Я могу предложить вам помещение (говорите лучше «помещение», а не «комнату»). Центральный район, во дворе, первый этаж... В здании есть электричество, вода и центральное отопление... Даже отступного не нужно. Будете платить за кубатуру...

— Голубчик! Покажите!

— Можно и показать, но с условием. Не понравится — три рубля за хлопоты...

— Голубчик! Ведите!

Вы ведете...

— Не понравилось? Три рубля...

— Вы же сказали: электричество, вода, центральное отопление?..

— Я сказал: в здании. Там есть... Зайдите, посмотрите... Ни на йоту не сбрехал... А что здесь нет... Я и не говорил, что в этом помещении есть... Здесь нет.

— Это же хлев...

— По-вашему, хлев, а по-моему, помещение... Давайте три рубля. Слово...

. . . . . .

Так человек пять в день приведете, и будет у вас и хлеб и масло...

. . . . . .

Поспешите, граждане!..

Порядочно людей так зарабатывают. И очень неплохо живут.

1926

Ты до́бычу дай!

(По-моему, роман)

Здесь автор попытается сразу и к тому же еще и довольно смело ошарашить читателя множеством таинственных слов, понятных только тем, кто считает честью биться за угольную пятилетку в легендарном Донбассе. Ошарашив, автор объяснит эти таинственные слова.

Копер... Шкив... Террикон... Клеть... Шахта... До́быча... Порода... На-гора̀... Зумпф... Квершлаг... Штрек... Горизонт... Гезенк... Бремсберг... Скважины... Уступ... Крепь... Крепильщик... Поле... Забойщик... Забой... Лесогон... Пласт... Обушок... Отбойный молоток... Врубовка... Вагончики... Рельсы... Компрессор... «Воздух», или, как никогда здесь не говорят, «Атмосфера»... Откатка... Откатчица... Откатчик... Коногон... Забурился. Это слово влечет за собой обязательно целую фразу такого или еще более крутого порядка: «Черти бы его побрали»... Конвейер... Конь... Карташов... Филимонов... Либхарт... Епифанцев... Тонна... Процент...

Собственно говоря, автор мог бы как-нибудь обойтись и без этих слов, но автор хитрый: он прекрасно знает, что без этих слов никто на свете ему не поверит, что он будет рассказывать о героической борьбе за уголь в легендарном Донбассе, о поражениях, о победах, об энтузиазме и вообще о днях, полных величественного накала...

Убедившись, что коллеги автора чем дальше, тем больше собираются помогать пролетариату Донбасса в выполнении угольной пятилетки, автор берет на себя смелость объяснить (популярно) все эти термины и оказать своим коллегам помощь с тем, чтоб они, не знакомясь лично с работой на шахтах, имели возможность создать прекрасные произведения об энтузиазме, о героической борьбе, о поражениях, о победах и вообще о днях, полных величественного накала...

Так вот.

«Копер»... Это слово популярнейшее в Донбассе, потому что оно самое высокое. Его видно из окна вагона в каждом поезде, идущем из Ленинграда, из Москвы, из Харькова, на Баку, Тбилиси, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Сочи, Геленджик, Сухуми, Батуми, Новый Афон и шоссе Владикавказ — Тбилиси... Копер высокий, красивый и рифмуется во множественном числе со словом «ветры»... «Копры — ветры». В единственном числе его рифмовать почти не приходится, ибо копров в Донбассе много и употреблять их во множественном числе — вещь вполне нормальная.

«Копры построены в Донбассе не только для того, чтобы любоваться из окна скорого и нескорого поезда, и не только для того, чтобы рифмовать в индустриальных стихах, хотя и в этом немалое их значение в нашей жизни; построили их еще и для того, чтобы прикреплять к ним «шкивы».

. . . . . .

«Шкив» — вещь круглая. Простой человек мог бы назвать его колесом, но шкив, хоть и круглый, хоть он и крутится, не колесо... Шкив есть шкив, что бы вы с ним ни делали... Через него переброшены стальные канаты, а на канатах висит «клеть».

. . . . . .

«Клеть» — это особый тип, если хотите, автомобиля, хотите — аэроплана. На ней спускают в шахту шахтеров, свободных от экскурсантов, писателей и разных комиссий, и они выдают «на-гора» «до́бычу», или «породу», или опять-таки усталых шахтеров и перепуганных экскурсантов, или писателей... «Клеть» бывает двух сортов: «просто клеть» и «клеть с ветерком», или, как нигде никогда не говорят, «с ветерочком»...

«Просто клеть»— это просто клеть, к которой с исключительным уважением относятся черные люди легендарного Донбасса — шахтеры.

«Клеть с ветерком»— это клеть, которой увлекаются разные экскурсанты, комиссии и писатели, желающие побывать в шахте.

— Спускался в шахту?

— Спускался!

— С ветерком?

— Нет... Просто спускался...

— Эх, ты! Тютя!

— Нас обязательно «с ветерком»... Иначе и спускаться не будем!

Клеть «с ветерком»— это самое главное в шахте...

Чего стоят против «ветерка» «забои», «уступы», «гезенки»?

Что против «ветерка» даже гремучий шахтный газ?!

— Шахта, товарищи, газовая! Будьте осторожны! Спичек в шахту не брать! О папиросах и думать забудьте!

— Газовая, говорите?! А «с ветерком» или без? Если «с ветерком» — поеду... Газ — пустяки!

«Ветерок» — самое главное. Остальное — «постольку поскольку».

Что такое «ветерок», автор толком, пожалуй, и не сможет объяснить. «Ветерок» — вещь нереальная... Ни измерить, ни понюхать, ни разбить его нельзя. Его главное свойство — привлекательность, до безумия.

На одну из шахт Горловского района приехала экскурсия молодых, веселых, жизнерадостных студенток из столичного вуза... Исполненные до предела желанием познакомиться с шахтой и со всеми процессами добывания так необходимого стране угля, прекрасные девушки просили спустить их в шахту «с ветерком»...

— А может, не нужно?— деловито спросил у них десятник.— Первый раз, знаете, вы едете в шахту...

— Нет, обязательно и только «с ветерком»! Иначе мы не поедем! А нам надо побывать во что бы то ни стало: мы специально для этого приехали! Мы должны

ознакомиться с шахтой! Это наша цель! Только «с ветерком»!

— Прошу в клеть!

Сели... Желание их было выполнено: спустили их в шахту «с ветерком».

Спустились... Клеть остановилась...

— Прошу, товарищи,— говорит десятник.

Молчат.

— Уже приехали! Прошу выходить!

Молчат... Сидят, друг к другу прижались. И не шевелятся.

— Вылезайте! Вылезайте уже...

Молчат...

Подходит десятник, берет за руки, хочет помочь им выйти из клети...

Смотрят на десятника несколько пар перепуганно-безумных глаз...

— Ну, что же вы, товарищи?

И вдруг из нескольких глоток вырывается коллективно-отчаянное:

— На гору! На гору!

— У нас это называется, товарищи, не «на гору», а на-гора́!

— На гору! Вот туда!

— «С ветерком»?

— Ой, на гору! Скорее! Голубчик!

Выдали молодых, веселых экскурсанток на-гора́ без «ветерка».

Клеть «с ветерком»— вещь довольно привлекательная, очень популярная и самая известная для всех, кто хочет видеть шахту и овладеть всеми в ней процессами по рецепту «veni, vidi, vici» [1].

В другой раз — хоть это с экскурсантами, комиссиями и писателями очень редко случается,— когда едут в шахту и если их спрашивают:

— Как хотите? «С ветерком»?

— Нет, знаете, давайте, как обычно!

. . . . . .

[1] «Пришел, увидел, победил» *(лат.)*.

«Террикон». Это тоже вещь очень популярная... Терриконы — большие, конусоватые, черно-серые горы у каждой шахты... Людей экспансивных они приводят в радостное настроение:

— Ах, какие горы угля разбросаны по Донбассу!

И наполняется сердце экспансивного человека гордостью бесчисленными богатствами всесоюзной кочегарки...

Когда же террикон увидит деловой человек, командированный в Донбасс «для ликвидации прорыва»,— он, тот человек, возмущается страшно и говорит авторитетно:

— Страна захлебывается от недостатка угля! Срывается пятилетний план индустриализации промышленности и реконструкции сельского хозяйства! Заводы жадно гудками взывают: «У-у-у-гля! У-у-у-гля!» Железные дороги, эти артерии страны, не подвозят к индустриальным городам хлеба, сахару, а тут, в Донбассе, во всесоюзной кочегарке, целые горы драгоценного угля лежат без всякого присмотра! Какой позор!

И деловой человек бьет в центр победную телеграмму:

— Угля — горы! Давайте транспорт!

Человек остывает за два дня своего пребывания в Донбассе. Когда его спрашивают: «Правда, красивый террикон?»— человек краснеет и начинает говорить о превращении старого Донбасса, капиталистического, кустарного, в социалистический, механизированный, советский Донбасс.

А что такое в действительности террикон?

Это отбросы пустой, никому, кроме поэтов, не нужной породы...

Для чего ее, эту пустую породу, вот так старательно складывают в конусообразные горы, если она никому, кроме поэтов, не нужна?

Для красоты...

. . . . . .

«Шахта»... О шахте автор много говорить не будет, потому что стараниями Рабиса ее прекрасно уже опопу-

ляризовали и среди трудящихся и среди не очень трудящихся в известной индустриальной песне:

Многое видала,
Многое слыхала,
Многое узнала
Шахта № 3.

Разумеется, № 3 в данном случае взята для рифмы, и никак не следует думать, что именно только шахта № 3 «узнала, видала и слыхала многое...». Все шахты и в Донбассе, и в Подмосковном угольном районе, и на Урале, и в Сибири — все они «многое узнали, видали, слыхали...».

Автор соглашается, что «видать, слыхать и узнать»— это чуть ли не главнейшие функции каждой угольной шахты... Но это еще не все. Позвольте к этому добавить еще одно назначение каждой шахты... Может, оно и не сравнится с функциями, так детально отмеченными в вышеуказанной песне, но не упомянуть его, по мнению автора, нельзя.

Назначение каждой шахты еще давать до́бычу [1].

Если вы станете даже над самой клетью и прекрасным баритоном или контральто необычайно чувствительно, со слезой в голосе выведете:

...многое узнала,

вы не застрахованы от того, что тот самый, о котором заливается песня, что «он был шахтер, простой рабочий», прослушав вас, не скажет:

— Ты до́бычу дай! А петь каждый может!

. . . . . .

Итак, «до́быча».

Автор знает, что слово «до́быча» не очень популярно среди широких слоев советского населения, которое так или иначе хочет знать или уже даже знает что-то о Донбассе, об угле, об угольной пятилетке. Это не шахта № 3, это не клеть «с ветерком», это даже не «копер» и не «террикон»... Однако, будучи абсолютно беспристраст-

[1] Примечание для редакторов украинского языка. Я попрошу оставить до̀бычу (ударение на «о»), хоть и знаю, что у редактора зачешутся руки исправить это слово на «добывание». Не нужно! Пусть будет до̀быча.— *О. В.*

ным и объективным, автор не может пройти мимо такого мало популярного и неинтересного для широких кругов советского населения слова.

Разве хочешь,— надо!

«Дóбыча»— это то самое, что выдают из шахты... Оно такое, знаете, черное, немного блестящее и ужасно пачкает руки, одежду, даже (какое нахальство!) лицо... И что вы скажете? На шахтах, и в шахтоуправлениях, и в парткомах, и в профорганизациях почему-то этим словом интересуются... и интересуются чрезвычайно.

Каждый вечер, и не только каждый вечер, а по десятку раз на день по телефону или по приезде на шахту — первый вопрос:

— А как дóбыча?

И когда руководитель шахты, или главный инженер, или заведующий участком, или кто-то другой, непосредственно к добыче приставленный, печально отвечает:

— Не очень!..

А потом силится объяснить и свою печаль и свое «не очень»... техническими неполадками, плохим выходом на работу, прогулами и т. д., ему отвечают:

— Ты дóбычу дай! А неполадки всякий может дать!

Вот какое это слово «дóбыча» тут на шахтах...

Что поделаешь! Кому дóбыча, кому «ветерок», кому «ветры — копры».

Каждому — свое...

. . . . . .

«Ствол» — вещь неинтересная. Закрывается клетью, вследствие чего он не виден. Вообще — глубокая дыра, куда не рекомендуется падать. Кроме неприятностей, ничего не дает. Очень длинный и чаще всего очень мокрый, так как в нем живет неприятное существо — «капёж». «Капёж» залезает экскурсантам за шею, за спину... Капёж — холодный и капает...

. . . . . .

«Горизонт». Кое-кто из людей не местных и весьма сведущих в украинском языке все время пытается перекрестить «горизонт» в «обрiй» [1], но, к счастью и для «го-

[1] Обрiй — горизонт.

ризонта» и для украинского языка, ничего из этого не вышло. «Горизонт» так и остался в дальнейшем «горизонтом» и весьма этим, как установил автор, доволен.

«Горизонт» — вещь горизонтальная. Если бы шахту сравнить с домом (автор не хочет этого делать, чтобы не обидеть шахту), то горизонт можно приравнять к этажу (автор не хочет этого делать, чтобы не обидеть «горизонт»).

«Горизонт» на шахте имеет совершенно другие эпитеты, чем обыкновенный горизонт.

— Какой чистый горизонт!

— Какой заревой горизонт!

Такие поэтические выражения в жизни вы слышите довольно часто.

На шахте вы такого никогда не услышите.

Шахта дала своим горизонтам названия чисто цифровые.

Горизонт 452!

Горизонт 555!

Горизонт 800!

Чем больше число, тем почтеннее горизонт!

Что означает это число?

Метры!

Не километры, а метры!

Автору пришлось как-то услышать от одного путешественника по Донбассу, что он спускался в шахту на горизонт 500 километров.

Автор невольно подумал: не проскочил ли нечаянно этот путешественник клетью «с ветерком» сквозь весь земной шар на радость соседей, живущих визави по ту сторону земного шара.

И не спросили ли его визави:

— Откуда вы сорвались, мистер?

. . . . . .

«Зумпф». Автор в «зумпфе» никогда не был и никогда не пытался там побывать.

— Как бы нам в зумпф!— просят некоторые экскурсанты.— Слово такое звонкое, а главное, непонятное! Вот бы побывать!

— Слово действительно звонкое, но туда нельзя. Оно под клетью, оно — конец ствола и еще называется помойницей,— отвечают им.

— А-а-а! Ну, если помойницей, тогда не надо... «Зумпф» — это да, а помойница...

— Мы лучше квершлагом к штреку, а там, если захотите, уступами через поле спустимся на другой горизонт. Пошли...

. . . . . .

«Квершлаг». Мудреное слово, а сама по себе вещь «квершлаг» — хорошая, простая, и на нем чаще всего кончается экскурсионное знакомство с подземным царством. Квершлаг — широкий, большей частью освещенный, сухой, хорошо закрепленный коридор, по которому безопасно можно пройтись, пугаясь только посвиста коногонов и грохота вагончиков. Квершлаг — плоский слой, соединяющий угольные пласты один с другим, или же когда в шахте только один угольный пласт, то квершлаг ведет от ствола к нему, к пласту.

И всё.

. . . . . .

Дальше будут «штреки».

Это уже пострашнее... И когда переходят из квершлага в штрек, у экскурсантов больше всего возникают такие вопросы:

— Не опоздаем ли мы, товарищи? А то нам сегодня еще на заводе надо побывать... там тоже, кажется, небольшой прорыв... Так это, говорите, штрек? Тут, значит, собирают уголь в вагончики, к стволам, потом в клеть, на поверхность, потом в вагоны, по железной дороге в угольные склады, а там, значит, в жилкооп, в печку, и дома тепло... Смотрите, как просто. Спасибо... Ну, идемте, товарищи! Премного благодарны! Так вы, пожалуйста, нажмите, а то страна требует уголь... Знаете, в нашем доме...

— Вот это штрек. Он идет в направлении протяженности угольного пласта...

— Ну да! Понимаем... Так вы того... ликвидируйте прорыв, а то в нашем доме, знаете, не отапливали две недели и мы никак не имели возможности выполнить промфинплан... Постарайтесь...

— А уголь, товарищи, добывается...

— Понимаем... Так вы того... на поверхность нас, пожалуйста...

. . . . . .

Ах, сколько еще есть интересного в этом подземном царстве! Сколько там есть таинственного, для широкого мира не ведомого, а известного только тем черным людям легендарного Донбасса, которые зовутся шахтерами...

И как зло поступила природа, что загнала все это такое интересное глубоко под землю!

Что было бы ей заложить угольные пласты на поверхности или, еще лучше, над поверхностью земли такими, к примеру, какими-то фантастическими черно-сверкающими арками, петлями, «сталактитами».

Подъехал бы на тележке, отколупал — и домой.

А под этими арками, под этими петлями были бы сады, играла бы музыка и продавалось бы мороженое...

Квершлаги и штреки были бы наподобие аллей в городском парке культуры, по угольным пластам зимой спускались бы на салазках.

А угольные пласты для этого как нельзя лучше приспособлены, так как абсолютно «положистых» немного, а все они чаще всего наклонные (падают под углом от 30° до 45°) и резко крутые (угол падения от 45° до 90°).

И никто бы тогда не допытывался, что такое, к примеру, называется «гезенком», что «бремсбергом», что «шурфом».

А то, видите, приходится все это объяснять...

. . . . . .

«Шурф»— вертикальная шахта, небольшая: ее делают для разведок, где залегают угольные пласты, или для вентиляции уже действующих шахт.

. . . . . .

«Бремсберг» — наклонный подземный участок, идущий в направление падения угольного ствола, он не выходит на поверхность, и по нему уголь подается сверху вниз.

Такой же участок, но если уголь подается снизу вверх, называется уклоном.

Видите, чего только нет в шахте.

Всего этого не видно ни из квершлага, ни из штрека.

. . . . . .

«Гезенк». Это вертикальная шахта. Она «слепая», то есть не выходит на поверхность и спускается с верхнего горизонта на нижний. Уголь из гезенка выбирается (добывается) уступами. Вырубанный, он падает вниз, в такую дыру, которая называется скважиной, а оттуда попадает в вагончики, вагончики коногон гонит к клети, из клети уголь идет на-гора́ в склад, из складов в железнодорожные вагоны, из железнодорожных вагонов в жилкоопы.

— Ах, как у нас сегодня тепло! Надо открыть форточку!

Попадает уголь еще и на заводы, на фабрики, в коксовые печи, но это нас мало интересует... Нам лишь бы:

— Ах, как у нас сегодня тепло!

Гезенк... Не правда ли, это слово напоминает какие-то удивительные газоны?.. А в газонах роскошные цветы... Цветы пахнут... Правда, напоминает?..

Автор должен, однако, к превеликому сожалению, констатировать, что ничего подобного...

Газон не гезенк, а гезенк не газон.

Гезенк, еще раз повторяю,— шахта, где уступами рубится уголь. А все эти уступы в гезенке называются «полем».

Как автор сожалеет, товарищи, что вы не видели этого гезенкового поля, и как ему будет неловко, если на вопрос, знаете ли вы, что такое поле в шахте, вы ответите:

Ой, да в поле жито
Копытами сбито.

Ой, как автору будет неловко!

Как жаль, что вы, товарищи, возвращаетесь уже из шахты на-гора́, как можно дальше удаляясь от штрека, и не хотите принять неоднократные приглашения проводника по шахте:

— Может быть, полем пройдемся?.. Уступами?

Как жаль! Жаль, товарищи, так как поле — всегда самое излюбленное место для прогулок...

А тут не только одно поле, но еще и уступы. И не только уступы, но еще и лес.

Поле, лес, уступы... Чего же еще вам надо для приятной прогулки?

Вы, может, не верите, что там есть лес? Есть! Есть специальные в шахте люди, зовутся они лесогонами. Их задача только в том и состоит, чтобы гнать в уступы лес.

Прогулка шахтным «полем», правда, довольно оригинальная, но это ни в коем случае не должно вас останавливать, поскольку вы так страстно желаете узнать, где именно и как именно добывается каменный уголь.

Прогуляться, следовательно, несомненно, стоит.

Относиться к этому нужно серьезно, не легкомысленно, не думать так, как думал один из многих обследователей труда на шахтах...

— Куда бы хотели? — спросил его заведующий шахтой.

— Всюду хочу!

— Как всюду?

— Я хочу осмотреть всю шахту, на всех горизонтах, все участки, все забои...

— Не слишком ли много будет, товарищ? — вежливо спросил его завшахтой.

— Нет! Не много!

— Может быть, мы бы сегодня осмотрели однодва поля, а потом, если вам захочется, завтра еще...

— Нет! Только сегодня! И только сейчас! И поскорее!

— Прошу! Пожалуйста!

Подошли они к скважине. Завшахтой протиснулся в скважину вьюном и оттуда спрашивает:

— За мною, товарищ?

— Куда?

— В гезенк, товарищ! На уступы!

— Вон туда? В эту дыру?

— Это не дыра, это скважина. Это единственный ход, которым можно повидать работу в забоях.

— А... а пошире нет?

— Пошире, товарищ, нет. Да пошире, товарищ, и не требуется. Прошу. Пласт тут тонкий, толщиной в метр. Нагнитесь. Лампочку рекомендую повесить на шею, а то она будет вам мешать, и лезьте за мною...

— А как же лезть?
— А так... Смотрите на меня и лезьте, как я...
— Ничего не вижу.
— Как ничего не видите?
— Плохо светит лампочка...
— Прекрасно светит... Все, что нужно, видно...
— Ну, нужно было хотя бы свечей на двадцать пять лампы завести... Где вы?
— Вот я!
— Не торопитесь, пожалуйста...
— Я потихоньку...
— Где вы?
— Я тут!
— Я вас не вижу!
— А я вас вижу! Берите направо под уступ, чтобы нечаянно углем не задело... Как раз рубят...
— Где вы?
— Я тут!
— А что это дребезжит?
— Это отбойные молотки... Шахта механизирована...
— Где вы?
— Я здесь!
— Ой, что это загудело?
— То уголь сыплется!
— Где вы?
— Вот я! Вот тут! Лезьте ко мне... Я посвечу... Видите?..
— Где вы?
— Я тут!
— А долго нам еще лезть?
— Долго?! Мы еще не начинали!
— А сколько всего?
— Ерунда! Метров полтораста!
— Где вы?
— Я вот! Сюда!
— Товарищ! Подлезьте вы ко мне!
— Что такое?
— У меня сердце...
— Что?
— Я бы назад, знаете...
— Как хотите... Только мы тогда не успеем все гори-

зонты, и все участки, и все забои за сегодняшний день осмотреть...

— А как назад?

— Так же, как вы сюда влезали.

— В дыру?

— В скважину!

— Так вы вперед, а я за вами.

Уже в штреке:

— Давайте, товарищ, отдохнем, а то у меня сердце...

— От чего же отдыхать, мы ведь только еще собрались лезть?

— Вспотел я как-то... Отдохнем.

С час товарищ отдыхал, а потом его выдали на-гора́.

Разумеется, этот случай не должен расхолаживать желающих познакомиться с работой в забоях.

Товарищ, как видите, захотел слишком много: осмотреть сразу все горизонты, все поля, все забои.

Это слишком много.

А мы-то знаем: «то, что слишком — то плохо».

Сердце не камень — и не выдержало.

Одного поля достаточно на первый раз для того, чтобы потом, вспоминая, качать головой, рассказывая знакомым об уступах, о забоях, об отбойных молотках...

Автор, если хотите, может рассказать о впечатлениях от такого знакомства с работой в гезенке, на угольном пласте в метр глубиной при падении этого пласта в 45°.

Впечатления, по мнению автора, не лишены некоторого интереса.

Когда угольный пласт имеет всего только один метр глубины, а человек — взрослый человек, поскольку детей в шахту не пускают,— все-таки ростом выше одного метра,— всякому понятно, что выпрямиться в гезенке не удастся... Согнуться вдвое — также не очень приятно и не очень удобно.

Приходится, следовательно, искать иные способы для прогулок.

И тут вам может пригодиться та часть тела, по которой вас били в детстве, когда вы на ней, вместо салазок, спускались с горы.

Тут она — главное, и ей предпочтение перед всеми. Она выручает из беды... Мозг человека, впервые гуляю-

щего по уступам, занят все время тем, что фиксирует разнообразные вариации безграничного страха. Глаза ничего не улавливают, кроме маленькой светлой точки на лампочке у впереди ползущего соседа; уши неустанно ловят разные шорохи от падения кусочков угля или породы, и даже у человека глуховатого барабанные перепонки в ушах превращают эти шумы в такие по крайней мере размеры, будто летит в бездну Казбек или Эльбрус; ноги и руки только то и делают, что скользят от стояка к стояку, язык все время совершает свою работу: он неутомимо выкрикивает:

— Где вы?! Не удирайте! Не так быстро!

Легкие учащенно дышат; кожа выделяет пот целыми ведрами. И только та часть тела, по которой вас в детстве били, плывет от уступа спокойно...

Особенно интересно, когда перелезаешь с уступа на уступ.

Тогда человек начинает раскаиваться, почему он прошлым летом ездил поправляться на село или в санаторий, почему он весит семьдесят килограммов, а не один килограмм, почему у него такие длинные ноги, что их никак нельзя свободно просунуть сквозь узкую щель, почему он ростом вымахал в такого верзилу, что голова цепляется за распорки, и вообще почему ему так захотелось побывать на этих самых уступах, если о работе шахтерской можно живописать или рассказать ну хотя бы вот такими приблизительно стихами (и это еще самое лучшее!):

Донбасс — напряженье
Мускулистых забоев!
Но...
Донбасс...
Не вызвал
моего удивления!
Я и раньше знал,
что это такое!

Но если вам самому ко всему этому захотелось посмотреть — ничего не поделаешь: смотри и не раскаивайся.

— Товарищи! А вот и забой... Вот уже и отбойные молотки... Смотрите... Вы поближе, ближе...

— Забой! У-уф-ф! Забой! Интересно... У-ф-ф-ф!

— Как раз делают верхний вруб...

— Верхний?.. У-ф-ф-ф!

— Да вы сюда смотрите! Вот это забой, а это стояк... Ну, поехали дальше.

— Нет, еще немного посидим... Интересно... У-ф-ф-ф!

— Ну, что, уже насмотрелись? Можно дальше?

— Еще не насмотрелся... Еще бы минут пять, чтобы хорошо все заметить. А долго еще нам ехать?

— Да еще какую-то сотню метров осталось.

— Сотню? У-уф! Ну, поехали... Только вы там не торопитесь, чтобы лучше все запомнить... Чаще бы останавливаться, осмотреться...

Поехали дальше...

Мимо нас и вверх и вниз быстро проскакивают черные люди с лампами в руках... Отбойщики, лесогоны... Они по уступам движутся еще лучше, чем по поверхности...

Если вы, посапывая, кряхтя и впившись руками и ногами в горбыли, будете вытирать пот,— не исключено, что вас кто-нибудь и спросит:

— Что, дядя, жарко?

— Нет,— ответите вы,— не жарко. Я осматриваюсь... И вентиляция у вас не того.

— Чего вентиляция! Вентиляция у нас неплохая... Воздух для шахты нормальный! Ну, осматривайтесь...

Пока вы осмотрите этак метров девяносто — сто, вам одного только захочется: просвета в скважине... Просвета на нижнем горизонте, куда вы, по теории, должны выпасть, в нижний штрек...

И когда эта скважина блеснет в луче вашей лампочки, вам захочется ее поцеловать, и в вашем воображении промелькнет дикое желание:

«Почему весь мир не из скважин?! Пусть бы вместо всех уступов, какие есть на всем белом свете, всюду были бы одни скважины...»

После этой прогулки штрек для нас — просторный, высокий и радостный коридор, квершлаг — роскошный зал, шахтный двор — широкая площадь, клеть — самый совершеннейший в мире лифт, а «на-гора»— сказочный лес.

Так прекрасно влияют на человека уступы в шахте.

Вот как приблизительно выглядит путешествие уступами в гезенке, где угольный пласт не толстый, всего только в метр толщиной...

Но есть угольные пласты намного толще... На шахте № 8 Горловского района есть пласт «Дерезивка». Его толщина два с половиной и даже больше метров...

Впечатление от знакомства с «Дерезивкой» исключительное.

Автор, если хотите, не против того, чтобы посвятить вас в переживания незнакомого с шахтами человека и на таком пласте.

Делает это автор не из каких-нибудь личных соображений, он исключительно заботится о ваших интересах, чтобы вы, если не будете иметь возможности лично это пережить, все-таки принесли бы пользу в борьбе за угольную пятилетку.

«Дерезивка» — угольный пласт, как уже было сказано, в два с половиной метра толщиной. Добавьте к этому его падение в семьдесят четыре градуса, и вы, очевидно, представите, что гезенк на «Дерезивке» — это черная бездна, шириной в комнату... Между верхним и нижним горизонтом — сто пятьдесят метров. По вашей мерке это приблизительно пять-шесть пятиэтажных домов. Крепления — саженные стояки поперек пласта... Вот, от стояка к стояку, вы и путешествуете с одного уступа на другой...

Можете закрыть глаза, можете, наоборот, раскрыть их — все равно. Внизу черно и глубоко... Вверху скважина, куда вы влезли и откуда моментально вам хочется вылезть...

Хочется... Да не можете же вы отказать любезному завшахтой, которому так не терпится продемонстрировать вам очень интересные работы в его шахте. Он знает, что у него на производстве прорыв, он хочет его как можно скорее ликвидировать, и он прекрасно к тому же знает, что вы приезжаете на шахту не из простого любопытства, посмотреть только, что это за зверь шахта, а прибыли вы сюда с исключительной целью помочь ликвидировать этот прорыв...

Ну как вы сможете отказаться, если знаете, что для

того, чтобы излечить болезнь, самое главное установить ее причины, а причина, может, как раз и находится в самом забое, именно на том уступе, на пласте «Дерезивка», куда вы, закрыв глаза и дрожа даже корнями своих волос, лезете.

Особенно приятное ощущение, когда стояки, которые кладутся один от другого приблизительно на метр, вдруг «прерываются» и горбыль от горбыля уже на два метра...

Тогда вас охватит лирическое настроение, захочется декламировать стихи:

Не говори, что молодость сгубила...

Или петь «Завещание» Тараса Григорьевича Шевченко...

Когда вы уже подползаете к нижней скважине (это бывает приблизительно через два часа после того, как «вас влезли» в верхнюю скважину), вы говорите:

— Не может быть!

— Что — не может быть?

— Скважина!

— Скважина. Факт...

Вы тогда спрашиваете:

— Это я долез или упал к скважине?

— Долезли.

— Серьезно?

— Серьезно!

— Ну, благодарю.

— За что?

— Я подумаю...

Вы садитесь и долго будете думать, пока любезный завшахтой не скажет вам:

— Пересядьте, прошу вас, на другое место, а то вы уже в собственном поту плаваете...

Автор рекомендовал бы, если к этому есть хоть малейшая возможность, ознакомиться с «Дерезивкой» в компании опытных товарищей.

Кроме того, что вы вообще будете иметь приятных собеседников, вы еще сможете воспользоваться при этой оказии техническими советами.

Опытный товарищ будет лезть впереди вас и все время будет советовать...

— Если сорвешься, падай так, чтобы не сбить меня! Места для тебя достаточно, так что держи крепко в руках руль боковых поворотов, а руль глубины отпусти: глубину ты и так возьмешь.

А еще кто-нибудь из товарищей, уже детально знающий шахты, не оставит вас без советов приблизительно такого характера:

— Если будете лететь, крутите головой между горбылями, чтобы не расколоть головой стояк, а то это приведет к техническим неполадкам в шахте и отразится на добыче. Летите до конца, если не пробьете породы и не вылетите в штрек, сидите на месте, не ищите сами скважины, чтобы не заблудиться... Мы подлезем — покажем дорогу...

На-гора́ вас выдают легким и радостным. Вы ощущаете, что у вас есть руки, ноги, спина, шея, голова, живот. Вы чувствуете на каждой части вашего тела каждый мускул — так вы радостны и напряженны...

И ощущаете вы все это приблизительно с неделю. Особенно остро на второй, третий и четвертый день.

А потом все входит в норму, и начинаются будничные дни борьбы за превращение кустарного Донбасса, оставленного нам капиталистическим строем, в Донбасс механизированный, Донбасс социалистический.

. . . . . .

Сколько неведомого, сколько интересного, сколько полезного на шахтах?

Автор понимает, что не в силах все передать, познакомить читателей абсолютно со всем, что имеет что-нибудь общее с угольной промышленностью; его задача очень и очень скромная — хоть кое-как, хоть на такусенький процент ликвидировать среди населения угольную неграмотность...

Уголь?! Шутки, думаете?! Целые столетия человечество бьется над решением самых разнообразнейших угольных вопросов! Вузы, втузы, академии — над углем работают!

Тысячетомные книгохранилища, лучшие, пытливейшие умы человечества приносят себя в жертву ради угля...

Наивно было бы думать, что в небольшом вступле-

нии автор сможет охватить всесторонне все, что касается угля...

Да и цель автора вовсе не научно-технический труд в области горного дела.

Цель автора — люди: человеческие дела и человеческие страсти на фоне борьбы за угольную пятилетку...

Автор вынужден был взяться за объяснение всевозможных технических дел и слов. В дальнейшем эти слова и дела, очевидно, будут встречаться.

Так вот, чтобы не путались они под ногами читательской мысли, чтобы не заглядывал читатель в разные объяснительные заметки и словари, автор и решил подать их сразу, хотя и знал, что этим самым он может ошарашить читателя...

«Да разве хочешь,— надо!»

. . . . . .

«Забойщик» — человек, который рубает уголь.

«Забой» — место, где рубают уголь.

Есть еще литературная организация «Забой», так она уголь не рубает, а ее члены-шахтеры пишут о работе на шахтах... иногда пишут неплохо.

«Свод», или «крепление»,— так и будет «свод». «Свод», или «крепление»,— это операция, которая закрепляет породу или уголь, чтобы они не заваливались.

«Крепильщик» — тот, кто крепит.

«Обушок» — обушок. Им рубают уголь ручным способом. Обыкновенный молоток большой с зубцом с одной стороны... Им размахиваются в уголь — бах! — и отрубают уголь.

«Отбойный молоток» — работающий сжатым воздухом. Штука механизированная...

«Воздух» — это и есть тот сжатый воздух, который приводит в движение тот молоток...

«Компрессор» — штука, подающая по трубам в шахту сжатый воздух, а «шланг» — это шланг: к нему привинчивают отбойный молоток.

Особенность отбойного молотка та, что если он не работает и вы спрашиваете его хозяина:

— Почему не рубаете?

— Воздуха нет!

А если «воздух» есть:

— Почему не работаете?

— Зубца запасного нет!

— Нате зубец...

Если вы дали зубец, и молоток все-таки стоит,— снова:

— Воздуха нет!

— Да есть же воздух!

— Шланг пропускает...

— Не пропускает?

— Иди ты...

Тот, кто спрашивает, знает, куда ему идти, потому что попал он на «конёчника».

«Конёчник» — особенная в шахте категория людей. Очень интересная. Происходит она от слова «конёк», а это противное, раздражающее, вредное слово «конёк» ничего общего не имеет с благородным, прекрасным и печальным тружеником в шахте — настоящим вороным, или серым, или чалым конем.

Что такое «конёк»?

Пожалуйста, автор может объяснить, что такое «конёк», но лучше не объяснять, лучше бы его совсем не было на свете...

Тогда бы и не было такого прорыва на фронте угольной пятилетки, тогда бы вообще пятилетку за четыре года можно было выполнить и легче и быстрее.

Но чтобы объяснить, что такое «конёк» и что такое «конёчник», нужно прежде всего знать, что такое «упряжка» и что такое «пайка» («крепь»).

«Упряжка» опять-таки ничего общего не имеет ни с конями, ни с коневодством... Касается она исключительно человека, работающего в шахте. Человек «запрягается» на определенное время ежедневно работать в шахте.

Вот это и есть «упряжка».

Старое слово, дореволюционное слово, рабское слово...

Слово еще от того времени, когда рабочего-шахтера считали скотиной, когда к скотине относились значительно лучше, чем к человеку...

Живет оно и до сих пор. А пора — ой, как пора! — ему уже умереть...

И до сих пор еще:

— За упряжку!

— Упряжка!

— Десять упряжек!

— Двадцать упряжек!

Упряжками исчисляется число нормальных рабочих дней в шахте.

Рабочий день в шахте теперь на Донбассе — шесть часов в сутки...

Шестичасовая «упряжка».

Каждый забойщик должен за «упряжку» сделать в забое одну «пайку» (одну «крепь»), то есть нарубать и закрепить определенный кусок угольного пласта. Размер его «пайки» зависит от сорта угля, и от пласта, и от всяких других специфических условий...

Допустим, что на участке Н. пласта Х. забойщик должен за «упряжку» вырубать и закрепить кусок пласта длиной в три метра и в метр толщиной (три квадратных метра угольного пласта).

Что делает «конёчник»?

Он вырубает только один метр или полметра, не закрепляет его — и все!

Вот этот вырубанный полуметровый кусок называется «конёк», а его творец — «конёчником».

«Сидит на коньке!»

Прогульщиком его назвать нельзя, потому что он на работу вышел...

А работы не сделал и, наоборот, только испортил дело, потому что нарушил план вырубки определенного уступа.

«Конёчники» — зло на шахтах...

Даже шахтные кони и те обижаются, что их именем прозвали такую вот мерзость, и хотят подавать петицию, чтобы сменили это название, а то оно их, благородных коней, позорит.

Какое название им придумать, чтобы честных коней не обижать?

Название такое, чтобы им вообще никого не опозорить?

Автор полагает, что самое подходящее для них будет название «симулёчник», а то, что они делают: «симулёк».

. . . . . .

Ну, если уж мы затронули то, что хоть названием похоже на коней, давайте поговорим об очень популярных в шахте «коногонах» и не менее там популярных «конях».

«Коногон». Молодой и черный. Гонит коня, который везет вагончики с добычей или с породой из штрека в клеть, а пустые вагоны — от клети к штреку. Буйно свистит... Распробуйно ругается. Ругается так, что никакие культурно-бытовые учреждения и кружки не в силах ни уменьшить, ни, тем паче, уничтожить ту ругань. В «господа-бога» — это детские игрушки... В Макдональда, Пуанкаре, Бриана и во всю социал-демократию, хоть и стóит, но приелось. Ругается коногон всеми одному только ему известными словами, явлениями, понятиями, предложениями... Ругается в гневе, ругается и в ласке. Ругается в печали, ругается и в радости. Ругается во сне, ругается в бодром состоянии. Ругается...

И если вагон «забурился»... Сошел с рельсов...

Никогда нельзя предположить у того вагончика такой уймы «матерей».

И Макдональд у вагончика «мать», и Муссолини — «мать», и испанский экс-король Альфонс — «мать», и римский папа —«мать», и богородица Христа-бога у того вагончика «мать». Разнокалиберного, как видите, тот вагончик происхождения...

Старые традиции.

Развеиваются уже они, потому что приходят коногоны с новыми мыслями, с новыми привычками — комсомолята приходят.

. . . . . .

«Кони». Кони в шахте... на горизонте 750... Три четверти километра под землей...

Тут автор не будет греха таить: слезу пустил.

Автор очень любит коней. Очень, очень. До того любит, что он даже постоянный подписчик журнала «Коневодство и коннозаводство».

Что такое конь? Конь — степь. Кони — широкие степи бывшей Таврии, бывшей Херсонщины... Табуны конские... Табуны киргизские, калмыцкие, донские...

Какой простор! Только вон-вон где-то виднеется могила Чингисхана (а может, и не Чингисхана, какое нам до этого дело?!). Да еще дальше голубой горизонт...

И среди бескрайней степи мчится конский табун...

Это из того табуна буланый на горизонте 473 шахты №... Это ему суждено бегать темными штреками, темными до слепоты, и простору того вширь ему дано... метра полтора!

Ой, конь, мой конь,
Заиграй подо мной...

Это ему суждено никогда уже в его конской жизни солнца-света не увидеть...

Это его выдадут на-гора́ только тогда, когда закроет он навеки свои слепые глаза,— а глаза ведь когда-то у него были синие-синие, васильково-синие... И в тех глазах отражался ковыль степной...

Беги, конь доро́гою,
Зеленою дубравою...

Буланый из горизонта 473 никогда уже не побежит дорогой, зеленой дубравой...

И боец молодой
Вдруг поник головой.
Комсомольское сердце пробито.
И упал он с коня,
Вороного коня,
И закрыл свои карие очи.
Ты, конек вороной,
Передай, дорогой,
Что я с честью погиб за рабочих.

Вороной с горизонта 473 никогда уже никому ничего не передаст...

Ему изо дня в день, из года в год, пока сердце не остановится, — вагончики-вагончики-вагончики, свист коногонов и тьма-тьма-тьма...

...Автор абсолютно не добивается того, чтобы все вслед за ним пустили слезу по поводу конской доли шахтерской...

Цель у автора иная...

Цель его: электрифицировать и механизировать шахты...

Тогда электричество будет гонять по штрекам и квершлагам вагончики, и не будет коней на горизонте 473, и не будет для тех коней вечной темноты...

А потому:

— Ты до́бычу дай!

А до этого... коней в шахту, и любви, целые горы любви к шахтерским коням...

Любви, кормов и ухода...

Чтобы представители Наркомснаба не думали, что в шахте можно пасти весною коней...

— Весна! Можно же перевести коней уже и на пастбище!

— Где?! В шахте?!

— В шахте! Я сам слыхал, что в каждой шахте есть поле...

...Любви, ухода и кормов для шахтерских коней!..

Ах, если бы я был поэтом, я бы для коногонов сложил чудесную песню... И припев у той песни был бы такой:

Не тот коногон,
Что гонит коня,
А тот коногон,
Что любит коня...

Чудесная была бы песня! И чудесный был бы в той песне припев.

. . . . . .

Автор позволит еще рекомендовать читательскому вниманию:

«Откатчиков». Это люди, которые подают в клеть вагонетки с углем в самой шахте и откатывают вагонетки из клети на-гора́. Большей частью на этой работе заняты женщины.

В последующем труде автора одна из таких откатчиц, так думается автору, сыграет немаловажную роль.

Вам будет также полезно знать о «шпурах», «сверловщиках», о «десятниках», о «начальниках участков» в шахтах, о «стволовых», о «рукоятниках», о «сортовальщицах», о «шахтерской лампе», о «вентиляционной системе в шахте» и еще о множестве других удивительных вещей в каменноугольной промышленности.

Но автор не эгоист. Он не хочет все вам объяснять, обо всем рассказывать, потому что тогда вам все уже будет известно и вам никогда не захочется поехать в Донбасс, побывать в шахте...

Автор этого не хочет.

Часть очень интересных вещей он нарочно замалчивает, чтобы вам всю жизнь хотелось побывать в легендарном Донецком бассейне.

Автор ограничится тем, что расскажет вам — ну о чем же? Ну, допустим, о «шпуре», о «поджигателях» и «сверловщиках».

«Шпур» — это такая длинная, узенькая, просверленная в крепкой породе дырка, куда закладывается динамит, взрывающий эту породу. Делаются шпуры большей частью при проходе штреков или бремсбергов...

«Сверловщик» — тот, кто сверлит шпуры.

«Поджигатель» — тот, кто поджигает в шпурах динамит.

«Саночник». Скоро-скоро уже не будет этого сказочного шахтерского рабочего...

И отойдет в века его чрезмерно тяжкий труд...

При пологих угольных пластах, когда уголь вырубается ручным способом — обушком, саночник вывозит из забоя уголь в штрек.

Согнутый всегда в три погибели, он тащит санки с десятью — двенадцатью пудами угля на расстояние до шестидесяти метров.

И хорошо, если только согнутый... А если пласты угля меньше, чем в метр толщиной?!

Тогда приходится на коленках, а то и на животе тащить тяжелые (сто тридцать — двести килограммов) санки...

Честь и хвала ему!

Пусть скорее отойдет он в прошлое, и пусть останется о нем память как о герое, а о его труде — как о каторжном труде, но почетном...

. . . . . .

Новые времена звенят над советским, над социалистическим Донбассом.

Машина идет высвобождать человека от тяжкого, порой невыразимо тяжкого труда...

Отодвигается «обушок» — его место занимает отбойный молоток...

— Эй, отбойный молоток! Поберегись! Я иду! — гудом гудит врубовая машина.

И затихает рокочущий молоток перед врубовыми...

Все они врезаются своими стальными зубами в черное золото, помогая бурными темпами строить социалистическое Отечество.

Освобождается забойщик...

Саночника от его шлейки освобождают скрепера, конвейеры...

Коногона и коней — электровагончики...

А на помощь машине летят-спешат рабочие-изобретатели Карташовы, Филимоновы, Касауровы, Либхарты, Епифанцевы...

Общими усилиями машины и рабочего ума вырываются из подземного царства человеческие нервы, человеческие мускулы, и на отработанном рабочем теле высыхает тяжелый пот!

А над всем этим, над всеми словами, над всеми вещами, над всеми явлениями — и в шахтах и на-гора́ — доминируют два самых интересных, самых нужных, самых могучих слова...

Слова эти: «тонна» и «процент».

И самым радостным будет для всех — и на шахтах, и за пределами шахт, и в Донбассе, и на Украине, и в Союзе, и во всем мире для всего международного пролетариата,— когда около этих слов будет стоять:

«Донбасс в третьем решающем году пятилетки дал 56 000 000 тонн, то есть 100 процентов!»

А для этого:

— Ты до́бычу дай!

. . . . . .

Автор уже слышит ядовитые голоса:

— А почему вы не сказали, что такое «на-го́ра»? Такое специфическое для Донбасса выражение, а вы его обошли... Ага?

Автор отвечает:

— Кто внимательно читал это вступление, тот, наверное, встречал несколько раз выражение «на-гора́». Следовательно, автор его не забыл и вполне его признает... Но объяснять его автор не брался, потому что это выражение достаточно популяризовано.

Автор считает лишним популяризовать уже популяризованное...

. . . . . .

Слышится возмущенный голос:

— Донбасс и без дымовых труб... и без кудрявого из труб дыма, который застилает небосклон... Даже, кажется, есть такое стихотворение о Донбассе:

Димарями земля поросла,
Буйним зіллям [1] прийдешнього часу.

Автор, между прочим, не может согласиться с поэтом, что дымовые трубы — «зілля»...

Но это не значит, что автор их не признает... Трубы он признает, трубы он в Донбассе видит, видел и будет видеть, но воспевать дым не будет. Категорически об этом заявляет! Категорически!

Автор знает, что дым — это нерациональное растранжиривание нашей промышленностью топлива!

Автор — за рационализацию, за экономию топлива и расточительство воспевать не хочет.

Когда автор видит вдохновенного поэта, который уставился в кудри седого, даже черного из труб дыма, ему чуть ли не кричать хочется, чтобы оштрафовать того поэта рублей на полтораста за соучастие в нарушении обязательного постановления об экономии топлива!

Тогда бы он не любовался дымом, а писал бы стихи о том, как повысить добычу в Донбассе.

Вон как!

. . . . . .

А что автора особенно возмущает — это истерика донбасских домен.

— Как?! О Донбассе и без нас?! Домна всегда была на первом месте! Мы протестуем! Какой такой роман о Донбассе без нас?! Это — нахальство! Мы будем жаловаться Рабису! Мы...

Автор отвечает домнам:

— Слушайте, товарищи! Автор прекрасно знает, что вы играете первые роли во всех индустриальных романах, драмах, комедиях и трагедиях! Он чудесно знает ваш темперамент! Он сам видел, что, когда вы на сцене вместе с товарищем — коксом и с драматической старухой — железной рудой, страсть из вас вырывается огненными лавами, но в этом романе автор вам роли не

[1] Зілля — зелень, трава.

даст! Может, когда-нибудь в другой раз он вам даст роль весом в целый пуд, а теперь ни одной строки!

— Это... свинство!

— Слушайте, товарищ Домна! Кто автор?! Автор или вы?!

— Мы в Главискусство! Мы...

— Жалуйтесь хоть самому Николаю Алексеевичу Скрыпнику [1]! В этом романе главную роль будете играть не вы, а откатчица Катя, и не ваш любовник кокс, а коногон Вася! Ты дòбычу дай! А жаловаться всякий умеет!

До свидания!

1931.

[1] Н. А. Скрыпник — в те годы народный комиссар просвещения УССР.

«Перестрах»

— Раздевают!

— Кого раздевают и где раздевают?

— В городе раздевают! Всех! Как только стемнеет на дворе — и не рыпайтесь!

— А кого же раздели?

— Ну я не знаю, кого именно раздели, а что раздевают — факт!

— Ну, вот из вашего дома кого-нибудь раздели?

— Нет, из нашего еще никого не раздели, а вообще в городе очень много случаев грабежа!

— Ну, где именно? Кого именно?

— Ну, не могу ж я вам точно сказать, где именно и кого именно, я вам не уголовный розыск!

И даже рассердилась наша собеседница...

— Я сама вечером никуда не выхожу да и вам не советую... Придете домой, как Адам. Фигового листочка даже не найдете по дороге — зима... Рукою будете прикрываться...

...А веселый и чернявый артист одного из столичных театров, собеседник нашей небольшой компании, заливался звонким смехом.

— Чего вам так весело? Оттого что раздевают?

— Вот послушайте, что я вам расскажу...

— Ну-ка, ну...

— Было это, дорогие мои, тогда, когда еще не совсем утихла гражданская война, когда кое-где еще по лесам и в камышах гремели обрезы, агонизируя под натиском героических отрядов Красной Армии, когда обыватель

еще был полным-полон «страха и перестраха» гражданской войны.

Было это в том городе [1], что тогда не носил еще названия Днепра, соединенного с именем всеукраинского старосты, а назывался тот город именем царицы, прославившейся не столько мудростью, сколько постельным темпераментом, который пугал даже откормленных и молодых императорских гвардейцев...

И вот внезапные страшные слухи:

— Раздевают! Ни проехать, ни пройти!

Ну, вы сами, дорогие мои, понимаете, что такие слухи, да еще в городе, где обыватель еще помнил и пьянокровавый разгул махновцев, и водочно-палаческое «самодержавие, православие и народность» деникинско-врангелевских «маладцов»,— слухи эти,— говорю вам,— загнали в норы трусливого обывателя.

И вот было это темной ночью...

Засиделась небольшая компания не то на именинах, не то на крестинах, точно не знаю, где она уж там засиделась. Только засиделась она до той поры, когда начинают драть свою глотку петухи...

— Придется ночевать! — говорит хозяин.

— Придется! — говорят гости.— Кто же отважится пойти глухой ночью домой, да еще в такой час, когда ни пройти вам, ни проехать!

— А я пойду,— говорит доктор Василенко.

— Что вы, что вы?! — в один голос со страхом закричали и хозяева и гости.

— А я пойду,— говорит доктор Василенко.

Доктор Василенко — симпатичный, веселый мужчина, прекрасный товарищ и отчаянный парняга...

— Что вы, что вы! Да ограбят же и убьют!..

— А я пойду! Убить они меня не убьют, а если ограбят, черт с ними. Пальтишко у меня такое, что вряд ли разбогатеют. Да еще едва ли так уж и грабят, как об этом болтают... Давайте проверим.

— Что вы, что вы, что вы! Если себя не жалеете, пациентов своих пожалейте!..

— Прощайте! Пойду!

---

[1] Речь идет о Днепропетровске (бывш. Екатеринославе).

И пошел, дорогие мои товарищи, доктор Василенко домой.

На улице было темновато. От центра не близко...

И хоть доктор Василенко был отчаянным парнягой, хоть и веселым он был мужчиной, товарищи мои, однако ночь была глухая, до центра не близко, а слухи о грабежах свое дело сделали, и было на душе у доктора Василенко все-таки немножечко, по правде вам сказать, муторно.

Вот идет себе да идет доктор Василенко. Идет вперед, а назад оглядывается и во все стороны озирается.

Вдруг из-за угла фигура какая-то выставляется.

«Ну,— думает доктор Василенко,— есть. Это передовик, а за углом шайка... Прощай, пальто, прощайте, и брючки!»

Поравнялся доктор с фигурой, пристально к ней присматривается и не очень к ней приближается...

Неожиданно та фигура, с доктором поравнявшись, к доктору подходит и останавливается.

— Нет ли у вас, товарищ, спичек, чтобы прикурить? — так та фигура к доктору и обращается.

— Есть у меня спички,— говорит доктор. А у самого даже где-то там екнуло.

«Есть,— думает доктор.— Так, как и всегда: сначала прикурить, а потом наган, а потом на углу товарищи и...»

Вынул доктор спички, дает прикурить, а потом сам пальто расстегивает, чтобы «честную компанию» не задерживать.

Прикурила фигура папироску, произнесла «спасибо» и пошла себе дальше.

Пошел себе дальше и доктор Василенко, а сам думает: «Вот сейчас выскочат — и все».

Дошел уже до фонаря, дай, думает, погляжу, который час... Лап в карман — нет часов. А часы у доктора были чудесные, золотые, и цепочка при них была массивная — подарок от благодарных пациентов.

Нет часов!

И очень жаль стало доктору Василенко часов: подарок — раз, а к тому же еще и довольно ценная вещь.

«Лучше бы до Адама раздели, лишь бы только часы не брали.. Нет, не отдам часов!»

Молнией метнулся назад доктор Василенко.

«Все равно,— думает,— убьют не убьют, а часы не отдам!»

— Стой! Стой, говорю тебе, мерзавец! Стой, а не то, как собаку, пристрелю!

Фигура остановилась...

Подскочил к фигуре доктор Василенко, схватил за петли и как гаркнет:

— Часы! Часы отдай, мерзавец! Отдай часы, а то задушу!

— Пожалуйста, нате! — трясясь, говорит фигура.

Дрожащими руками лезет фигура в карман, достает часы.

— Нате!

— Ах ты сукин сын! Не успел папиросу прикурить, часы спер. Я тебе!

Схватил доктор Василенко часы и домой бегом... Да все озирается, да все оглядывается.

И только вскочив в свою квартиру, с трудом отдышался.

— Ффу! И живой, и нераздетый, и часы назад отобрал! Фффу! Повезло!

Подходит доктор Василенко к столу, зажигает свет и... падает в кресло...

На столе лежит его ценнейшая вещь — золотые часы с массивной цепью, подарок его благодарных пациентов...

А... а в кармане?

А из кармана он извлек паршивенькие, подержанные черненькие часы с медной загрязненной цепочкой...

И залился доктор веселым смехом...

. . . . . .

А на другой день в местной газете, дорогие мои товарищи, появилось объявление такого содержания:

«Доктор Василенко очень просит товарища, у которого он такой-то ночью на такой-то улице отобрал часы, зайти к нему и забрать эти часы...»

Грабят... Бывает...

1933

Предисловие

«Заграничные усмешки» писались в санатории Haus Eibenhof недалеко от Берлина (июнь — июль 1928 года). Автор этих «усмешек» большей частью писал их, лежа в постели и корчась от боли в животе. Наблюдал автор берлинскую и внеберлинскую жизнь в те «свободные» часы своего пребывания за границей, когда шел от врача в клинику или перебирался с кровати в кабинеты различных медицинских манипуляций. И все время боль не покидала его. Наблюдения, таким образом, поверхностные. «Усмешки» (автор этого и не скрывает) местами получились какие-то квашеные, так как в зарождении их активное участие принимала двенадцатиперстная кишка автора, за что он здесь и выносит ей сердечную благодарность.

Автор

1928

Поехали...

Без причины и болячка не сядет.

Для поездки за границу, следовательно, тоже причина нужна. Повод.

Научные командировки за последнее время потеряли кое-где свою значимость.

Скажем, приходите вы, например, в какое-нибудь учреждение, имеющее право командировать вас за границу, и перво-наперво говорите:

— Мне следует усовершенствоваться. Так у меня пошла наука, что без заграницы, как без рук. Дайте командировку за границу, так я, разрази меня бог, за две недели вам социалистическое строительство завершу. Раз-два — и социализм!

Ну и, ясное дело, вынимаете удостоверение от того учреждения, где вы работаете, удостоверение, ясно свидетельствующее о том, что вам командировка за границу необходима, как вода, как воздух, как нагрузка.

Тогда вам то учреждение и говорит:

— Да... Это правильно. Мы убедились, что командировка вам безусловно необходима. Но, товарищ, имейте в виду: дамские чулки советского производства, а также обувь наша, как уверяют специалисты, ничуть не уступают в качестве заграничным. Учитывая пошлину, они и обходятся не дороже. Дальше: вы имеете право провезти только два костюма, так что, если учесть стоимость поездки, пошлину, дороговизну пребывания за границей, много не выиграете... Лицензий же нынче не дают. Обматывать себя дамскими панталонами и кружевами как-

то неудобно — чего доброго, попадете в кинофильм. Провезти валюту через Шепетовскую таможню никакими способами не удастся; таможня видит насквозь того, кто везет валюту...

— Ах так... Ну, тогда я подумаю...

— Подумайте...

Лучший и действительно верный повод для поездки за границу — собственная хворь.

С болезнью выехать значительно проще...

Только не делайте так, как одна знакомая дама сделала.

Во врачебной комиссии, куда она обратилась за справкой, что ей необходимо лечиться за границей, она упала в обморок. А когда ей дали понюхать нашатырного спирта, очнулась и застонала:

— Ох, где это я? А что можно с собой провезти из-за границы? У вас, мне говорили, есть такой список... Ох, ох!..

И снова лишилась чувств.

— Так не поступайте — засыплетесь.

Самое верное: для поездки за границу следует обзавестись харрошей язвой желудка. Круглой.

Как это сделать? Когда-нибудь на досуге расскажем. Харрошая будет язва!..

. . . . . .

Ну вот, у вас на руках заграничный паспорт. Все уже об этом знают.

— Едете?

— Еду.

— Так вы не забудьте: ручку автоматическую.

— Ладно.

— Едете?

— Еду.

— Так, может быть, вы мне шляпу...

— Ладно.

. . . . . .

— Так вы мне галстуков штуки три...

— Ладно.

. . . . . .

— Эх, какие там игрушки для детей! Вот бы моему Юрочке велосипедик! А Маринке — медведика!.. Толь-

ко не маленького, а большого... Там есть такие... мохнатые...

. . . . . .

— Едешь?

— Еду.

— Вот хорошо. Ну и повезло! Послал господь язву! Так ты ж, смотри, и нам что-нибудь привези. Блокнотов там, ножичков... И карандашей этих, как их... автоматических... И носки...

— А жена моя очень просила свитер и фильдекосовые чулки.

— Товарищи! Может, кому-нибудь рояль шредеровский привезти? А может, автомобиль?

Сидя в вагоне, вы заглядываете в блокнот и подсчитываете, сколько чего нужно привезти из-за границы.

Наконец подсчитали: 13 шляп, 45 галстуков, 23 пары туфель, 110 пар чулок, 87 автоматических ручек, 15 дюжин карандашей, 5 велосипедов, 7 медведей...

Темнеет у вас в глазах, и вы, глядя на зеленую рожь, упорно думаете:

«Ну ладно! Обмотаюсь! А куда же этих медведей девать? Вот загвоздка!»

. . . . . .

Дорогая Шепетовская таможня! Когда я вылезу из вагона, потолстевший раз в десять по сравнению с временем моего отбытия за границу, думай, пожалуйста, что это я так поправился в немецком санатории. Если у меня из ушей будут торчать по два медведя, а из ноздрей — по шляпе, считай, что это мне врачи прописали все дырки на дорогу затыкать.

Ничего не поделаешь! Я ведь еду за границу!

. . . . . .

Едем.

— Так вы ж, товарищ, смотрите. Raucher — это для курящих. А Nichtraucher — это для некурящих.

— А как будет «второй класс»?

— Zweiter Klasse! Так и говорите на вокзале!

— Кому говорить?

— Кто вас спросит, тому и говорите.

— Ага. Их хабе цвайтер кляссе. Их хабе цвайтер. Их хабе цвайтер...

— А на вокзале смотрите, где написано «Ausgang», туда и выходите. «Аусганг» значит «выход».

— Ага... как выход?

— Аусганг.

— Ага... Аусганг, аусганг... аусганг... Ну и трудное слово!..

— А когда приедете, смотрите: будет написано: «Bahnhof Friedrichstrasse», там вам выходить: «Бангоф» — вокзал, «Штрассе» — улица. Это и есть выход.

— Ага, значит так: «Их хабе цвайтер кляссе», «Аусганг» — вокзал. «Бангоф» — выход. Ага...

— Да нет, наоборот.

— Как наоборот? «Их хабе цвайтер кляссе» — вокзал?

— Да нет...

— Ага. «Бангоф» — вокзал.

. . . . . .

— Цванцих. Драйцих. Фирцих. А там же как, после того «аусганга»?

— А там спро́сите.

Спросить. Ну, ладно, спрошу. Как уже мы там будем спрашивать, не знаю, но спрашивать все равно придется.

Едем... Едем... Едем...

Шепетовка...

А вы знаете, подъезжая к Шепетовке, как-то не по себе становится, муторно... Не потому, что тебе придется через таможню проходить. Таможня есть таможня. Что ей стребовать с нашего брата, когда он за границу едет?! Нечего.

Едут ведь в командировку так, что листочка на нем фигового и то нет. Один из спутников очень сокрушался:

— Вот говорит, плохо, что нельзя за границу голяком ехать. Все-таки больше оттуда можно было бы прихватить.

Я ему:

— А вы б,— говорю,— сажей вымазались да два-три бюстгальтера плохоньких нацепили бы и ехали. А буде кто спросил бы, сказали: «Униформа у нас такая».

Не в таможне дело.

Подъезжая к Шепетовке, хочется назад драпануть. Так тебя и подмывает слезть и махнуть в сторону Киева. Перескочишь Шепетовку — и никого у тебя не будет... Никогошеньки... И самое дорогое, что останется,— это красная книжечка паспорта... И то и дело хватаешься ты за него...

Не дай бог выскочит. Пропал тогда!

А когда уже из Шепетовки на Здолбунов едешь, тогда тихо-тихо в вагоне.

Чего это так тихо? Ну будто похоронили кого-то!

Сходит пограничная стража. И до того становится жаль этой стражи! Как отца родного!

Нейтральная зона...

«Mohyljany». Белые орлы всюду. И пусто, пусто на станции... Станция Могиляны.

— Прошу пана! Паспорта!

Невольно озираешься... Где же здесь, думаешь про себя, пан?

Смотрит на тебя человек. На голове каска черная, на каске орел белый, и обращается к тебе: «пан».

Выходит, значит, я пан? Как скоро! Каких-нибудь десять километров — и я уже «пан»!

Польша.

1928

Берлинские кони

Лошадей в Берлине еще немало, но они настолько со всех сторон зажаты подземкой, надземкой, автобусами, трамваями, автомобилями, что не воскреснуть им уже вовек!

Недалеко то время, когда гид в Берлинском зоологическом саду, показывая на гнедого в яблоках коня, будет поучать экскурсантов:

— Лошадь. Латинское название «equus»! Некогда весьма распространенное в Берлине животное, а нынче вот остался один экземпляр, да и тот с пороком: с козинцом...

Живут кони в Берлине большей частью «с пива».

То ли традиция такая, то ли, может, пиво нужно возить потихоньку, чтобы оно не хлюпалось, но факт остается фактом: пиво развозят на лошадях.

Большие-пребольшие куцехвостые «equus'ы» не спеша волокут внушительных размеров повозки с пивом.

Кони откормлены до неимоверности: очевидно, они пиво пьют.

А бесхвостые. И не то чтобы у них хвосты отрезаны были, нет, видно, что так они и родятся без хвоста.

«Усыхает» берлинский конь с хвоста начиная, и нечем ему, бедняге, перед смертью мух отгонять.

А еще у нас в Берлине грусть вызывают извозчики.

Их уже мало: машина вытесняет.

Извозчики старые-престарые, такие же, как их кони.

Но у них еще есть свои пассажиры.

И пассажиры такого же возраста, как лошади и извозчики.

Это те пассажиры, что боятся машины, не любят, не признают ее и демонстративно ездят на лошадях.

Посмотрели бы вы на берлинского извозчика, когда он рысцой трусит по берлинским улицам!

Что-то фантастически-нелепое эпохи средневековья являет он собою в этой машинизированной сутолоке.

Небольшая лошаденка, унылая, как «успение богородицы», тащит громадный — некогда наши помещики шестериками на таких разъезжали — фаэтон.

А на высоких козлах восседает столь же унылый, сердитый, старый по годам и взглядам «Kutscher».

Он в цилиндре и в ливрее.

А над ним, как радиомачта, высится засунутый в специальное отверстие кнут.

Трусит.

А сколько презрения, сколько пренебрежения в его взгляде, когда он нижет глазами этот нескончаемый, кипучий и бурлящий поток машин!

Такое впечатление, что он вот-вот соскочит со своих козел, и, воспламенясь гневом, выхватит из отверстия длиннющий кнут, и разнесет в пух и прах все эти бенцы, оппели, дикси, форды!

Он будет стегать кнутом с такой яростью, что разлетится во все стороны стекло, он раскроит их шикарные подушки, а своими огромными на деревянных подошвах башмаками перетрет начисто всё их магнето.

Так он их ненавидит!

Когда позади него взревет нетерпеливо-суетливый бенц, он делает вид, что не обращает на него никакого внимания.

Он его не слышит! Он не желает его слышать!

Он не дает ему дороги!

И только соловые его глаза мечут молнии.

А в молниях этих столько души, столько бессильной злобы!

Оттого, что не в силах он ничего сделать, нет у него возможности прекратить оглушительный, неумолчный и стремительный грохот ненавистного ему мотора.

Того мотора, в котором скрыто сотни таких сил, как сила его гнедого, вороного или серого в яблоках Васьки.

Поэтому он такой сердитый и вместе с тем такой печальный.

Недавно пропел свою лебединую песню «Железный Густав» — старейший берлинский извозчик, более полувека просидевший на козлах.

Проехался он по Берлину в последний раз.

Но проехался не как обычно, а торжественно, с помпой.

Из Wann-See (берлинское предместье) он доехал до самого Парижа!

Из этого сделали чуть ли не национальный праздник!

Устроили ему царские проводы.

Все газеты были полны описаний буквально каждого шага его коня.

Повсюду по дороге были организованы торжественные встречи.

Толпы парижан встречали его у въезда в Версаль.

Одним словом, помирать — так с музыкой!

Не в «Железном Густаве» здесь, конечно, дело.

«Железный Густав» — символ.

Вместе с Густавом отпели свою песню все — и железные, и деревянные, и конопляные Густавы.

Еще год-два, может быть, чуточку больше, и все густавовские фаэтоны будут выставлены в Берлинском национальном музее, а их с козинцóм кони пойдут на подошвы для шоферской обуви...

И только в зоологическом парке останется доживать свой век обреченное животное, о котором будут говорить:

— Equus...— и т. д. и т. п.

Знаете, где еще здесь «употребляют» лошадей?

На свадьбах!

Невесту и жениха везут к венцу непременно лошадьми в карете.

Говорят, такова традиция.

А по-моему, это делается для невесты, чтобы она в таких случаях за коня держалась!

Все не так быстро обкрутят!

Хочется ей хоть как-нибудь оттянуть минуту, после которой ей, несчастной, на всю жизнь суждены только три радости: киндер, кирхе и кюхе.

Я бы на месте берлинских лошадей умчался бы в наши херсонские степи!

Там еще можно пожить лет этак с сотню, а здесь им погибать!

Спасения нет!

Уж больно мощно гудят моторы!

1928

Берлинские музеи

Знаете, что самое главное? Музеи! Быть в Берлине и не побывать в музеях — это, конечно, преступление! Берлинские музеи — это квинтэссенция всех музеев... Вы же знаете, что такое немецкая культура? А в музеях у них собрано буквально все. Причем с первобытных времен! Еще, можно сказать, с того древнейшего периода, когда немец обезьяну придумал, и до самых наших дней! Завтра утром, как только позавтракаем, сразу же — в музеи!..

— Только в музеи! Как встанем, так и в музеи. Зачем же тогда ехать сюда, если не побывать в музеях?

Торопливо заканчиваем завтрак — и в музеи! Быстрее! Быстрее!

— Сейчас, сейчас! Вот только это «кезе» [1] проглочу и бежим.

— Пошли, пошли, музеи ведь только до трех открыты.

— Айда!

Идем.

— Скорее, скорее, товарищи! Музеи большие, а времени мало!

. . . . . .

— А ну-ка посмотрите. Вот сюда! Ты глянь, чемоданище! Вот это да! А витрина!

---

[1] «К е з е»— по-нашему, сыр.—*О. В.*

— Нет, чемоданище какой! Черт его знает! Смотрите! Не чемодан, а целый гардероб. И на каждую вещь — свое отделение. Там для пиджаков, там для штанов, а там — для белья! И не помнется ничего в таком чемодане. Надо будет купить.

— Сколько же он стоит?..

— А вон несессер. Видите?

— Вижу. Несессер.

— Надо будет купить! А вон видите — из крокодиловой кожи?

— Где?

— Вон там. Надо будет купить.

— А смотрите, женский ридикюль. Красный. Вот черт! Надо будет купить.

— Ну, идем, идем, а то опоздаем!

— Пошли!

— Тссс!.. Смотрите, какие бананы! Ну и бананы!

— Что там бананы, посмотри — ананасы!

— А это что за ягоды красные?

— Это? А черт его знает, что это такое! А вон — арбуз, что ли?

— Да нет, вроде не арбуз.

— А что же тогда?

— Кто его знает! А вон черешни. Как помидоры!

— Так это же и есть помидоры!

— Да нет, черешни это!

— Вот черт, надо будет купить!

— Ну идем, идем!

— Качай!

— Слушайте, а что это за чудище? Крокодил, никак?

— Это резиновый. Надувной.

— На черта?

— Плавают на нем, когда купаются. А вон там жабища... видите?!

— Что ж это — игрушка такая?

— Ну да. А вот это — резиновые миски.

— А там — резиновые туфли.

— Тоже для купания?

— Надо будет купить...

— Ну, пошли!

— Пошли, пошли!

— А это что? Живой манекен вроде?

— Ну да. Новые фасоны показывают. Есть такие специальные барышни, они одеваются, становятся в окнах витрин и рекламируют модели!

— А ничего манекен! Надо будет купить!

— Ну, побежали!

— Иду, иду!

— Вот драгоценности... искуственные. О них мне жена и говорила.

— Ага, ага, это самое оно и есть!..

— Ты посмотри, какие красивые вещички!

— А здесь еще лучше!

— Нет, вы только поглядите... Змея! Из чего ж она сделана?

— Скорее всего терракотовая!

— Надо будет зайти сюда! А вон видите — ожерелье!

— Ого!

— Надо будет купить!

— Идем!

— Идем!

— Смотрите, какие электрические лампочки!

— Синие, розовые, красные! И сколько их!

— А вот лампочки, что мигают, когда горят!

— Ну?

— Ей-богу! А вон фонари какие!

— А вот это, видите, оборудование на целую электрическую станцию!

— О-о, надо будет купить!

— Ну идемте, а то уже двенадцать.

— Пошли!

— Ага-ага-ага! В этот магазин мне обязательно надо зайти. Видите пальто с такой подкладкой?

— Да и мне ведь нужно! Вот оно — то, что я давно уже ищу!

— Нет, здесь давайте получше рассмотрим. Вот пальто за сто двадцать марок!

— Ничего себе! А вон то еще лучше за сто пятьдесят марок!

— Вот бы мне такой костюм для работы!

— Да тут и обувь!

— Это ведь спортмагазин!

— А-а, спорт! Жаль, что я в футбол не играю, а то купил бы эти бутсы. Ох, и бутсы! Хорошие, видать!

— Ну, не будем задерживаться, а то уже половина первого!

— Идем!

— Вот они, ручки автоматические. Вы только посмотрите: новая какая-то конструкция! Таких еще я не видел!

— Вот эти зелененькие? Это американские.

— А мне, понимаете, порядочно их надо! И Микола просил, и Федор, и Сидор, и Иван, и Виктор, и еще кто-то, и еще, и еще... Я уже запамятовал, со счета сбился. Штук девяносто — не меньше... Может быть, как оптовому покупателю, скидку сделают? Как вы думаете?

— Надо будет спросить.

— И блокноты здесь есть. И карандаши! Надо запомнить этот магазин. Как он называется, записать бы, чтоб не забыть!

— Скорее только записывайте, а то опоздаем.

— Уже! Бежим!

— Что это такое, смотрите, коня живого в авто повезли?

— Ага... Верно, на бега. Чтоб не уморился дорогой, вот его и везут.

— Скажи пожалуйста! Уже и лошади в автомобилях ездят! Вот чудеса! И стоит же, чертова образина, спокойно. Привыкшая, что ли!

— Ну, идем, идем!

— А это что за чучело такое в белом?

— Так это же повар из ресторации. Для рекламы. Вон у него на пузе надпись, из какого он ресторана!

— Что же это он так целый день и стоит?
— Так и стоит!
— Ишь ты... Надо будет купить!

— О, часы!..

. . . . . .

— О, бритвы!

. . . . . .

— О! О! О! О!
— Ну, идем, идем же!
Вот уже и музей.
— Смотрите, закрыто!
— Который же час?
— Половина четвертого!
— Ах, черт побери, опоздали! А ведь, казалось, быстро шли!
— Ну, завтра уже непременно: пораньше встанем и побежим!
— Да, да. Обязательно!

Завтра.
— Скорее, скорее!
— Сейчас, сейчас!

. . . . . .

— О, смотри, белье!

. . . . . .

— О! О! О! О!
— Который час?
— Четверть четвертого!

. . . . . .

А немецкая культура — солидная культура.
Немецкие музеи — мировые музеи!
Не побывать в берлинских музеях — это просто преступление!

. . . . . .

— Завтра уж непременно!

1928

Как проехать таможню

Когда едешь за границу, тогда, понятно, незачем тревожиться о том, как проехать таможню.

А вот когда оттуда...

Ой, бог ты мой, чего эта таможня сто́ит!

За добрых три недели до отъезда из Германии только и слышишь:

— Все, в общем-то, хорошо, а вот как Шепетовка...

. . . . . .

— Были в Тиргартене?

— Был.

— Ну как? Ведь правда, прекрасный парк?

— Парк чудесный... Да вот не знаю, проверяют на таможне карманы или не проверяют?

. . . . . .

— Вы из Потсдама?

— Да.

— Не дурак был Вильгельм, избрав себе там резиденцию. Вот парк! А палаты! А водопады! А чистота! А порядок!

— Даа-а... Диву даешься, и только. Что верно, то верно. А вот интересно, таможня только одну пару обуви разрешает провозить?

. . . . . .

— Вы что, из музея?

— Да вот только что пришел.

— Сильное впечатление, правда?

— Великолепно! А пудру мужчинам провозить можно?

. . . . . .

Ох, эта таможня!

Страшно мало вещей разрешается провезти из-за границы.

Ну до чего ж маленькая норма! Прямо плакать хочется!

Подумать только: всего три костюма.

Всего лишь два пальто!

Шесть пар белья!

Один золотой крестик и одну золотую иконку.

Всего только одну нитку жемчуга и одну пару часов.

Ну и власть!

В инструкции сказано, что вещи разрешается провозить те, которые необходимы в дороге и для проживания во время двух-трехмесячной командировки.

Ну неужели же Советской власти не известно, что обойтись в дороге одной парой часов — это просто смехотворно?!

Нужно по крайней мере штуки три, не меньше!

Ну как же может какой-нибудь научный работник, или литератор, или деятель искусства, или индустриальный рабочий пробыть месяц в командировке, имея на руках только три костюма?

А разве обойдется он в дороге одной ниткой жемчужного ожерелья?

Разве сможет он осматривать немецкие заводы, если ему разрешается нюхать только (всего лишь) пятьсот граммов (пол-литра!) духов Coti, да и то непременно распечатанных, к тому же взвешенных вместе с флаконом!

Просто не понимаешь в данном случае Советскую власть.

Как же это все-таки так?

Выходит, если я еду такую даль, как из Берлина в Харьков, то не имею права провезти с собой медведя?

Да ведь это нужнейшая в дороге вещь!

Как же это мне ехать просто так, без всяких развлечений?

Да что ж это за поездка такая?

А Шепетовка медведей не пропускает.

Говорит, «не положено».

Вся трагедия — в карманах.

У немцев почему-то очень маленькие карманы в костюмах.

Сунешь медведя ногами — голова торчит.

Сунешь головой — ноги торчат...

Сядешь, как-нибудь неловко повернешься, а он, чертова перечница, в кармане как заревет...

А вокруг — хохот.

Ну, а что тут смешного, скажите?

Никогда командировочный не бывает более взволнован и взбудоражен, чем перед возвращением из командировки домой.

Это естественно. Чего, собственно, волноваться, отправляясь в Германию или во Францию?

Что может вас взбудоражить: новые незнакомые города, новые люди, новая жизнь, достижения культуры и всякие такие вещи?

С этими новшествами вы очень быстро осваиваетесь...

Настоящие волнения начинаются перед отъездом «нах хаузе».

. . . . . .

— Послушайте, вы, никак, женские панталоны надели?

— Неужели заметно? Я ведь резинки вытащил. Да и потом — лето теперь, а летом мужчины такие же коротенькие штанишки носят, как и женщины.

— Да, но не носят мужчины штанишек с этакими хризантемами впереди... И потом, насколько мне помнится, у мужчин такие вещи обычно с ширинкой...

Неужели Шепетовка и ширинки проверяет? И в конце концов что вы мне все с этой Шепетовкой? Что хочу, то и ношу и не желаю считаться с тем, что угодно шепетовским чиновникам. Где, в каких правилах написано, чтобы я носил кальсоны обязательно без хризантем?!

. . . . . .

Сколько мук, сколько страданий доставляет наука нашим людям! Сколько забот и волнений приносит заграничная командировка нашим молодым ученым!

Только здесь начинаешь понимать пословицу:

«Корень учения горек»...

Шепетовка. Лето. Жара.

И вот видишь, как из вагонов выползают краснощекие молодые граждане, одетые в котиковые манто, в меховые шапки, с плюшевыми на шее или на руках пледами, в теплых перчатках, в двух-трех парах теплого белья...

— Что это вы так утеплились, словно Амундсена разыскивать собрались?

— Простудиться боюсь. В вагонах, знаете, сквозняки... А у моей матери такой лютый был ревматизм... мучилась невероятно!

Шепетовские таможенные чиновники — веселый народ!

Когда такой вот полярного вида субъект появляется в таможне, у них на лице смеется каждый мускул.

Они кусают себе губы, чтобы не фыркнуть.

Результаты их веселого нрава я видел после того, как они «проинтервьюировали» одну такую «котиковую мадам»...

На столе лежали: длинная, сажени в три, нитка жемчуга, флакон духов (в бутыли на добрых полведра), всяческие кружева и множество подобных вещей.

Мне неудобно было спрашивать, как все это уместилось на ней и что было обмотано этими жемчугами.

«Котиковая мадам» в течение какого-нибудь получаса заметно похудела и побледнела.

Бóльших мучителей с веселыми на лице улыбками, чем шепетовские таможенные служащие, я не видывал...

Просто какие-то изверги!..

Не берут их ни слезы, ни кокетство, ни убедительные доводы о том, например, что женская шелковая комбинация — это прозодежда для молодого инженера, прокладывающего в Донбассе новую шахту.

Любимейшая у них фраза: «Не положено».

Убийственная фраза.

И все из-за этих проклятых двух букв «н е».

Ну, а как же все-таки проехать таможню?

Не скажу! Это очень большой секрет.

Я, например, проехал ее блестяще.

И даже служащих обвел вокруг пальца: незаметно провез резинового верблюда в натуральную величину.

— Как?

— Я его в подошву засунул.

Подошву у меня не отрывали — я и провез.

А теперь не знаю, что с ним, дьяволом, делать: в комнату не лезет, дети боятся, жена ругается.

— Ты бы лучше,— говорит она,— вместо верблюда котиковое манто в ботинки засунул.

Ну что ж: ошибся. Бывает!

1928

«Нравственная работа»

С Васькой Лбом мы давненько не виделись...

Когда-то мы с ним хоть и не были большими приятелями, но, встречаясь, всегда радовались друг другу...

Случайно как-то судьба свела нас с Васькой Лбом, интересы наши сошлись, и частенько мы с ним сидели за кружкой пива в «Баядерке» или в «Эврике»...

И в «Баядерке» и в «Эврике», да и в других таких местах Васька был своим человеком... И мне хотелось быть там своим...

У меня было на пиво, а Васька любил пиво (и водку тоже!), — сошлись мы, одним словом, с Васькой характерами...

Были мы с Васькой Лбом и в подвокзальных катакомбах (он и там был своим), ходили и по «малинам»...

Учил меня Васька интересной жизни, много пил, немало ел и в минуты особой любви ко мне хлопал по плечу и говорил нежно:

— Фраер ты ищо! И хороший ты, видать, парень, свой парень, а фраер... Ничиво — научимся! Ты только мине слушайся...

Мне Васька нравился... Может, потому, что он «бывший артист», а может, почему-то другому... Слушал я его охотно.

— Эх, ты,— говорил мне Васька.— Вон ты, кто ты такой? А я артист! Эх, если бы ты знал, какой я артист... Бывало, как выйду на сцену, как запою:

От-и-че-во же, до-ри-гая,
В ету ночь ты не-е со мно-о-ой!

Млели все!..

И Васька пел...

В такие минуты приходил служка, дергал Ваську за рукав, говорил:

— Петь издесь низзя!..

А Васька дотягивал ноту и запивал пивом:

— Не буду! Чего пристал?

И задумывался... Тогда я лбом его любовался... Ах, какой у Васьки был лоб!! Какой лоб!!! Собственно, не лоб, потому что лба не было видно, а прическа на лбу... Удивительная прическа... Каким-то таким кандибобером она спускалась на лоб, волосок к волоску, потом загибалась, и бежала на висок, и терялась уже там на небольшой Васькиной голове... Но вот этот бег Васькиной прически, ее порядочек на лбу, ее «барашки» на конце волос — все это было прекрасно и художественно закрывало маленький Васькин лоб... Подобные прически делаются только так: смачивают волосы, старательно те волосы на лоб зачесывают, а потом ладонью левой руки прижимают их ко лбу. Потом свободным движением гребешка (зубцы стоймя!) в правой руке обводят полукругом эти волосы к виску... Только тогда получается такая прическа... Иначе нет... И то не у всех она получится... А у Васьки она получалась всегда и была лучшая, какую мне когда-либо приходилось видеть... Вот какой был Васька!.. Вот какая была его прическа... Потому и нравился мне Васька... Три года его не видел... Начинал уже даже забывать... Но не сходятся, как говорят, только гора с горой.

Лежал это я как-то в городском парке на зеленой траве вверх спиной и внимательно смотрел, как между кустиками одна букашка другой головку отгрызает...

Смотрел я на это и думал думу горькую: «Почему одна букашка другой букашке голову откусывает? И почему именно голову?..» — как вдруг кто-то сзади хлоп меня дубинкой. Глядь — Васька!..

— Да воскреснет?! Васька?!

— Я!

— Откуда? И почему тут? И почему в таком виде?

А Васька стоит передо мной, костюм на нем новый, темно-зеленый, на ногах «джими», а на левой руке перчатка замшевая...

И курит Васька «Яву». А прическа?! Еще лучше, чем была тогда!..

Пышная-пышная и не водою, видно, смочена, а не иначе как маслом...

— Да откуда же ты взялся, Васька? И что ты теперь делаешь? Да ты, Васька, денди?

— Спрашуешь? Живу, брат, как никогда не жил... И манеты пока вот, и работа, и нетрудная, и интересная... С любви живу...

— Женился?

— Смеешься, штобы я женился?! Не со своей любви, а с чужой...

— Не понимаю!

— Фраер ты, как я вижу, и до сих пор... Другие любят, а я живу...

— Тебя любят?

— И какой же ты непонятный... И не меня любят, а сами любят, а я живу...

— Как это?

— Ну, слушай! Тольки «ша»! Тебе одному расскажу... И штобы никакой конкуренции, потому я теперь строгой... В парке тут друг друга любять... Понимаешь?

— Не очень понимаю...

— Эх, ты! Вот ты сидишь у парке... И смотришь... Вот подходить трынвай... Идуть у парк парочки... Гулять вроде... Ты смотришь, какие такие в них намерения. Тут нужен нюх... Я уже нюх етой имею... Меня уже не обдуришь... Вот парочка в боковую аллею: и друг к другу очень близко... Я вроде без унимания за ними... И украдкой наблюдаю — где сядуть... Вот приметил, где сели... Сразу не ходи... Минут так через десять — пятнадцать на то самое место гуляешь. Гуляешь и натыкаешься... А они как раз целуются. Сразу до них...

— А-а-а! Так вот какое безобразие?! И в обчественном месте?! Да как вам не стыдно?! Тут люди ходять, свежим воздухом, можно сказать, дышуть?! Вот какая, можно сказать, нравственность?! Идем! Идем в контору!.. Прытокол надо составить! Пожалуйте!»

Ну, тут они, конечно, в смущении:

— Но, товарищ, да что вы?! Да мы ничего?!

А я им:

— Какой я вам товарищ, когда вы такие безнравственные? Идем в контору!..

Здесь надо строгий характер выдержать...

Ну, тут они, разумеется, просят:

— Да неудобно... Да...

— А делать это удобно?! Идем! Идем...

— Да гражданин...

Тут уже можно немного ослабить:

— Можно, положим, и тут оштраховать... Квитанции со мною... Штраху десять рублей заплатите, квитанцию получите... И чтоб етого больше я не видел!

Чаще всего дают, потому что выбираешь подходящих... Берешь десятку и пишешь квитанцию... Квитанций я накупил... Пишешь: «Получено за безобразие у парке десять рублей!..»

— Фамилие?

— Да не надо фамилии...

— Как не надо?.. Мине, говорю, для отчета надо...

На понт беру...

— Да вы,— просят,— что-нибудь напишите там...

— Ну, я вас жалею... Напишу какое-нибудь фамилие. Получайте,— говорю,— квитанцию... И чтоб етого больше,— говорю,— не было! Идите!..

Они — ходу... А я себе гуляю дальше...

Так за день, смотришь, до пяти червяков и наштрафуешь... Живется, как видишь, неплохо... И опять-таки и работа нравственная...

Васька встал и пристально куда-то засмотрелся...

— Ну, будь! Клюнуло, кажется... Беспокойная работа! Прощай!

И побежал Васька... А я смотрел ему вслед и думал:

«Вот тебе и Васька! Моралист, сукин кот!»

1926

Певец печали нашей

Этого «певца печали нашей» можно почти ежедневно увидеть и услышать в пригородных наших поездах.

Я его слушал совсем недавно (три дня тому назад) на перегоне между Змеевом и Харьковом по Донецкой железной дороге.

Очень жалостливые песни поет он перед пассажирами, чтобы затем, закончив петь, протянуть руку и еще более жалостливо произнести:

— Обратите, граждане, внимание на мое бедственное положение.

Он поет очень длинную «поэму», которая называется «Отец и дочь».

О глубокой трагедии в той песне рассказывается на мотив «Кирпичиков»:

Ни кирпичики, ни чугунчики
В Ленинграде теперь не поют,
А поют теперь песни новые
И на новый мотив передают,—

но «передают» ее не «на новый мотив», а на мотив старый, на мотив «самых что ни на есть революционных» «Кирпичиков».

Эта «песня новая» знакомит слушателей с тем, как

На кладбище Митрофания
Отец дочку зарезал свою.

«Отец, мать и дочь жили весело», но потом над малюткой насмеялась «злая судьба»— померла у нее мать.

Отец «нашел себе жену новую», которая возненавидела семилетнюю «крошку» и «отцу вот задачу дала»:

Всей душой люблю тебя, миленький,
Только жить мне с тобою невмочь.
Говорить тебе только совестно:
Жить с тобою мешает мне дочь...
Ты убей ее иль в приют отдай,
Только сделай ты все поскорей.
А не сделаешь, я уйду тогда
И одна буду жить веселей.

Отец не выдержал. Агитация новой жены сильно на него подействовала, и вот:

Мысль зверская пришла в голову,
И не стал свою дочку любить.
В детский дом отдать было совестно,
И решил зверь-отец дочь убить.

Обдумав все это, отец повел дочь на кладбище, на могилу своей первой жены, и:

Вдруг отец: «Надя, Надя,— стал звать,—
Подойди ко мне, моя милая,
Я хочу тебе что-то сказать...»

Бедная Надя, не зная ничего, хоть «сердце девочки гибель чуяло», подошла к родителю.

Лицо бледное, подошла к нему,
Отец быстро схватил и стал жать,
Чтобы крик ее не мешал ему
И на помощь людей не дал звать.

Отец, «жмучи» Надю и крича: «Ты, родная дочь, иди к матери!» — зарррезал свою дочку, «крошку семилетнюю».

Засверкал тут нож палача-отца,
Совершил он ужасный кошмар.

И теперь:

Два креста стоят над могилкою:
То мамаша и дочка лежат.

Эпилог этого всего «совершения кошмара» таков: Отец «за железной решеткой сидит», а:

...красавица где-то шляется,
На свиданье к нему не идет...

«Зверь-отец» в конце обращается ко всему советскому обществу с призывом:

И хочу всем мужчинам сказать:
Как умрет у вас жена первая,
Детям мать вторую не брать.

. . . . . .

Такая печаль звучит ежедневно по вагонам пригородных поездов столицы.

Но это далеко не все.

Слушайте дальше.

Закончив пение, «певец печали нашей» обращается ко всем гражданам с таким предложением:

— Граждане! Мо'ть кто хотит иметь ету песню переписану, то прошу — цена двадцать копеек!

Достается из-за пазухи целая папка с перепечатанными на машинке песнями.

Я, разумеется, купил.

И многие еще купили.

И вот, когда я радостно кинулся за покупкой, мне предложили:

— Гражданин! Имеится у меня еще и «песня-роман», очинно антиресная (ударение на о: ро́ман).

— А о чем же,— спрашиваю — тот «ро́ман»?

— О любви.

— Дайте, пожалуйста!

«Роман», я вам доложу, знаменитый!

«О любви» — и больше ни о чем другом.

Ты вспомнишь комнатку уютную,
Где мы сидели с тобой вдвоем.
Меня ты в губки целовала
И называла «милый мой».

Потом ты «другую» полюбил.

Ты полюбил одну богачку.
Я знаю просто, милый мой:
Богачка золотом займется
И позабудет про тебя.

Кончается ро́ман очень грустно:

Вот скоро, скоро, друг любезный,
Венок терновый мне сплетут.
С венком терновым в гроб дубовый
Меня на кладбище свезут.
И сердце раны там залечит,
Какие есть в груди моей,
И зарастет моя могила
Тернистой зеленью ветвей.

. . . . . .

Я плакал, читая поэму «Отец и дочь», плакал я горько и над «песнею-ро́маном».

Почему я плакал?

Да так. Взгрустнулось, вот и заплакал.

* * *

Когда я, вернувшись домой, читал вслух об «Отце и дочери», маленькая девочка, слушая поэму, спросила:

— Дядя! За что же папка свою девочку маленькую зарезал?

— Это он,— говорю,— «по обшибке». Ему надо было кого-то другого зарезать, а он девочку резанул. «Обшибка» вышла.

«Обшибка» вышла.

1929

На рудниках

И вот я, деревни сын,
В сердце Донбасса вгрызся.
В буйном цветении века машин
Дымарями Донбасс покрылся...

Стихотворение это, как вам известно, не мое. Стихотворение это хорошего поэта Андрея Панова.

Надо вам сказать, что я в сердце Донбасса не «вгрызался», а въехал на плохоньком поезде в сердце Криворожья, именно туда, где добывается железная руда и марганец.

Если даже принять фабричные трубы за «буйное цветение», то на Криворожье такого «цветения» очень мало. Зато там целые залежи причудливо сверкающего камня, который на солнце отливает черным, синим, зеленоватым и серовато-серебристым огнем.

— Что это,— спрашиваю я у соседа,— за камень такой?

— Это кварцит.

«Кварцит! С чем же он,— думаю себе,— рифмуется?»

Кварцит... Антрацит... Стрептоцид... Аппендицит...

Я, ей-богу, не стану врать в своих впечатлениях о криворожских шахтах.

Из-за этого, собственно, я и начинаю с того, с чем «кварцит» рифмуется...

Потому что, «вгрызаясь» на какую-нибудь там неделю в рудники, ни черта вы про кварцит более не узнаете, кроме того, с чем он рифмуется, или какой можно к нему ассонанс или аллитерацию применить...

Чтобы узнать об этом кварците подробнее, чтобы знать, что с этим кварцитом связано (а связано с ним ой как много!), не неделю, не две и не три нужно принюхиваться к этому кварциту и приглядываться к нему.

* * *

Итак. Первое, значит, впечатление — кварцит.

Второе впечатление — копер.

Всюду копры, копры, копры...

Что такое копер?

Прежде всего это слово, которое рифмуется со словом «шахтер».

Любой писатель, приезжая на рудники, знакомится с пролетарской на них жизнью и может, не доехав даже до рудников, уже написать такое стихотворение:

Выпираются копёры,
А на них стоят шахтеры...

Если люди, знающие толк в шахтерской жизни, скажут вам:

— Что вы, товарищ, мелете? Сроду никакие шахтеры на копрах не стояли!

Вы на это отвечайте смело:

— А вот в честь моего приезда залезли туда и стоят!

На копрах всюду шкивы.

И шкивы годятся для стихов:

И стоят копры со шкивами,
Будто кони буйногривые.

Шкивы так похожи на гривы, как, скажем, я на канарейку.

* * *

Затем на вас сильное впечатление производит карьер.

Карьер — это штука, весьма напоминающая корыто. Огромнейшее корыто. Глубина такого корыта бывает саженей этак в пятьдесят, а длина его — саженей полтораста. Детей в карьерах не купают, белье не стирают, а добывают там руду железную.

Рифмуется карьер со словом «фокстерьер».

Карьером он называется потому, что в нем пролетарские и непролетарские писатели карьером удирают от «бурок».

«Бурка»... Что такое бурка? Опять же это совсем не то, что на Кавказе из шерсти делают.

Шахтерскую бурку на плечи не накинешь, от дождя ею не укроешься.

Она и небольшая и не очень приметная — только и всего, что торчит от нее небольшой хвостик, в обиходе он называется еще бикфордовым шнуром, а бегут от этой бурки люди, особенно писатели, как я уже говорил, карьером.

Бурка — штука, на шахтах весьма популярная.

Однажды на одном из наших литературных выступлений подана была нам записка с таким вопросом:

«Скажите, а здорово вы удирали от бурок?»

Мы сказали правду.

— Удирали здорово!

Ответ этот вполне удовлетворил слушателей; они убедились, что и мы, чужие на шахтах люди, серьезно к бурке относимся.

Когда бурка «рвется», в карьере гремит гром; тогда люди прячутся в штреках и не выходят оттуда до той поры, пока не разрешит им этого свисток.

Для того, чтобы сделать бурку, нужно иметь забурник и пневматический к нему молоток.

Что такое молоток, вы знаете. Пневматическим он называется потому, что молотком тем «бьет» от сжатого воздуха.

А вот что такое забурник, пояснить я вам, пожалуй, не смогу. Это такая штука, что забуривается, то есть глубоко куда-нибудь вовнутрь вгрызается.

На рудниках вы часто можете услышать такое выражение:

— Эх! Вставить бы тебе забурник!

Следовательно, забурник этот еще и «вставляется»...

Во всяком случае, когда вы поедете на шахту и услышите вышеприведенное выражение, я вам не рекомендую напрашиваться:

— Вставьте, мол, пожалуйста, мне забурник!

Выполнить вашу просьбу, конечно, смогут, но чтоб от этого вы стали настоящим шахтером — вряд ли.

Особенно интересен спорт на рудниках — сбегáть в карьер глубиной в 40—50 саженей по лестнице. Лестницы эти почти вертикальные. Ступенек я не подсчитывал, но их порядочно.

Спорт этот больше всего рекомендуется людям 6—7-пудового веса. Пробежаться можно раза три-четыре туда и назад. Отличное после этого наступает настроение. Тогда каждый человек, который изложил в анкете свое происхождение начиная с прапрапрапрадеда и теперь состоит в должности заведующего торготделом в одном из трестов, лежит и разглагольствует мечтательно:

— Ах, до чего ж прекрасно быть шахтером!

— Ах, какие счастливые шахтеры, которые имеют возможность каждый день к этому спорту прибегать!

* * *

Выше, как вы, может быть, заметили, я упомянул об одном из непонятных шахтерских терминов — «штрек».

Слово «штрек», очевидно, происходит от украинского глагола «штрикать» (колоть, ковырять).

Хотя в штреках никто никого и не «штрикает», но какое до этого дело такой науке, как филология?

Штрек — большой под землею коридор, такого приблизительно типа, как в гостинице «Спартак», только значительно более чистый... Он — горизонтальный.

В штрек ведет штольня — вертикальная.

По штольне ходит клеть, а клеть возит в шахту либо людей, либо пустые вагонетки, а из шахты тянет эти вагонетки, наполненные великолепной железной рудой.

Как спускаться в шахту?

А так. Становитесь в клеть, и она везет вас вглубь.

Страшно?

Мне не было страшно, так как из меня еще не вышел тот страх, когда я в прошлом году, возвращаясь аэропланом из Баку, влетел из-за какого-то там «лопа» в какой-то там трубке прямо в рожь. Вот тогда я натерпелся страха...

Опускают в шахту, как нам говорили, иногда «с ветерком».

Что это значит, не могу вам сказать, потому что нас опускали без «ветерка». Пожалели, должно быть, клеть, иначе когда ж ты ее отмоешь, если она беспрестанно днем и ночью курсирует в шахту и из шахты?

* * *

Штрек.

Огромный коридор с рельсами для вагонеток. Называется еще продольной.

А мы встали, покурили,
По продольной разошлись,
По продольной разошлись,
За работу принялись.

Шахтерская песня «довоенного качества».

От продольной вправо и влево — разветвления.

А над продольной — люки.

У разветвлений этих и в люках — забои.

«Забой» — литературная на Донбассе организация, которая входит в состав ВУСППа.

Это в литературе.

А забой в шахте — это уже совершенно другое.

Ни стихов, ни рассказов там не пишут. Там забойщики добывают гордость криворожскую — прекрасную железную руду.

Забойщики — прекрасные рыжие люди. Всё у них рыжее, рыжая одежда, рыжие сапоги, рыжие руки, рыжее лицо...

И только ослепительно белые зубы у них и блестящие глаза.

Возле забойщиков — лопаточники-откатчики.

Забойщики «забивают». Откатчики «откатывают».

Поняли?

Нет? Ну, давайте подробнее.

Забойщик с забурником в руках и с пневматическим молотком бурит породу. Потом приходят бурщики, закладывают в пробуравленные отверстия бурку (динамит — вот что такое бурка!).

А когда полетят по шахте сигнальные свистки, начинают «рвать» руду. Зажигают бикфордов шнур, и тогда под землею гремит гром и валится в забоях руда...

Откатчики накидывают эту руду в вагонетки и откатывают в продольную, а там уже цепляет их коногон и гонит в штольню.

А там в клеть и — вверх.

А там — в вагоны... А из вагонов в домны, а из домен в бессемеровы печи, а из бессемеровых печей на завод, а из завода в трест, а из треста в Вукоопсоюз, а из Вукоопсоюза в райсоюз, а из райсоюза в «потребиловку».

А там уже:

— Дайте мне гвоздей полфунта!

Одним словом, если вы когда-нибудь загоните в ногу гвоздь, вспомните хоть тогда прекрасного человека в рыжей спецовке, в рыжих сапогах, с рыжими руками, с рыжим лицом и ослепительно белыми зубами и блестящими глазами.

Вспомните криворожского забойщика с его верным сотрудником лопаточником-откатчиком.

Шахтерское житье-бытье.

Это именно то, о чем «довоенное качество» под гармонь пело:

Эх, и распроклятая
Жисть шахтерская.
Кто не знает — тот идьёт,
Кто не знает, тот идьёт,
За собой народ ведьёт!

Или еще так:

Ен да шахтер пашеньки не пашеть,
Косы в руки не берёть...
Шахтер курить, шахтер пьёть...
Шахтер с музыкой идёть...

Про такую «жисть» шахтерскую рассказывала песня «довоенного качества».

А какова нынче жизнь шахтерская?

Ах, да не знаю же я, какова она, товарищи мои дорогие!

Неделю ведь только привелось побывать на рудниках, с шахты на шахту перескакивая...

Да разве ж можно за неделю? Да еще о жизни, да еще и о шахтерской!?

Я не слышал, чтобы кто-либо из шахтеров говорил или пел:

Эх, и распроклятая
Жисть шахтерская!

Я не видел ни одного шахтера пьяного...

Но я видел симпатичного забойщика из марганцевых рудников Марка Фоковича Шпиндю.

Ехал он поездом, возвращаясь с окружного производственного совещания.

И говорил мне Марко Фокович:

— Три дня не работал, три дня не был в забое, и мне уже вроде бы чего-то не хватает... Скучно...

— Как живете?

— Ничего живем. Работа, правда, не из легких, а все же ничего. Приезжайте ко мне, сами поглядите. Людьми живем. И квартира хорошая, и чистота, и жена с ребенком у меня — люди... От нас самих зависит, как живем. А жить можно по-людски...

И рассказал мне Марко Фокович про работу в забое, про свои рудники, про днепровские плавни неподалеку от рудников, рассказал о реке, о рыбе, утках, о своей бабке, что жила сто семь лет и помнила еще запорожца, о куропатках, об охоте.

Марко Фокович и в забое работает и на производственные совещания ездит...

Он и рудники свои хорошо знает и любит, любит и то, что окружает рудники...

Марко Фокович и шахтер, и забойщик, и хозяин своих шахт, и гражданин, и охотник, и человек...

Все ли шахтеры таковы, как Марко Фокович?

А если и не все?

Важно то, что такие забойщики, такие шахтеры существуют!

А были ли они в те давние времена?

* * *

Воскресенье. Близится вечер...

Невольно прислушиваешься, не резанет ли где лихая гармошка:

Шахтер курить, шахтер пьёть,
Шахтер с музыкой идёть...

Не слышно ничего такого.

Зато в дверь: стук-стук.

— Пожалуйста!

— Здесь товарищи писатели?

— Здесь.

Перед нами немолодой уже рабочий.

— Я вам письмо принес.

Читаем:

«Рабочие рудника им. Дзержинской группы желают видеть уважаемых писателей. Просим прибыть в зал казармы № 8, поделиться кое-чем научным...

18/III—28 г.

Рабочие».

Вечер оказался свободным от выступлений, и мы с радостью откликнулись на приглашение.

Небольшая зала. Столы кумачом покрыты. Сидят рабочие, играют в шахматы, в шашки, домино.

Здороваемся.

— Что будем делать? — спрашиваем.

— Расскажите нам про литературу, расскажите о писателях, а то многие из нас не смогут быть на завтрашнем вашем вечере — смена в шахтах...

Мы пришли к ним в шесть вечера и рассказывали и читали до двенадцати...

Вот как нынче...

А раньше:

Шахтер курить, шахтер пьёть...

А теперь, товарищи, у меня вопрос. Спокойно!

Кто сказал, что рабочие не понимают украинской литературы?

Кто сказал, что рабочие не интересуются украинской культурой?

Я говорю о рабочих с Криворожских рудников.

С таких: «Коминтерн» (марганцевый рудник), Ленинский рудник, Октябрьский, им. Либкнехта, им. Артема, им. Дзержинского.

Кто это сказал? Прошу встать...

Ага... вы сказали...

А позвольте тогда вас спросить:

1) Чем объяснить, что на всех этих рудниках толпы рабочих забили до отказа клубы и театры, где выступали украинские писатели?

2) Чем объяснить, что украинских писателей на всех рудниках рабочие встречали музыкой?

3) Чем объяснить, что на всех рудниках украинских писателей встречали плакаты: «Да здравствует украинская пролетарская культура!», «Да здравствует украинская пролетарская литература!», «Привет украинским писателям!»?

4) Чем объяснить, что рабочие полуторачасовой доклад об украинской литературе выслушивали с удивительным вниманием?

5) Чем объяснить ту тьму-тьмущую вопросов и записок, которые получали украинские писатели, выступая перед рабочими Криворожских рудников? И записки эти были совершенно разного толка и затрагивали тончайшие «нюансы» украинской литературной жизни.

6) Чем, наконец, объяснить, что рабочие часто просили писателей читать то или иное свое произведение? Значит, они данного писателя читали и прежде?

Чем всё это, дорогой товарищ, объяснить?

Молчите.

Сядьте!

Да знаете ли вы, что за всю поездку украинских писателей по Криворожью только на НЭСе (строительство новой электрической станции в районе Октябрьских рудников), в доме для приезжих, где предоставлены были им места, они на невежество напоролись.

Заведующая домом, этакая осанистая мадам, что, как говорится, ничего от Октябрьской революции не приобрела, а «совсем наоборот» (поговаривают даже — весьма «наоборот»), записывая писателей в книгу для приезжих, спросила:

— Кто вы?

— Писатели.

— Писатели? Что это такое — писатели? Нет, уж, пожалуйста. Я русская женщина и этакими словами не стану портить книгу. Ваша как фамилия?

— Микитенко.

Пишет: Мекитенко.

— Да не Мекитенко, а Микитенко!

Пишет: Никитенко.

— Да не Никитенко, а Микитенко.

— Ах, боже мой!

Это, товарищ, один раз за всю поездку такая притча...

И заметьте: никакая не работница это, а мадам в полном значении этого слова.

А работница — там же, в том доме — комсомолка Даша — «Даша — радость наша!»,— которая выросла на шахтах, через час уже разговаривала с нами прекрасным украинским языком.

— Да ведь вы, Даша, говорите, как Марко Вовчок!

— Э-э-э!..

* * *

Криворожские рабочие жадно впитывают в себя культуру.

Криворожские рабочие — сердечные друзья литературы вообще и украинской в частности.

Сорок процентов криворожских рабочих — постоянные посетители и читатели своих чудесных библиотек.

С какой любовью бывшие забойщики, выдвинутые на культработу (в культкомы, зав. библиотеками), работают над книгой, в клубе, в театре...

П. Г. Тычина, должно быть, о криворожских рабочих писал свой «Псалом железа», наблюдая, как тянутся они к культуре:

Ідуть, ідуть робітники
веселою ходою.
Над ними стрічки і квітки,
немов над молодою...

. . . . . .

Там, на Криворожских рудниках, пылает багрянцем и гремит в рабочих устах псалом железу и культуре!

1928

СОДЕРЖАНИЕ

Ф. Макивчук. Жизнь и творчество Остапа Вишни 3

ВОТ ОНО — СЕЛО!

Сельские зарисовки, юморески и фельетоны 1919—1927

Моя автобиография. *Перевод Е. Весенина* 21
Чудак, ей-богу! *Перевод его же* 27
Дорожные впечатления. *Перевод А. и З. Островских* . . . 29
Вот оно — село! *Перевод их же* 33
«Главполитпросвет». *Перевод их же* 38
«Женотдел». *Перевод их же* 41
«Село — книга». *Перевод их же* 44
«Профобр». *Перевод их же* 48
На Гомельшу! *Перевод их же* 52
В хвосте сила. *Перевод их же* 56
Мед. *Перевод их же* 60
Как я рыбу ловил. *Перевод их же* 62
Когда сельских клубов еще не было. *Перевод их же* . . . 65
Борись! *Перевод С. Радугина* 67
Гинекология. *Перевод его же* 69
Про веселое сусличье житье-бытье. *Перевод его же* 73
Вечорницы. *Перевод И. Собчука* 76
Бороться за книгу. *Перевод его же* 80
Вот задача! *Перевод Е. Весенина* 82
Днепром. *Перевод И. Собчука* 85
Темная ночка-петровочка. *Перевод С. Радугина* 91
Так ни черта и не вышло. *Перевод Е. Весенина* 96

МЫ — ТАКИЕ!

Памфлеты, фельетоны на политические темы 1919—1927

Демократические реформы Деникина. *Перевод Е. Весенина* 101
В школе. *Перевод его же* 103
Антанта. *Перевод И. Собчука* 105

Мы выправим! *Перевод И. Собчука* 109
До какой же погибели мы дошли! *Перевод его же* 112
Специально дворянский. *Перевод Е. Весенина* 115
С царями нехорошо. *Перевод И. Собчука* 117
Ну и куда его? *Перевод его же* 119
«Пожалуйте!» *Перевод его же* 121
Паскудное слово. *Перевод его же* 123
О рыцарях, что животы своя на алтарь отечества великого ссбрались было положить. *Перевод его же* 125
Когда-то и теперь. *Перевод А. Тверского* 128
Как от головного атамана одна «могила» осталась. *Перевод его же* 131
Мы — такие! *Перевод его же* 133
Тем, которых с Украины повымели. *Перевод его же* . . . 135
Лучше земля, чем купчая. *Перевод его же* 138
И мы — лорды! *Перевод его же* 140

«БОЖЕСКОЕ»

Атеистические и бытовые юморески 20-х годов

Сотворение мира. *Перевод Е. Весенина* 145
Дела небесные. *Перевод его же* 148
Страшный суд. *Перевод его же* 153
«Божеское». *Перевод А. и З. Островских* 156
«Гипно-баба». *Перевод Е. Весенина* 159
И моего меда капля. *Перевод А. и З. Островских* 162
«Воскресение Христово». *Перевод И. Собчука* 165
Поспешайте, православные! *Перевод его же* 168
До каких же пор? *Перевод Е. Весенина* 170
Не подгадьте, православные! *Перевод его же* 172
Как меня печать подвела. *Перевод его же* 174
Обновляются ли? *Перевод А. Тверского* 176
Джунгли. *Перевод Т. Стах* 178
Чудо. *Перевод Е. Весенина* 182

ВЫБИРАЙТЕСЬ!

Усмешки кооперативные, торговые и прочие

Выбирайтесь! *Перевод А. и З. Островских* 187
Кандидатурия. *Перевод их же* 190
А ну, хлопцы, не поддайся! *Перевод их же* 193
Громкоговоритель. *Перевод С. Радугина* 198
Берегите леса! *Перевод его же* 200
«Стребиловка». *Перевод его же* 202
Как управиться с землей. *Перевод его же* 204
Он такой... он может... *Перевод его же* 207
«Праздник урожая». *Перевод его же* 209
Овцеводство. *Перевод его же* 211
Ужасы. *Перевод его же* 214
Ага, будешь?! *Перевод Е. Весенина* 216

«Сельская юстиция». *Перевод И. Собчука* 218
«Подкачала». *Перевод А. и З. Островских* 222
Трудные времена настали. *Перевод Е. Весенина* 226

ДЕД МАТВЕЙ

Рассказы о прошлом, настоящем и будущем

Земля — Луна — Марс. *Перевод Е. Весенина* 231
Почините же, пусть вам счастье! *Перевод И. Собчука* . . 233
Про свиней, про поросят, про колбасы... *Перевод его же* . . 235
Как у дядьки Кондрата гусеница штаны съела... *Перевод его же* 239
Первое путешествие. *Перевод Е. Весенина* 241
Дед Матвей. *Перевод И. Собчука* 246
Вот такая мать... *Перевод его же* 255
Радио. *Перевод Е. Весенина* 257
«Так мы ж народ темный». *Перевод А. и З. Островских* . 259
Ярмарка. *Перевод С. Радугина* 262
Староста. *Перевод Т. Стах* 285
Дело это весьма запутанное. *Перевод Е. Весенина* 287

ПОД ПАРУСОМ

Немного природоведения, географии, этнографии и курортологии. Дорожные очерки и «Крымские усмешки»

Степями Таврическими. *Перевод И. Собчука* 291
Бердянск. *Перевод его же* 296
Симферополь—Ялта. *Перевод А. и З. Островских* . . . 303
«Природа и люди». *Перевод их же* 308
Море. *Перевод их же* 311
Горы. *Перевод их же* 315
Там, где царь пешком ходил. *Перевод их же* 319
Алупка. *Перевод их же* 322
Гурзуф. *Перевод их же* 325
Ялта. *Перевод их же* 328
Туристы. *Перевод их же* 332
Под парусом. *Перевод их же* 335
Бережком!.. Бережком!.. *Перевод их же* 340
«Дева» и «Монах». *Перевод их же* 346
Крымская ночь. *Перевод их же* 349
Крымское солнце. *Перевод их же* 353
Пляж. *Перевод их же* 357

ПОЕХАЛИ...

Рассказы о нравах доморощенных и зарубежных

Повысить продуктивность труда. *Перевод Е. Весенина* . . 363
Качество продукции. *Перевод его же* 367
«Половая проблема». *Перевод И. Собчука* 369
Ловкость. *Перевод его же* 371

Ты дóбычу дай! *Перевод Е. Весенина* 373
«Перестрах». *Перевод его же* 402
Предисловие. *Перевод Т. Стах* 406
Поехали... *Перевод ее же* 407
Берлинские кони. *Перевод ее же* 412
Берлинские музеи. *Перевод ее же* 416
Как проехать таможню. *Перевод ее же* 421
«Нравственная работа». *Перевод Е. Весенина* 426
Певец печали нашей. *Перевод Т. Стах* 430
На рудниках. *Перевод ее же* 434

Остап ВИШНЯ.
Избранные произведения в 3 томах.
Том I.

Оформление художника
Г. Фишер.

Технический редактор
А. Шагарина.

А 00525. Подписано к печати 29/XII 1967 г. Форм. бумаги 84×108¹/₃₂.
Объем 24,04 усл. печ. л. 19,22 учетно-изд. л. Тираж 240 000 экз.
Изд. № 2354. Заказ № 2489. Цена 90 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, улица «Правды», 24.
Отпечатано в типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.
Заказ № 1056.